

Анна
Саакяни

*Спасибо
Вам!*



ELLIS LUCK
ЭЛЛИС ЛАК



Анна Саакянц

Спасибо Вам!

*Воспоминания
Письма
Эссе*

Москва
Эллис Лак
1998

УДК 920.91
ББК 84Р7-4
С12

Художник В. Н. Сергутин

На суперобложке:

А. А. Саакянц. 1997 г. Фото В. Н. Сергутина

Редакционно-издательский совет:

А. М. Смирнова

(председатель, директор)

Т. А. Горькова

А. А. Саакянц

В. Н. Сергутин

С. В. Федотов

ISBN 5-88889-039-1

© Эллис Лак, 1998
© А. А. Саакянц, 1998

*Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностью: были.*

В. А. Жуковский

ЖИВЫЕ ВСТРЕЧИ

Ариадна

Беглый портрет

Ариадна Сергеевна Эфрон была такой интересной и неисчерпаемой личностью, что «о ней бы (говоря словами Цветаевой) — целую книгу».

Главной ее чертой была широта мироощущения, которая шла, вероятно, от большой любви к жизни, к людям (это — несмотря на выпавшие ей страдания!), к творениям рук человеческих, к природе, к животным, — а также от исключительной наблюдательности и интереса к самым разнообразным, порой — неожиданным вещам. Суждения ее поражали умом, пронизательностью и оригинальностью; общение с нею всегда было наслаждением. К Ариадне Сергеевне можно было прийти с любой проблемой, откровенностью или тайной, в полной уверенности, что она поймет — все. Причем такое всепонимание никогда не оборачивалось примиренчеством, всетерпимостью. Человек благородства и долга, Ариадна Сергеевна не выносила в людях их, как она называла,

«недостоверности», зыбкости, ненадежности. А слабости, даже грехи, могла легко простить, хорошо понимая их природу, ибо была наделена, по собственным шутливым словам, тройной интуицией: врожденной, наследственной и благоприобретенной. (Что, разумеется, не всегда спасало ее от заблуждений и ошибок, — но эти заблуждения и ошибки были такими же масштабными, я бы даже сказала: величавыми, как и она сама, — то есть «в рост» ее личности. Думаю, это — черта, унаследованная от матери, — хотя Ариадна Сергеевна и утверждала, что она «совсем другой породы»).

Человек с богатейшей внутренней жизнью, она не парила в облаках, а обитала на земле; умела и старалась сделать все сама, даже будучи тяжело больной. Не терпела так называемые «возвышенные натурь»: тех, кто не мог или не желал гвоздя вбить в стену, потому что считал такое занятие «презренной прозой». В этом она также была истинной дочерью Марины Цветаевой, «чернорабочего — и белоручки», не позволявшей *быту* подменить *бытие*, — но и наоборот.

Полностью была отрешена от забот о себе; обладала редкостной отзывчивостью; чужие горести воспринимала гораздо болезненнее, чем собственные. Всегда поступала так, как необходимо и удобно было не ей, а другому. Часто повторяла мысль о том, что один из главных и редких талантов человеческих состоит в умении любить так, как нужно тому, кого любишь, а не тебе самому. И как это трудно...

Скромностью отличалась даже чрезмерной, никогда не бывала удовлетворена тем, что написала или перевела, хотя обладала большим литературным талантом. К похвалам относилась недоверчиво или скептически. Зато (опять-таки подобно Марине Цветаевой) могла чистосердечно восхититься чьим-нибудь заурядным произведением, — словно бы заполняя собственным богатством чужие пустоты. Однако, в отличие от матери, не всегда знала себе цену; Цветаева же знала «цену своей силе».

В литературе любила «злые таланты», считая таковыми Льва Толстого и Бунина.

Человек трагической судьбы и глубоких переживаний, внешне была спокойна и сдержанна.

Высоко ценила чувство юмора, не любила, когда человек (особенно — писатель) бывал его лишен. Сама обладал этим чувством в избытке — оно не раз спасало ее в страшные минуты жизни.

Рассказчиком была бесподобным и остроумным.



Книга о ней — надеюсь — еще предстоит. Пока же — несколько очерков, штрихи к портрету, письма.

*Как мы готовили издания
Марины Цветаевой*

Ариадну Сергеевну я увидела в первый раз, вероятно, в 1958 или 1959 году, в редакции русской

Эфрон Армада Сергеевна, 1913 г. р., Москва,
 Москва, обл., работало с 18 лет (во Франции)
 - журналисткой, переводчицей в журналах *Point Rouge*
 (Пурпу) «*Russie d'aujourd'hui*» (Россия Сегодня)
 «*France-URSS*» (на фр.) и «*Кам Союз*» (на русском)
 Сетелектв. переводчицей начала заниматься с 1932 г.
 Вернулась в СССР в мае 1937 г. Работало лит.
 сотр. в журнале «*Ревю де Москва*» (Журналосведи-
 нение) на фр. яз. В августе 1939 г. была удостоена
 ор. КЛРД на 8 лет, и-ме отбыва поимосийе. В феврале
 1940 г. была вновь удостоена, как ранее репрессиро-
 ванная и циновремена и постоу. семале в с. Турция
 Краснодарского края. Была штат художником-работником
 Дома культуры. В 1955 реабилитирована за отсут-
 ствием состава преступления;

Член СЛ ССР (советские переводчи.) с 26.12.1962
 Членский бн. № 3320

Касеторит № IV 22 № 486176 выдан 12 апр.
 1955 г. Турцияским Род Краснодарского края
 Прот. 2 Мартиниовелев 16 в. 268, (12 0/м.,
 20.8.62)

А. С. Эфрон. Автобиография, написанная для вступления в Союз
 писателей. Неверная дата рождения (на самом деле - 1912 г.)
 связана с ошибкой в паспорте*.

* Все документы, автографы и рисунки в тексте воспроиз-
 водятся впервые.

классики Гослита, где я тогда работала. А в начале 1960 года нас с нею познакомила Мария Яковлевна Сергиевская, редактор несостоявшегося — задуманного в 1955-м и загубленного в 1957-м — сборника Марины Цветаевой.

Знакомство, возможно, так и осталось бы беспоследственным, если бы в конце того же шестидесятого года Владимир Николаевич Орлов, известный блоковед и в то время главный редактор «Библиотеки поэта», не взялся составить небольшую книжку стихотворных произведений Цветаевой, написать к ней статью и предисловие; он подал заявку в Гослит. Я узнала об этом и добилась, чтобы меня назначили «соредактором» книжки, — всего-то восемь авторских листов, но — огромная «политическая ответственность»; одной мне сборник не доверили, а отдали в помощь старшему и партийному коллеге. Но все равно это была большая радость, и я немедленно написала Ариадне Сергеевне в Тарусу. Так началась наша работа над первым посмертным сборником Марины Цветаевой.

Я не оговорила: *наша*. Потому что, как только В. Н. Орлов прислал состав книги, я отправила его в Тарусу, и началось «эпистолярное» обсуждение состава, словно от этого зависела жизнь или смерть, — ведь в то время я была всего лишь второстепенным, ничего не значащим редактором, а Ариадна Сергеевна — вообще никем! Юридически. Но нам очень хотелось включить в книгу лучшие стихи, и мы

страшно переживали, что Орлов предложил много ранних, не очень сильных стихов, — например, «Генералам 12 года» — с ужасающей Ариадну Сергеевну рифмой: «вчера — офицерá» (почти что «выборá» — слово, которое можно было слышать тогда достаточно часто...). «Хочется, чтобы эта книжечка открыла семафор для тома «Библиотеки поэта», — писала Ариадна Сергеевна, — ...несколько смущает тяготение к пополнению сборника *наислабейшими* из ранних стихов». Орлова, однако, переубедить не удалось, и в книжку попали не самые лучшие стихи. В феврале 1961 года он прислал тексты, и Ариадна Сергеевна просила меня найти время, чтобы поработать с нею, — она приедет в Москву.

И она приехала, и наша первая настоящая встреча произошла 3 марта (день моего рождения), в камерке двухкомнатной коммуналки, где жила Ада Александровна Шкодина, подруга Ариадны Сергеевны по туруханской ссылке...

Однако в тот день работать нам пришлось мало: Ариадна Сергеевна долго, потрясённо, переживая всё заново, рассказывала о пастернаковско-«нобелевской» трагедии. Вспоминала о поэте, о его беззащитности и бесстрашии; о том, как покинули его лжедрузья и остались самые верные. Она утверждала, что смелость Борису Пастернаку диктовал его *талант*. Вспоминала разные эпизоды (чаще — комические). И о том, как друзья сочиняли письмо Бориса Леонидовича к Хрущеву; у меня осталось впечат-

ление, что главным его автором была она сама. Горевала и осуждала Пастернака за то, что он втянул в свои дела Ольгу Ивинскую и ее дочь Ирину, — за что последовала расправа над ними, в то время как законная его семья оставалась в стороне. Долго говорила она, не выпуская из рук пачку «Прибоя», не переставая курить и глядя остановившимися глазами («очи — два пустынных озера...») с девятого этажа поверх унылого «лужниковского» пейзажа.

Ада Александровна принесла ей заказанные очки. Первые в жизни очки, и она их уже не снимала...

И мы начали наконец работать.

Ариадна Сергеевна брала в руки цветаевские беловые тетради, и мы сверяли тексты — все тексты сборника; даже если некоторые вещи печатались по прижизненным изданиям, беловики помогали устранить опечатки, ошибки. Тексты мы сверяли дважды: зимою — рукопись, летом — корректуру. Тетради Ариадна Сергеевна из рук не выпускала, — не потому, что не доверяла мне: доверять начала с первой же встречи, — а, как мне кажется, из некоего суеверно-благоговейного чувства, не поддающегося объяснению. В то время я не осознавала до конца, что значило для нее участие в подготовке первой посмертной книги Марины Цветаевой — после того как был погублен сборник, составленный и прокомментированный ею в 1955 году, по возвращении из туруханской ссылки. Я понимала тогда

лишь одно: нет прощенья тем, кто дал упасть хотя бы волосу с головы этой замечательной женщины и что надо сделать все, чтобы она по крайней мере меньше нервничала; что необходимо оговорить ее участие в книге, приуроченной Орловым к двадцатилетию со дня гибели Цветаевой.

В редакции к желанию дочери Цветаевой отнеслись с полнейшим бессердечием: пространно и бездоказательно объясняли мне *юридическую* (!) невозможность даже *упоминания* А. С. Эфрон в первом посмертном цветаевском сборнике. Настаивать было совершенно бесполезно, и я вынуждена была написать об этом Ариадне Сергеевне, для смягчения пустившись на маленькой обман: дескать, слова о невозможности участия в книге принадлежат некому компетентному юристу. «Не волнуйтесь, ради Бога, все это суэта сует и всяческая суета, — писала она, — ...я, конечно, знала, что мое имя не будет фигурировать на задворках петитом, но это — такая мелочь по сравнению с выходом самой книги, что не стоит расстраиваться».

Надо отдать справедливость Орлову: он предложил упомянуть Ариадну Сергеевну в книжке (подготовка текста). Но заведующая редакцией не допустила этого. Не буду вдаваться в формальные и мелкие (с точки зрения человеческой *мелкости*) подробности, — но я имела глупость сообщить об этом Ариадне Сергеевне. И получила от нее горький ответ, где она писала об издевательствах редакции (не относя

этого, понятно, лично ко мне) и о том, что относит этот случай к *роковому*, тяготеющему над Цветаевской семьей, — которой уже нет*.

Естественно, я сразу написала об этой гнусной истории Орлову, прося его держать в тайне и не выдать меня. Орлов откликнулся сразу:

«... насчет Вашей секретной просьбы. Что же Вы мне раньше не подсказали! Я сам не сообразил. Вполне разделяю Ваше мнение и пишу (зав. редакцией. — А. С.), что считаю необходимым внести в преамбулу примечаний (в самом ее конце) фразу: «В подготовке сборника ближайшее участие принимала А. С. Эфрон». Думаю, что это — наиболее удобная форма» (*письмо от 17 августа*).

Но человеческая непорядочность границ не имеет, и даже из этой скромнейшей фразы было убрано слово «*ближайшее*». Хотя все знали, что именно — *ближайшее*.

Эта первая посмертная книжечка Цветаевой вышла в сентябре 1961 года тиражом двадцать пять тысяч экземпляров. О том, сколь важным было это событие, говорить не приходится...

Возвращусь, однако, к письму Владимира Николаевича Орлова.

«Секрет — за секрет, — писал он, — я хочу в недалеком будущем включить *большой* сборник Цветаевой

* Подробно об этом — см. письмо Ариадны Сергеевны от 26 июля 1961 г. и комментарий.

(стихи, поэмы, драмы) в план Большой серии «Библиотеки поэта». Для этого издания нужно будет провести основательную текстологическую работу, и я хотел бы, чтобы Вы занялись ею сообща с Ариадной Сергеевной (имею в виду и подготовку текста, и комментарий). Надеюсь, у Вас не будет возражений против такого альянса... Это пока — секрет, и пусть он останется *между нами*. Но на ближайшем заседании моей редколлегии с Секретариатом Союза писателей я «проведу» книгу Цветаевой — с тем, чтобы можно было выпустить ее где-нибудь в районе 1963 года. Никому об этом не говорите и не намекайте».

(Этот «секрет Полишинеля» был изобретен не Орловым, а Ариадной Сергеевной, так как именно она предложила ему взять для работы над сборником Цветаевой меня.)

В конце года Орлов, опять же по подсказке Ариадны Сергеевны, организовал Комиссию по литературному наследию Марины Цветаевой. Туда вошли К. Паустовский, И. Эренбург, А. Макаров, А. Эфрон. Она поставила условием, чтобы я была секретарем комиссии, отказавшись от других кандидатур, которые ей предлагали. «Комиссия не группирует людей по принципу их работы над цветаевской темой... о Цветаевой пишут очень и очень многие, здесь и на Западе, — писала она. — Комиссия собирает (в идеале) людей, полезных Цветаевой, реальному делу издания, а не тех, кому Цветаева может оказаться полезной».

Вот протокол первого заседания Комиссии — уникальный документ времени. Я терпеть не могла свою работу секретаря, однако верила в эти бумажки, — как выяснилось потом, — напрасно:

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по литературному наследию
Марины Цветаевой

от 20/IV-62 г.

Присутствовали:

И. Г. Эренбург, А. Н. Макаров,
А. С. Эфрон, А. А. Саакянц

Слушали: I. *Сообщение А. С. Эфрон о литературном наследии
М. Цветаевой.*

Значительная часть цветаевского архива хранится в Советском Союзе. В архив Цветаевой, сохранившийся после ее смерти и находящийся у дочери, входит, в частности, большинство лирических произведений, подлинники большинства поэм, часть прозы в рукописях и типографских оттисках с авторской правкой, письма. Большое собрание опубликованных произведений хранится в архиве А. Тарасенкова, существует небольшой цветаевский фонд в ЦГАЛИ; часть опубликованных произведений и несколько писем хранятся в фундаментальной библиотеке Академии общественных наук (идут переговоры о передаче этих материалов в ЦГАЛИ).

Часть наследия осталась за границей и погибла во время войны в Париже. В Чехословакии был в свое время создан В. Ф. Булгаковым архив, в котором, в частности, находились цветаевские материалы. Архив этот был передан Чехословакией по окончании войны Советскому Союзу. ЦГАЛИ ведет переговоры с ЦГАОР (где сейчас находятся эти материалы) о передаче их в фонд ЦГАЛИ; Чехословакия также передает в ЦГАЛИ фотокопии хранящихся в Праге писем Цветаевой к А. А. Тесковой,

охватывающих период с 1924 по 1939 г. При Базельском университете (Швейцария) находится ряд рукописей Цветаевой, оставленных ею на хранение в Швейцарии как нейтральной державе. Является ли этот архив даром Цветаевой университету или оставлен на хранение — выяснить не удалось. Есть предположение, что ряд разрозненных произведений, а также письма Цветаевой находятся в США, куда были вывезены по время войны.

Важнейшая задача Комиссии — сосредоточить цветаевские материалы в Советском Союзе в виде подлинников или хотя бы фотокопий.

И. Г. Эренбург говорит, что надо получить из Базеля цветаевские подлинники или фотокопии и считает необходимым просить советского посла в Швейцарии помочь Комиссии в этом деле. Все члены комиссии говорят о необходимости публикации в «Литературной газете» сообщения об учреждении комиссии по литературному наследию М. Цветаевой. Это поможет выявить цветаевские материалы, хранящиеся у частных лиц.

II. По поручению председателя комиссии В. Н. Орлова А. С. Эфрон сообщила о готовящемся в Большой серии «Библиотеки поэта» сборника произведений Цветаевой (лирика, поэмы, драмы).

В. Н. Орлов предлагает поставить вопрос об издании прозы Цветаевой в издательстве «Советский писатель». Это заявление было поддержано И. Г. Эренбургом и А. Н. Макаровым, внесшим предложение рекомендовать издательству «Советский писатель» включить в свой план книжку М. Цветаевой, посвященную пушкинской теме (объем до 10 п. л.).

И. Г. Эренбург говорил о значительности и интересе автобиографических и литературно-критических статей М. Цветаевой.

III. Комиссия обсуждала вопрос о предполагавшемся ранее перенесении праха Цветаевой на Ваганьковское кладбище. А. Н. Макаров внес предложение: ввиду невозможности обнаружить точное местонахождение могилы, отметить память М. Цветаевой

(а также в связи с семидесятилетием со дня рождения) установлением памятной доски на доме № 6 в Борисоглебском переулке, где она жила с 1914 по 1922 г., и ходатайствовать об этом перед секретариатом Союза советских писателей СССР.

IV. Разбирался вопрос о пополнении состава комиссии. Все члены комиссии высказались за кандидатуру *М. И. Алигер*.

Решения комиссии:

I. По первому вопросу:

1) От имени комиссии официально просить о содействии в пополнении цветаевского фонда в Советском Союзе зарубежные государственные хранилища, где обнаружатся цветаевские материалы.

2) Обратиться к посланнику СССР в Швейцарии с просьбой о содействии в получении подлинников или фотокопий цветаевских материалов, хранящихся в библиотеке Базельского университета.

3) Частную переписку по архивам поручить А. С. Эфрон; поступления цветаевских материалов адресовать в комиссию по литературному наследию М. Цветаевой (в секретариат Союза советских писателей СССР).

4) Дать сообщение в «Литературной газете» об учреждении комиссии по литературному наследию М. Цветаевой.

II. По второму вопросу: Просить издательство «Советский писатель» о включении в план издательства книги прозы М. Цветаевой о Пушкине.

III. По третьему вопросу: Ходатайствовать в Секретариате Союза советских писателей СССР об установлении памятной доски на доме № 6 по Борисоглебскому переулку, где жила М. Цветаева.

IV. По четвертому вопросу: Просить Секретариат Союза советских писателей СССР утвердить членом комиссии по литературному наследию М. Цветаевой М. И. Алигер.

Секретарь Комиссии

(А. Саакянц)

Вскоре мы с Ариадной Сергеевной начали работать над сборником «Библиотеки поэта». Она еще не получила квартиру в Москве (паевой взнос в писательский кооператив ей собрали друзья, и еще она взяла в Литфонде ссуду, — в отличие от более важных персон, — возвратную, конечно). Она жила круглый год в Тарусе, наезжая в Москву не чаще одного раза в месяц.

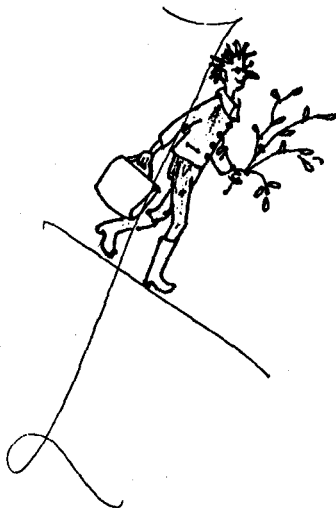
«Что сейчас важно, пока мы с Вами работаем врозь, — писала она мне в марте шестьдесят второго, — набросайте примерный план книги, готовьте по возможности техническую часть примечаний (когда было опубликовано, где и т. д.), чтобы к этому нам присоединять архивное, когда поработаем вместе в апреле».

Я сделала предварительный и приблизительный состав книги, а когда мы встретились в Москве, пошла самая интересная часть работы. Ариадна Сергеевна снова брала беловые тетради, прочитывала вслух стихотворение, не известное мне, и мы решали, включать его или нет. Она была очень осторожна в отборе, — я бы сказала, излишне осторожна, все боясь повредить изданию, бесконечно взвешивая «за» и «против». Иногда разрешала записать под диктовку какое-нибудь стихотворение, которое в сборник включать не хотела, и просила «не распространять» его. К дикости такой ситуации мы обе относились, как к должному: Ариадна Сергеевна — по горькому опыту, я — по молодому недуманью.

- 101 <sup>(по рукописи 1959 г. с восстановлением
стихов в 1970 г. по черновому тексту)</sup>

4. "Удар, оглушенный годами забвенья..." Печ. впервые, Стихо-
творение не было завершено.
~~Печ. впервые~~

5. "Оподзвевая глина..." ^(ср. 100) Печ. впервые.



Страница рукописи наших примечаний к изданию «Избранных произведений» Марины Цветаевой. 1965 г. Шарж А. С. Эфрон на мое возвращение из Тарусы.

Как бы там ни было, книгу мы составили по своему разумению, не злоупотребив поздними вещами, могущими показаться на первых порах слишком сложными, но и не перегрузив ранними, более «простыми». Хотя некоторые цветаевские шедевры, не грешившие усложненностью, но слишком, как казалось Ариадне Сергеевне, «вызывающие», как, например, «Поколению с сиренью...» («Отцам»), «Уединение: уйди...», мы так и не посмели дать в книге, — впрочем, они и не прошли бы тогда ни в коем случае. Помню, что последнее стихотворение из «пушкинского» цикла: «Народоправству, свалившему трон...» Ариадна Сергеевна категорически отказалась включать, ибо была убеждена, что редакторы-цензоры непременно усмотрят аналогию с похоронами Пастернака: «Не поручать палачам похорон // Жертв, цензорам — погребенья // Пушкиных».

Но позиция осторожничанья, «страха ради иудейска» (выражение Ариадны Сергеевны) всегда мстит сама за себя. Наши «благонадежные» старания остались невознагражденными. Дело в том, что Орлов, по-видимому, чувствуя себя полновластным хозяином будущей книги, заранее настаивал на том, чтобы в нее вошли те стихи, которые он указывал. Я не собираюсь сейчас, разумеется, предъявлять «счета» этому человеку, благодаря которому только и осуществились первые посмертные издания Цветаевой в России. Однако факт остается фактом:

«первопроходец»-издатель «командовал» двумя «неопытными» составительницами (нами), а мы упрямылись. Короче: посылая в редакцию «Библиотеки поэта» тексты, мы отправили ему письмо, где оговаривали наш выбор стихов. Мы писали:

«...«приохочивать» квалифицированного читателя Большой серии в основном к наиболее «легкому» в творчестве Цветаевой, к тому, с чем он уже отчасти знаком по опубликованному в периодической печати и в «Избранном» — неверно; задачу свою мы видим в ознакомлении со всей (избранной!) Цветаевой — со всеми периодами ее творчества, легкого и трудного, простого и сложного, жизнерадостного и скорбного. Цветаева «без середины» — не Цветаева, Вы это знаете так же, как и мы. Поэтому, согласившись с Вами на некотором сокращении раздела «После России», согласиться с почти полным сведением его на нет, с устранением, в частности, таких *краеугольных* произведений, как «Час души», «Раковина», «Наклон», «Заочность» и др., мы не можем...

Вы предлагаете, сохранив полностью блоковский цикл, по сути дела, ликвидировать цикл ахматовский. Нельзя! — темы Блока и Ахматовой *равнозначущи* в творчестве Цветаевой... обойти почти полным молчанием цветаевскую Ахматову невозможно...

Зачем увеличивать цикл «Комедьянт» и включать всего «Дон Жуана», а равные, если не превосходящие в художественном отношении и близкие

по теме циклы «Плащ» и «Любови старинные туманы» снимать? Здесь вопрос только вкуса, а в подобных случаях споры между нами возникать, нам думается, не должны...

Цикл «Марина» из четырех стихотворений, интереснейший по своему «диалектическому» замыслу, — просто немыслим в неполном виде — см. примечания к нему».

И так далее...

Мы ничего не написали Орлову о примечаниях, зная, что их-то он оценит по достоинству.

Эта часть работы проходила так: Ариадна Сергеевна забирала с собой в Тарусу очередную тетрадь, а также «Сводные тетради»*, и делала выписки: варианты, замечания в ходе работы (например, над «Стихами к Чехии»), подробные планы (трагедий «Ариадна» и «Федра», поэмы «Крысолов» и др.). Потом она составляла комментарий начерно, используя только часть выписок. Я же приводила всё в окончательный вид и добавляла необходимые объяснения (толкования) и пояснения (реалии). Ариадна Сергеевна выписала множество выразительнейших вариантов стихов, отвергнутых либо переделанных поэтом; иное примечание к стихотворению превращалось в интересное сообщение, вводило в творческий мир Цветаевой. Но, увы, так называемая «научная», а на самом деле наукообразная

* Подробно о них см. «Новая прежняя Цветаева».

„С 15 июня неурядливо пишу тебе“...

20 июня 1924 - переезд из Илович в Ф. Модр.

21 июня 1924 в Ф. Модр. начало III к-ти. „тебе“

июнь (без дат) - после 21^{го} - перевод для работы над переводом Федорова (?) „Благородная кровь“ - просят, застывшая лия, права, камеральские письма статьи от других перевод., и. е. о бол. к-т. ной (будет) выписки Митинского для статьи. ^{в дв. 1924} ^{август 1924} ^{на к-т. 1924} ^{на к-т. 1924}

с 10 по 19 авг. (поездка в Прагу, переписка друзей для „Отеч“)

1^{го} сент. 1924 - конец годового варианта „кассет“

5 сент. 1924 - нач. к-ти. I - „Обращение“

(перевод в 5 дней - поездка в Прагу)

18 сент. 1924 возобн. работы над „тебе“

23 сент. 1924 переезд во Вшеборн. (Затянуло все для буд. Фреда (?), строчка для „Бол, жальная“...)

7 н. октября 1924 окончание I^й к-ти

„Нева Эфродит“ (и. т. название шрифта существовало до конца I^й к-ти!) - „Ариадна“

инструкция к «Библиотеке поэта» предписывала приводить другие редакции и варианты в специальном разделе, под соответствующими номерами; история произведения, его «душа» таким образом почти уничтожается; кто станет читать варианты просто так? Чтобы читатель смог вернуть их в смысловой контекст, ему нужно все время «сновать» между примечаниями и вариантами, — да еще заглядывать в основной текст...

Что же до больших вещей: «Поэмы Конца», «Крысолова», трагедии «Ариадна», то большую часть их творческих планов, которые Ариадна Сергеевна выписывала из «Сводных тетрадей», она в книгу решила не помещать, а посоветовала сохранить для будущей моей работы, — здесь она была истинным провидцем. (То же относится к некоторым ценным цветаевским записям: о смерти Блока, о книге Ахматовой, о Маяковском, о Волконском и др.). Примечания к поэмам и к трагедии мы писали вместе; Ариадна Сергеевна приезжала в Москву, либо я — в Тарусу, и мы («соавторы»!), мешая друг другу, ибо обе привыкли работать в одиночку, создавали наши примечания.

В примечаниях полагалось указывать первые публикации произведений. Здесь была, что называется, «целина»: библиографии цветаевской пока не существовало никакой, — пришлось начинать с нуля, пролистывать десятки эмигрантских газет и журналов. «Хожу ежевечерне в библиотеку. Кое-

что нахожу. Давеча нашла в «Последних новостях» за 1934 год заметочку (?) статью (?) очерк (?) — «Китаец», — радостно сообщала я Ариадне Сергеевне в марте 1962 года. Эта первая библиография Цветаевой до недавнего времени хранилась у меня на обветшалых карточках...

Я не упомянула важный факт: очень много текстов Цветаевой было мною переписано в спецхране тогдашней ленинской библиотеки. В архиве Ариадны Сергеевны многого не доставало, даже таких вещей, как поэма «Крысолов», а также прозы: «Наталья Гончарова», «Китаец», «Страховка жизни», «Жених» и некоторых других. Но и сохранившиеся в архиве стихи я тем не менее переписывала с первых публикаций, потому что их необходимо было сверить с рукописью.

Эта работа была для меня чрезвычайно приятна и увлекательна. Ведь понять вещь по-настоящему, проникнуть в нее до конца можно гораздо успешнее, когда слово за словом, строка за строкой пишешь их своей рукой, а потом еще и перепечатываешь. (Один мой знакомый, влюбленный в Булгакова, в пылу увлеченья «перекатал» некогда роман «Мастер и Маргарита» из журнала «Москва» — *собственного!*) Копировала я, конечно, и вышедшие при жизни Цветаевой в России и за границей статьи, рецензии на ее произведения, сообщения о литературных вечерах с ее выступлениями и т. п. И посмертные публикации (первую — письма к Анатолию

Штейгеру), воспоминания, время от времени появлявшиеся в эмигрантских журналах, альманахах и газетах.

Странно подумать, но очень многое из цветаевского наследия, то, что теперь стало хрестоматийным и включается в любое ее издание, восходит к моим библиотечным перепискам: фотокопии делать не разрешалось, копировальных аппаратов в начале шестидесятых годов почти не существовало, а те, что появлялись, были строго засекречены.

Ариадна Сергеевна прекрасно понимала, что я, связанная каждодневным присутствием на работе в издательстве, зверски уставала, нередко после рабочего дня отправляясь в библиотеку часа на два-три вплоть до закрытия (к счастью, я жила в двух минутах ходу до нее). Когда она однажды заговорила о моем бескорыстии, о труде «в никуда», — ведь поначалу ни о каких публикациях, не говоря уже о гонорарах, и речи быть не могло, — я просто не поняла: какие публикации и деньги? Даже мысль такая не приходила в голову. И это несмотря на договор с «Библиотекой поэта», когда, казалось бы, дело сдвинулось... Но за хранение дома Цветаевой все еще преследовали... Я и сегодня думаю так же: никакой самоотверженности у меня не было, а было дело, которое меня увлекало. По *темам* моей редакторской работы в издательстве (сочинения А. Куприна, И. Бунина) я, с соответствующей бумагой, могла проникнуть в заветный «первый отдел» — спецхран, что уже само по себе было наградой...

Итак, в июне 1963 года мы отправили рукопись в «Библиотеку поэта», надеясь, что наше письмо к Орлову умерит полемический пыл редакции, в котором не сомневались. Спустя пять месяцев редактор прислал нам сборник обратно, вместе с отзывом, в котором, после кисло-сладкого воздавания должного нашей работе, говорилось: «... редакция не считает работу по отбору текстов окончательно завершённой и решительно настаивает на включении дополнительно следующих стихотворений» — и следовал список из двадцати семи стихотворений, которые надлежат вставить в сборник, а далее — другой список, тоже из двадцати семи стихотворений, которые «необходимо исключить» (так прямо и сказано!). И добро бы ещё речь шла о каких-либо «политически-сомнительных» стихах, — нет: всё заранее было нами тщательно «профильтровано»; тут была чистейшая вкусовщина, которую нам навязывали, пользуясь нашей незащищённостью. Редакторскими действиями дирижировал Орлов; все мы чувствовали зависимость от него; нам было не до самолюбий, мы не позволяли себе никаких иных чувств, кроме волнения за книгу, никаких иных желаний, кроме как поместить в неё возможно больше сильных стихов. Так что мы вступили в неравную борьбу с редакцией, опасаясь, в довершение всего, задеть амбиции «Главного». Мы писали, — сначала Орлову:

«Нам кажутся весьма спорными категорические требования снять целый ряд стихотворений и включить вместо них другие — без всякой мотивировки... Абсолютно непонятно и неоправданно требование снять несколько превосходных лирических стихотворений 1920 г. («Большими тихими дорогами...», «Пахнуло Англией и морем...», «Да, вздохов обо мне — край непечатый...»). Непонятно, почему редакция предлагает заменить совершенно «безвредное» романтическое стихотворение «Вдруг вошла...» — стихотворением «Кабы нас с тобой да судьба свела...» — апологией Марины Мнишек и Самозванца, ибо это стихотворение явно предвосхищает цикл «Марина», который редакция категорически не пропускает... О стихах с библейской тематикой и образами. Пойдя навстречу пожеланиям редакции (хотя и не согласившись с ними) и сняв прекрасный цикл «Магдалина», мы решительно возражаем против исключения таких вещей, как «Удостоверишься — повремени...» (цикл «Провода») и цикл «Облака». Неужели не будет понятно, что Библия, религия и «божественное» тут ни при чем, что поэту нужны эти «вечные» образы для выражения вполне *современных* чувств?..

Вызывает недоумение *решительное* предложение редакции и рецензента включить в книгу такие слабые стихи как «Встреча с Пушкиным» и «Генералам двенадцатого года»... Цикл «Ахматовой» по предложению редакции сокращен до минимума, и да-

вать всего три стихотворения к Ахматовой (из одиннадцати), в то время как все остальные, равноценные циклы 1916 года идут почти все в полном виде — немыслимо... циклы стихотворений к Ахматовой и к Блоку занимают равное место, это — циклы-«близнецы», ибо образы Блока и Ахматовой, созданные Цветаевой, — это образы-«близнец»...»

И так далее...

Нет, убеждения были бесполезны: из цикла «Ахматовой» прошли лишь четыре стихотворения, из цикла «Марина» — одно; «насильно» редакция исключила десять стихотворений и, насильно же, включила — семнадцать. «Встреча с Пушкиным» и «Генералам двенадцатого года», разумеется, были оставлены. А если еще принять во внимание извеченного «Крысолова», из которого вынули все строки о крысах-большевиках, то наше с Ариадной Сергеевной поражение было весьма весомым, а победа — чуть более десятка стихотворений, которые удалось отстоять, — весьма жалкой.

Орлову Ариадна Сергеевна усердно помогала цитатами, выписками из материнских тетрадей, комплиментами, подбадриваниями, уверениями в его могуществе и незаменимости, — и была в этом, увы, права: неожиданно сказанное или написанное неосторожное слово, обмолвка грозили вызвать гнев капризного шефа «Библиотеки поэта», — ведь кроме него хлопотать за цветаевские книги в те годы было некому...

Книга вышла в 1965 году тиражом сорок тысяч и явилась, что называется, крупным событием в литературной жизни. Хотя преувеличивать ее научные достоинства не следует: то был первый опыт серьезного издания поэзии Марины Цветаевой, во многом непоследовательный, — что мне сейчас видится особенно ясно. Непосредственно с архивом Цветаевой я не работала; Ариадна Сергеевна, понятно, опытным текстологом не была, и, вероятно, в будущем веке, когда откроется цветаевский архив, будут исправлены некоторые тексты (например, поэмы «Автобус»), — а также проверены и уточнены сделанные Ариадной Сергеевной выписки из черновых тетрадей, которые мы с нею использовали тогда в примечаниях, а теперь я — в своей новой книге о Цветаевой*.



После большого тома «Библиотеки поэта» мы с Ариадной Сергеевной подготовили еще три книги Марины Цветаевой: «Мой Пушкин» (вышла в 1967 году в «Советском писателе»), «Просто сердце» — стихи зарубежных поэтов в цветаевских переводах («Прогресс», 1967) и сборник пьес. Эта книга увидела свет лишь двадцать два года спустя в издательстве «Искусство» (1988), под названием «Театр». И еще мы начали работу над сборником «Марина Цветаева

* Саакянц А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество. М.: Эллис Лак. 1997.

Идеи или фрески
 К П. Шмелеву // «Образы», как слово" см. с. 107 // 29
 с. 4



Рисунок А. С. Эфрон, сделанный во время нашей работы над примечаниями к сочинениям М. Цветаевой.

об искусстве», но оставили ее, так как на издание не было никакой надежды. Наша работа над этими книгами была, в сущности, такою же, как и над первым сборником, только в меньшем объеме. Книжке «Мой Пушкин» предшествовала небольшая публикация в ростовском журнале «Дон» (1965 год, отрывки из очерка «Мой Пушкин»); книжке «Просто сердце» — публикация в том же журнале — переводов. Радость Ариадны Сергеевны, когда она держала в руках третий номер журнала с пушкинской публикацией, была, по-моему, сильнее, чем в 1961 году, когда вышел первый сборник. Потому что этим как бы приоткрылся выход цветаевской прозы. И действительно, с середины 60-х годов не только стихи Цветаевой, но и проза начали, правда, весьма «робко», появляться на страницах журналов: в журнале «Москва» — «Дом у Старого Пимена», «Пленный дух»; в «Литературной Армении» — «История одного посвящения», «Живое о живом». Но редакционные купюры калечили живую плоть произведений; ни одно не вышло полностью, — как, впрочем, и долгие годы спустя. Ариадна Сергеевна была вдохновительницей этих публикаций, но хотела, чтобы готовила их только я и чтобы под ними стояло мое имя.



И, наконец, несколько слов о том, как нам с Ариадной Сергеевной *не* давали возможности работать над изданиями Марины Цветаевой.

1966-й год. Комиссия по литературному наследию Цветаевой обращается с письмом к директору издательства «Художественная литература» В. Косолапову с «просьбой рассмотреть вопрос о включении в план редакционно-подготовительной работы... двухтомника избранных произведений М. И. Цветаевой». В этом письме, составленном Орловым, говорилось, что Цветаева — большой поэт, что надо познакомить читателя со всеми жанрами ее творчества, и т. п.

Заявка канула в небытие, ответа не последовало. Проямачив немного в отдаленных планах издательства (а директора меж тем менялись), двухтомник затем исчез окончательно.

В 1971 году мы с Ариадной Сергеевной подали заявку в «Библиотеку поэта» с просьбой привлечь нас к работе над цветаевским томом, предусмотренным к изданию в Малой серии.

Эта заявка тоже канула в небытие. Никакого ответа мы не получили.

В марте 1973 года была создана новая Комиссия по литературному наследию Цветаевой. Началась пустая трата сил (в основном, моих). При помощи Орлова были сочинены необходимые бумаги, должностные «пробивать» Цветаеву в высших инстанциях; даже возмечтали издать в Гослите (где я все еще работала) трехтомник. Прошение Комиссии, за подписью нескольких писателей (некоторых даже — уважаемых), надо было отправить «наверх».

Вопреки своему отвращению, тогда и теперь, к тогдашним номенклатурным реалиям (о них

предостаточно «вспомянуто» на сегодняшний день), процитирую отрывок из своего письма к А. С. Эфрон во время этих унижительных и бесплодных хлопот, выдерживать которые было возможно лишь по молодости лет:

«Теперь о бумаге в комитет, насчет изданий МЦ. Орлов сказал, что подписанную всеми бумагу надо отправить в комитет и в ЦК, а *копию* заверить в Союзе. Он спутал и все забыл: надо к *этой же бумаге* приложить письмо из Союза и только после этого отправлять обе. Данин сказал, что Сартаков (секретарь СП) человек хороший и письмо от Союза, без сомнения, даст. Я очень сокрушаюсь, что у нас такая громадная комиссия, ровно вдвое больше, чем полагается. Уж давно все письма были подписаны и отправлены...»

Итак, в Госкомиздат пришло прошение «на высочайшее имя» за подписями десяти (!) писателей; короткое письмо пошло и в ЦК. Эти бумаги, копии которых остались у меня, растворились в воздухе, будто их и не было.

...Через несколько лет Цветаеву начали издавать. Только Ариадны Сергеевны уже не было в живых...

А теперь я хочу привести два документа. Их разделяет десятилетие, но картина в них встает одинаково жуткая. Я-то, по молодости, «выжила», — а вот каково было Ариадне Сергеевне?..

- 3 -

Просим Вас содействовать включению трехтомника в план ближайших редакционно-подготовительных работ издательства "Художественная литература" /по редакциям русской классической литературы/.

С уважением

Председатель комиссии

В. Н. Орлов

/В. Н. Орлов/

Члены комиссии:

М. И. Апигер

/М. И. Апигер/

П. Г. Антокольский

/П. Г. Антокольский/

Д. С. Денин

/Д. С. Денин/

А. Л. Дышниц

/А. Л. Дышниц/

(Б. П. Кетцев)

/Б. П. Кетцев/

Л. Л. Левшинский

/Л. Л. Левшинский/

А. А. Михайлов

/А. А. Михайлов/

В. Ч. Огнев

/В. Ч. Огнев/

Б. А. Стуцкий

/Б. А. Стуцкий/

А. С. Эфрон

/А. С. Эфрон/

Секретер комиссии

А. А. Саявляц

/А. А. Саявляц/

1978

Подписи членов Комиссии по литературному наследию Марины Цветаевой под заявлением председателю Госкомиздата с просьбой разрешить издать трехтомник сочинений Марины Цветаевой.

ПИСЬМО К РЕДАКТОРУ «БИБЛИОТЕКИ ПОЭТА»

Уважаемая Галина Михайловна,

Это письмо, которое мы собирались послать Вам вслед за рукописью, задержалось не по нашей вине: в эти дни обнаружилась неизвестная ранее тетрадь Цветаевой, с которой необходимо было ознакомиться и в связи с чем потребовалось внести кое-какие изменения в примечания к «Стихам к Сонечке» (прилагаем при сем две страницы, которые просим вложить в рукопись вместо прижних, — Вы легко найдете).

Заканчивая работу над высланной Вам рукописью книги, мы постарались выправить допущенные нами неточности, а также выполнить ряд пожеланий редакции и рецензента. Кое с чем, впрочем, мы согласиться не смогли.

По составу. Нам кажутся весьма спорными категорические требования снять целый ряд стихотворений и включить вместо них другие — без всякой мотивировки. Так, например: предложение вставить цикл «Дон Жуан» вместо цикла «Любви старинные туманы» — требование чисто вкусовое — оба цикла близки по теме, а в художественном отношении «Любви старинные туманы» бесспорно сильнее. Абсолютно непонятно и неоправданно требование снять несколько превосходных лирических стихотворений 1920 г. («Большими тихими дорогами...», «Пахнуло Англией и морем...», «Да, вздохов обо мне — край непочатый...»). Не помещать их в книгу, значит — признать, что в это время Цветаева писала один лишь белогвардейский «Лебединый стан». Непонятно, почему редакция предлагает заменить совершенно «безвредное» романтическое стихотворение «Вдруг вошла...» — стихотворением «Кабы нас с тобой да судьба свела...» — апологией Марины Мнишек и Самозванца, ибо это стихотворение явно предвосхищает

цикл «Марина», который редакция категорически не пропускает. Если редакция считает невозможным печатать этот цикл целиком, — оставлять лишь первое стихотворение («Быть голубкой его орлиной!...») мы находим невозможным: взятое отдельно, оно звучит как явная апология Марины Мнишек, что вовсе неоправданно и искажает всю идею цикла, разносторонне трактующего сложный образ женщины — самозванки — матери — подруги — и т. д.

О стихах с библейской тематикой и образами. Пойдя навстречу пожеланиям редакции (хотя и не согласившись с ними) и сняв прекрасный цикл «Магдалина», мы решительно возражаем против исключения таких вещей, как «Удостоверишься — повремени...» (цикл «Провода») и цикл «Облака». Неужели не будет понятно, что Библия, религия и «божественное» тут ни при чем, что поэту нужны эти «вечные» образы для выражения вполне современных чувств и восприятий? И Блок, и Есенин, и все поэты того поколения прибегали к образам мифологии христианской и языческой, — таков был дух времени, и никто сейчас не предъявляет и не может предъявлять к ним претензий. Впрочем, может быть, у Вас были какие-то иные соображения по поводу исключения из сборника названных вещей? Об этом мы можем только гадать.

Вызывает недоумение решительное предложение редакции и рецензента включить в книгу такие слабые стихи, как «Встреча с Пушкиным» и «Генералам Двенадцатого года». Первое стихотворение — незрелое, несвойственное для Цветаевой, растянутое, — является длинным монологом Цветаевой о самой себе и обращено не столько к Пушкину, сколько к самому автору, и оно никак не может идти в одном ряду зрелых стихов Цветаевой, обращенных к Пушкину. Помещать в книгу второе стихотворение считаем также неправомерным.

Никак не можем согласиться с требованием редакции включить такие слабые стихотворения, как «Ладонь» (апология самоубийства) и «Прокрасться...».

Цикл «Ахматовой», по предложению редакции, сокращен до минимума, и давать всего три стихотворения к Ахматовой (из одиннадцати), в то время как остальные, равноценные циклы 1916 года идут почти все в полном виде — немыслимо. Очень важно также и то обстоятельство, что в творчестве Цветаевой циклы стихотворений к Ахматовой и к Блоку занимают равное место, это — циклы-«близнецы», ибо образы Блока и Ахматовой, созданные Цветаевой, — это образы-«близнецы». Поэтому, давая «Стихи к Блоку» целиком (без «Подруги»), мы не можем сократить до неузнаваемости ахматовский цикл. Исключив, по требованию редакции, из цикла «Ахматовой» два стихотворения, решительно настаиваем на включении в цикл стихотворения «Охватила голову и стою...» и таким образом даем хотя бы четыре стихотворения из одиннадцати (очень мало!).

О текстах. Нами было учтено требование редакции упростить пунктуацию. Слогоразделяющее тире всюду заменено дефисом, в прямую речь в необходимых случаях введены вместо тире кавычки и т. д. Однако, посмотрев внимательно тексты еще и еще раз, мы убедились в том, что вводить кавычки во всех случаях, где встречается так наз. «прямая речь», невозможно (см. вступительную заметку). Тире необходимо оставить в тех случаях, когда это нами оговорено (см. пометы на рукописи). Наиболее характерные примеры:

1) в стихотворениях, где идет непроизносимый внутренний авторский монолог или реплика (часто завершающая стихотворение). См., например, стих. «Кто дома не строил...» (— Не строила дома); «Хвала Афродите» (— Содружества заоблачный отвес...); «Деревья (Париж)» (— Святой Людовик — чего глядишь?) и т. д.

2) в «Поэме Конца», где идет сложная полифония реплик, где подчас невозможно разграничить, произносится ли это вслух героями или это внутренний монолог или диалог и т. д.

3) в поэме «Царь-Девница», где введение в диалог одних только кавычек непоправимо затруднит восприятие диалога (см. пометы на полях рукописи) и где необходимо ввести и кавычки, и тире, чтобы отделить реплики одного действующего лица от реплик другого персонажа.

4) в поэме «Крысолов».

Тире необходимо оставить также в тех случаях, когда оно обозначает паузы между словами; см., напр., в цикле «Бессонница»:

Чтобы — спалось — легче —
Буду — тебе — певчим.

Ко всем этим случаям просьба отнестись очень внимательно.

О примечаниях. Согласно предложению редакции, была проведена унификация библиографии, убраны лишние примечания и сняты варианты, не дающие принципиально новых различий. Первая четверть примечаний была просмотрена В. Н. Орловым и подвергнута зачастую неумеренным сокращениям, в ущерб смыслу; против целого ряда этих сокращений мы решительно возражаем, тем более, что по свидетельству редакции, объем примечаний не превышает договорного.

Конкретные возражения.

Во вступительной заметке необходимо оставить (в основном тексте, или в сноске, на Ваше усмотрение) абзац, где говорится о произведениях Цветаевой, не вошедших в данный сборник. Невозможно умалчивать как о двух третях поэтического наследия Цветаевой, не вошедших в данную книгу, так и о всей обширной переводческой деятельности поэта-переводчика с русского — Пушкина, Лермонтова, Маяковского и советской поэзии и Лорки, Бодлера, грузинских и славянских поэтов. В примечаниях необходимо оставить хотя бы краткие сведения о не вошедших в сборник вещах, независимо от того, что и как будет сказано об этом во вступительной статье.

Стр. 827. Прим. к стиху «Век, коронованный Голгофой». С сокращением, предложенным редакцией, не согласны, так как может быть понято, что французская революция была «Голгофой» не только для аристократов.

Стр. 831. В прим. к стих. «Маленькая сигарера!..» нельзя сокращать цитату об испанке, иначе непонятно, откуда — сигарера.

Стр. 833. Имена-отчества обеих бабок Цветаевой необходимо дать полностью («Бабушка», «У первой бабки...»), так же, как и во всех подобных случаях (Голлидэй — «Стихи к Сонечке», Тесковой — «Деревья» и т. д.).

Прим. к стих. «В час, когда мой милый брат...». Нельзя выбрасывать комментарий, который, в частности, не только не «сужает» смысл данного стихотворения, но позволяет проследить пути поэтического мышления вообще, то есть показать, как поэт из частного, иной раз случайного, создает общее.

Стр. 903. Прим. к «Стихам к Чехии»: «Поняв и полюбив Чехословакию, лишь в 30-е гг. добившуюся национальной независимости...». Не согласны с рецензентом, что эти предложения «не связаны друг с другом так грамматически-непосредственно», ибо Цветаева полкубила именно вышедшую из-под германского владычества маленькую славянскую страну, в течение трех столетий не изменившую своей славянской сути.

Просим считать настоящий вариант окончательным и не вносить в него никаких исправлений и сокращений без согласования с нами. То же относится и к текстам.

И, в заключение, несколько небольших вопросов, на которые мы просили бы ответить:

1) согласно традиции изданий «Библиотеки поэта», книгу мы назвали «Стихотворения, поэмы, драматические произведения». Редакция предлагает назвать «Избранные произведения». Почему?

2) согласно традиции изданий «Библиотеки поэта», в конце книги мы дали перечень «Книги Марины Цветаевой». Редакция

этот перечень сняла. Почему? Если — потому, что значительная часть изданий Цветаевой — эмигрантская, то ведь в сборнике Саши Черного такой перечень все же оставлен, хотя этот поэт несколько меньших масштабов, чем Цветаева.

3) почему — «Алфавитный указатель стихотворений», а не произведений?

Посылаем фотографии и список иллюстраций. Очень просили бы о двух вещах: дать на фронтисписе фотографию № 5 и при ретушировании убрать пенсне в фотографии № 1. Пенсне Цветаева никогда не носила, и в этом отношении снимок — случаен, хотя и весьма удачен.

С искренним уважением

А. Эфрон

А. Саакянц

⟨Июль 1963 г.⟩

2

ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по литературному наследию
Марины Цветаевой
от 2 апреля 1973 г.

Присутствовали:

В. Н. Орлов, Д. С. Данин, А. А. Михайлов, Л. Л. Лавлинский, В. Ф. Огнев, Б. А. Слуцкий, М. И. Алигер, А. С. Эфрон, А. А. Саакянц.

Повестка дня

1. Об изданиях Цветаевой
2. О мемориальных делах.

Орлов. Прежде всего хочу объяснить, почему цветаевская комиссия так долго не собиралась. За последние годы мы потеряли

трех ее членов: И. Г. Эребурга, К. Г. Паустовского, А. Н. Макарова. Сейчас Секретариат сформировал комиссию заново. Нам надо сегодня решить два главных вопроса.

1. Об изданиях Цветаевой

Орлов. В планах издательства «Художественная литература» когда-то стоял двухтомник избранных произведений Цветаевой, потом он исчез из планов — даже отдаленных. Другая книга — сборник драматических произведений — совсем готовая к набору, со статей и примечаниями, значилась в плане изд-ва «Искусство», однако по непонятным причинам тоже выпала из плана. Мы должны вернуться к вопросу об этих двух изданиях.

О двухтомнике: первый том составят стихотворные произведения, второй — проза. Проза Цветаевой уже прошла нашу периодику и встречена сочувственно — она, так сказать, на глазах у всех. Том же стихов можно существенно обновить сравнительно с однотомником «Библиотеки поэта», — оставив, разумеется, самые необходимые произведения. Драматические произведения можно будет не включать, если будет издан отдельный сборник в «Искусстве».

Предлагаю поручить секретарю комиссии написать от имени комиссии обращение и направить его в Гос. комитет по печати, а также в Отдел культуры ЦК КПСС и в Союз писателей.

Данин. Мне кажется, что речь должна идти не о двухтомнике, а о трехтомнике: том 1. Стихи, поэмы, т. 2. Проза, т. 3. Письма, переводы.

Михайлов поддерживает предложение Данина. — Цветаева — фигура настолько значительная, что нужно непременно добиваться трехтомника. Вслед за нашим письмом, где должна содержаться объективная, доказательная мотивировка необходимости издания трехтомника, — нужно будет делегировать членов нашей комиссии «по инстанциям», чтобы лично вручить письмо.

Эфрон. За то время, пока у нас почти ничего не выходило, за рубежом вышло около двадцати изданий. Много переведено (на французский, английский, немецкий, чешский, польский, венгерский языки). Есть несколько изданий и на русском языке. Недопустимо, что мы как бы отдаем Цветаеву на откуп эмигрантским издателям.

Слуцкий. Первое: поскольку наша комиссия — орган Союза писателей, нужно было бы наши ходатайства подкрепить визой Союза писателей. Второе: не лучше ли было бы хлопотать об издании не трехтомника, а четырех- или пятитомника Цветаевой? Ведь трехтомник включит лишь примерно половину ее литературного наследия. Третье: предлагает издать Цветаеву — избранную лирику — в изд-ве «Советская Россия».

Алигер. Надо сконцентрировать внимание именно на трехтомнике. Предлагает после составления ходатайства направиться с ним (в составе не менее трех человек от Комиссии) в Союз писателей и изложить ходатайство комиссии.

Лавлинский. Поддерживает идею М. И. Алигер и других: разработать вариант трехтомника, завизировать документ в Союзе писателей и послать его в Отдел культуры ЦК и в Комитет по делам печати.

Решение комиссии:

1. Комиссия поручает гг. Орлову и Саакянц заготовить текст обращения в Комитет по делам печати и в Отдел культуры ЦК — в течение первой половины апреля 1973 года.

2. Просит гг. Михайлова и Лавлинского взять на себя переговоры с Секретариатом Союза писателей. Они изъявляют на это согласие.

Слуцкий предлагает переиздать в «Советском писателе» книгу Цветаевой «Мой Пушкин» и сборник стихотворений в Малой серии «Библиотеки поэта». Повторяет свое предложение об издании сборника лирики в «Сов. России».

Комиссия поручает т. Огневу переговорить с директором изд-ва «Сов. писатель» Н. В. Лесючевским об издании сборника в Малой серии и о переиздании книги «Мой Пушкин»; тов. Михайлову — переговорить с директором изд-ва «Сов. Россия» Ю. Прокушевым об издании однотомника избранной лирики Цветаевой.

Огнев. Предлагает поместить в «Дне поэзии» на 1973 год публикацию стихотворений Цветаевой. Предложение принимается.

2. Мемориальные дела

Слушали: *сообщение А. С. Эфрон.*

Эфрон. Место настоящей могилы Цветаевой, после долгих поисков, наконец, было обнаружено. Разыскал его педагог Елабужского пединститута тов. Головки. Поиски свои он начал с того, что обратился к родственникам похороненных на этом месте в течение двух недель после смерти Цветаевой. Сам бугорок был снесен при планировке цветаевского памятника. Эта (настоящая) могила частично захвачена оградой памятника Цветаевой, установленного Литофондом в 1971 г. (хлопоты об установлении этого памятника заняли семь лет. В итоге был утерян эскиз памятника, утвержденный секретариатом СП, и пришлось воспользоваться стандартной мусульманской заготовкой). Поскольку теперь место захоронения Цветаевой установлено, то должен быть поставлен вопрос о перезахоронении праха в Москве, в семейной ограде.

Орлов. На этот счет должно быть решение секретариата.

Постановление Комиссии:

1. Поскольку местонахождение могилы Цветаевой установлено точно*, Комиссия считает необходимым перезахоронение

* Примечание 1996 г.: Такая формулировка была принята Комиссией из «тактических» соображений. О дальнейшем см. письмо А. С. Эфрон от 9 июля 1973 г. и комментарий.

праха Марины Цветаевой из Елабужского кладбища на Ваганьковское в Москве, рядом с отцом, И. В. Цветаевым, известным русским ученым, основателем Музея изобразительных искусств имени Пушкина.

2. Просьбу адресовать Секретариату союза писателей, поручить это дело Литфонду.

3. Разное

Слушали: Просить фирму «Мелодия» выпустить пластинку со стихотворениями Марины Цветаевой в исполнении советских поэтов.

Предложить Музею А. С. Пушкина провести осенью 1973 года вечер памяти Марины Цветаевой.

Оба предложения приняты Комиссией.

Секретарь комиссии

А. Саакянц.

Священная ревность

«Как можно, любя человека, отдавать его всем?.. Как можно это вынести — перевод его почерка на лино- или монотип? с бумаги той на бумагу эту?

Где же ревность, *священная* после смерти?»

(Мария Цветаева. Несколько писем Райнер Мария Рильке.)

Зная Ариадну Сергеевну и общаясь с нею около пятнадцати лет, я была свидетелем, как проявлялась в ней эта посмертная дочерняя ревность к материнскому творческому наследию. Больше всего на свете

желая, чтобы произведения Марины Цветаевой были опубликованы на родине, делая для этого все, что было в ее силах, Ариадна Сергеевна опасалась доверить их в чужие руки, которые сделают «не то» и «не так». Она считала себя вправе скрывать то, что полагала необходимым скрыть*, а также домысливать на свой лад то, что, по ее мнению, было необходимо, и творить легенды (чуть ли не цензурные!), уверенная, что «мама» ей «простит». Но ведь для того чтобы в те смутные времена издавать Цветаеву, приходилось именно отдавать (передать) материнские творения в посторонние — редакторские, издательские, цензорские — руки, и таким образом всякий раз отрекаться от себя. И здесь драматическая раздвоенность проявлялась в дочери с почти материнской силой.

В свои легенды Ариадна Сергеевна свято верила, невольно обманывая саму себя. Начать можно с любой.

Речь о прототипе героя поэмы «Егорюшка» — Борисе Бессарабове, которым Марина Ивановна была недолгое время увлечена, а сама Ариадна Сергеевна вспоминала о нем с теплотой. Разочаровавшись в этом человеке, которого считала «парой» своей «Царь-Девнице» (героине предыдущей поэмы), Цветаева писала С. М. Волконскому, старому аристо-

* Оговорюсь сразу: я не касаюсь так называемых «семейных тайн», которые родственники, как правило, скрывают от посторонних глаз; их чувства понятны любому.

крату и новому своему увлечению, о том, что прежде дружила с Бессарабовым, «...а теперь вижу, что это просто зазнавшийся дворник, а прогнать не могу. Слышу дурацкий хамский смех и возгласы, вроде: «— Эх, чорт! Что-то башка не варит!»— и чувствую себя оскорбленной до заледенения, а ничего поделать не могу».

Эти строки Ариадна Сергеевна мне не показала. Осталась легенда о замечательном «молоденьком красноармейце», юном друге Цветаевой...

Но и с князем Волконским отношения были не столь однозначно восторженными (со стороны Марины Ивановны). Когда-то Ариадна Сергеевна, в числе прочих цветаевских записей, дала мне такую:

«Желая польстить *нам*, цари хвалят: чашку, из которой мы их угощаем, копеечного петуха в руках нашего ребенка, то есть вещественное, то есть *их*, то, чем *они* так сверх-богаты».

И не дала главную, «резюме»:

«Вся моя история с Волконским».

Точно так же, зная от Ариадны Сергеевны материнские записи о Волконском, я никогда не видела, например, такие:

«Ласковость, за которой — что? — обиженно записывает Марина Ивановна. — Да ничего». Она говорит о «неслышанье», «незамечанье» Волконским того «лишнего», что шло от нее. (Как в стихотворении «Волк»: «Ненасытностью своею // Перекармливаю всех».)

«Ум насыщен, душа впроголодь. Так мне и надо». — Это — тоже к Волконскому.

Правда, такие подробности ничуть не меняли суть отношения Марины Ивановны к Сергею Михайловичу, к которому она сохранила привязанность на всю жизнь. Но речь я веду не о матери, а о дочери, об Ариадне Эфрон, обо всех проявлениях именно *цветаевских* черт, порой — несправедливых и противоречивых поступков, но все равно масштабных — «в рост» именно ее *большой* личности.

То, что я называю *священной ревностью*, проявлялось в самых разных жизненных «сюжетах». Вот один.

Много лет назад одна знакомая рассказала, что задумала статью: кажется, о Цветаевой и Маяковском. Встретилась с Ариадной Сергеевной. Четко помню ее слова: «Она как навалилась на меня, стала говорить, настаивать, что и как я должна писать...» Не помню, осуществила ли моя знакомая свой замысел...

Что до меня, то я, в те далекие годы, вознамерилась написать работу о поэме «Молодец». Ариадна Сергеевна живо откликнулась на мой замысел; в письме от 1 июня 1966 года она рассуждает о приемах, роднящих творчество Марины Цветаевой с народным, и настоятельно советует мне вести разбор поэмы, в частности, «от лубка и от Рублева» (огонь и лазурь). То есть предлагает формальный,

искусствоведческий подход. Не говоря уже о том, что так называемое «вѣдение», особенно литературоведение, всегда было для меня делом чуждым и бессмысленным (как бы вслед самой Марине Ивановне!), то ведь и «Мóлодец» — это прежде всего поэма психологическая, с ее лабиринтом чувств и страстей. Это поэма о трагической, невозможной, *невозможной* любви, единственное осуществление которой — *тот* свет, *иной* мир — полет «в огонь синь». Так, по-фаустовски, переосмысливает Цветаева сказку «Упырь». При чем тут лубок, Рублев? Я очень расстроилась и писать ничего не стала. Потому что не показать статью Ариадне Сергеевне было невозможно; она же непременно раскритиковала бы мой труд; она как бы наперед была не согласна с тем, что мы пишем (и напишем) о ее матери, ревнуя как к настоящему, так и к будущему...

Воспоминание об истории с «Мóлодцем» наводит меня сегодня на попутную мысль. Герой поэмы Цветаевой — *добрый*, страдающий *мóлодец*, некое олицетворение слабости, бьющей иной раз пуще любой силы. Говорю об этом в связи с тем, что Ариадна Сергеевна не раз с досадой говорила о ничтожестве, незначительности, слабости тех, к кому влеклась Марина Ивановна: А. Бахрахе, Н. Гронском, А. Штейгере... Много позже я убедилась, что все было далеко не так, — хотя бы с Анатолием Штейгером. Ариадна Сергеевна однажды извлекла из материнского архива отрывки из письма-отпове-

ди Цветаевой Штейгеру, и мы с удовольствием опубликовали их в «Новом мире» (1969, № 4). Но, как выяснилось впоследствии, это был не черновик письма: Марина Ивановна отправила адресату совсем другое, мягче, — и вообще история этого эпистолярного романа свидетельствует вовсе не о слабости молодого поэта, а о его благородстве и мужестве. И даже если Ариадне Сергеевне не были известны все материнские письма к Штейгеру и его ответ, — то ведь она помнила его еще по школе в Моравской Тшебове (Штейгер-то Алю отлично помнил и в своем письме к Марине Ивановне защитил ее от несправедливых материнских нападок).

Но дочь всегда оставалась при своем мнении, была верна своей легенде. Она была непереубедима.

... А еще я, наивная, в середине шестидесятых задумала написать... книгу о Марине Цветаевой. Даже заявку в издательство собиралась подать (конечно, показав ее предварительно Ариадне Сергеевне). И получила от нее подробный отклик: как нужно составлять заявку, какие акценты сделать, не раскрывая при этом замысла книги, дабы не воспользовались моими соображениями другие; что в первую очередь нужно сказать и т. п.* Но подспудный смысл письма был — и я его отлично уловила — рано мне еще соваться с книгами. Я и не «сунулась», — впрочем, в те годы мечта о книге была

* См. письмо Ариадны Сергеевны от 12 сентября 1966 г.

чистой утопией. Да и о какой книге могла идти речь (если бы даже в издательстве и приняли мою заявку), когда Ариадна Сергеевна пыталась «исправить» воспоминания Павла Антокольского, знавшего Марину Ивановну в юности, когда самой Але было всего шесть-семь лет? Напомню: Антокольский рисовал Марину Ивановну статной, широкоплечей, стянутой в талии широким желтым ремнем, с кожаной сумкой через плечо и с «широкими мужскими шагами». Неудовольствию Ариадны Сергеевны не было предела, она отправила Антокольскому письмо, настаивала, что облик Цветаевой был совсем иным, женственным, что она любила платя, «являвшие тонкость талии и стройность фигуры... И шаги были не мужские... а стремительные легкие мальчишечьи. В ней грация, ласковость, лукавство — помните? Ну, конечно же — *помните*. Легкая она была», — внушала Ариадна Сергеевна Павлу Григорьевичу.

Оба, на мой взгляд, преувеличивали: каждый — свое. Но в одном Ариадна Сергеевна была совершенно права. Она плохо относилась к так называемым воспоминаниям о матери, которые начали появляться на Западе в пятидесятые годы, а позже и у нас; считала их попытками с негодными средствами, то есть мелкими, «не в рост» Цветаевой. (И в самом деле, до сих пор никому оказалось не под силу воссоздать масштабный портрет поэта, — кроме самой Ариадны Эфрон, которая, увы! —

не написала и трети того, о чем должна была вспомнить. Не успела...)

Легковесными Ариадна Сергеевна считала воспоминания Анастасии Цветаевой, что было ей особенно больно. За многословием, по ее мнению, незаметно терялась суть, серьезность описываемого. Вышедшие впоследствии трижды, «Воспоминания» были изрядно сокращены. Я же застала, что называется, подготовительную стадию. Большими порциями мемуары Анастасии Ивановны перепечатывались на машинке, и в 1962 году я, по просьбе Ариадны Сергеевны, приходила на улицу Медведева — неподалеку от бывшего «Старого Пимена», — в нелепую коммунальную квартиру и частями забирала перепечатанное у Анастасии Ивановны. Наши отношения с нею всегда оставались хотя и далекими, но вполне доброжелательными, невзирая на злобное жужжанье окружавших ее сплетниц. Но это — уже отдельная история...

Вернусь, однако, к своему рассказу. В 1965 году, после выхода цветаевского тома в «Библиотеке поэта», мы сделали попытки напечатать и прозу. Одним из таких усилий был мой поход в «Новый мир» с цветаевским «Пушкиным и Пугачевым». В редакцию, как мне сказали в журнале, уже были сданы отрывки из воспоминаний Анастасии Ивановны*. И когда они появились в первых двух номе-

* См. об этом в очерке «Одна непростительная история».

рах следующего года, а «Пушкина и Пугачева» отложили на неопределенный срок, — вот тут-то Ариадна Сергеевна страшно расстроилась, приписав очередную неудачу с Мариной Цветаевой Року, тяготеющему над семьей (своей семьей: Марины Ивановны, Сергея Яковлевича и Мура).

Я очень ей соперничала и, подумав, написала очень сердитое письмо Анастасии Ивановне, основной «шафос» которого был — несопоставимость ее литературных данных с могучим талантом сестры. Но, к счастью, не отправила и даже не показала Ариадне Сергеевне. Хорошо, что оно сохранилось: несмотря ни на что, в нем много справедливого:

Вот отрывок:

«Уважаемая Анастасия Ивановна!

Я решила написать не в «Новый мир» (<...>) а прямо по Вашему адресу.

Речь пойдет о Ваших воспоминаниях. Прочитала я их внимательно, дважды. Прочитала также и те воспоминания о Горьком, которые Вы напечатали 30 с лишним лет назад. Прочитала (впервые) Ваши юношеские книги «Дым, дым и дым» и «Королевские размышления». И вот теперь — воспоминания в «Новом мире».

Не удивляйтесь: четыре года назад, когда я приходила к Вам и забирала машинопись Ваших воспоминаний, я сразу же отдавала их Ариадне Сергеевне, не читая, — времени у меня тогда совсем не было. Как не было времени поговорить с Вами о Вашей великой сестре. Она — поэт и прозаик громадных масштабов. Ее только теперь начинают открывать, к сожалению. Но будущее покажет, какой это гигант. И сейчас, после того как в «Новом

мире» отказались напечатать «Пушкина и Пугачева», я решила обратиться к творчеству ее сестры.

⟨...⟩ Не буду останавливаться на Ваших первых двух книгах: по-моему, это девический словесный *блуд*; читать их мне было неприятно. ⟨...⟩ Что же до фамилии «Цветаева», под которой Вы их издали, — то в свои 16–18 лет Вы, естественно, не могли еще знать, что сестра Ваша станет гениальным поэтом.

Спустя 20 лет, в 1930 годы, Вы опубликовали воспоминания о поездке к Горькому под фамилией «Мейн» — и ⟨...⟩ думаю, поступили правильно: Марина Ивановна, к тому времени уже огромный поэт и прозаик — *Цветаева*; ее сестра Анастасия, написавшая эти воспоминания — *Мейн*. Что касается написанного тогда Вами о Горьком, — это была «проба пера», в модном духе формалистических поисков тех лет.

Но не хочу останавливаться подробно и на этом: ведь тема моего письма — Ваши мемуары, опубликованные в «Новом мире» (№ 1 и 2) за этот год, посвященные памяти сестры Марины и подписанные: «Цветаева».

Прежде всего: раз посвятили памяти сестры — то, надо думать, Вы ее *любите* и память о ней Вам *дорога*. Но именно любви-то и не ощущается в Ваших записках; они очень односторонни, однобоки. Из-под Вашего пера встает эгоистический и даже жестокий ребенок; Вы не приводите ни одного факта, который бы положительно, красиво, а главное — *масштабно, высоко* характеризовал бы Марину. Всё какое-то анекдотическое, мелкое, не вполне даже нормальное ⟨...⟩ С точки зрения стилистической, мемуары Ваши довольно интересны ⟨...⟩ тем, что они — *иные* по сравнению с нынешней безликой прозой. Но они *несамостоятельны* и *внешне* походят на прозу Марины Цветаевой. Внешне, но не по существу. Ибо в них недостает глубины и силы, всякий раз оборачиваясь какою-то, простите, пустяковостью.

Но что меня буквально потрясло — это финал Ваших записок. На странице 128 второго номера «Нового мира» Вы приводите

слова из *неотправленного* письма к Вам Горького, где он омерзительно говорит о творчестве Цветаевой и Пастернака — поэта, самого близкого Марине Ивановне по духу. Как известно, Горький не понимал их творчества. Однако всё же он это письмо Вам не отправил; Вы же <...> добыли его из архива, чтобы все прочитали слова Горького о том, какая Анастасия Ивановна Цветаева «детски-ясная, хорошая». (Не то, что Марина Ивановна и Борис Пастернак, с их «опьянением словами»! Нечего сказать, красиво это выглядит, когда и Пастернака, и Цветаеву с таким трудом начали наконец печатать! <...>).

Но вернемся к фамилии *Цветаева* <...> Итак, в 1930 году Вы были *Мейн*, а в 1966 — стали Цветаевой <...> Тогда, более тридцати лет назад, Вы пожелали оградиться, отделить себя от сестры, которая была в *эмиграции*. <...> А сейчас — сейчас Марину Цветаеву медленно, но верно начинают признавать. И уж во всяком случае подписывать свои сочинения этой фамилией совсем не опасно.

<...> В Ваших воспоминаниях — не любовь к сестре, <...> а прежде всего и вся — чувство конкуренции, соперничества, зависти — и ревности: «И я тоже. Было *две* сестры, *две* Цветаевы, *две* писательницы». <...>

О Марине Цветаевой у Вас сказано очень мало <...> На первом, главном месте стоит Анастасия Цветаева, *ее* жизнь, *ее* переживания, *ее* размышления... То есть воспоминания, опубликованные в «Новом мире», — это <...> часть литературной деятельности Анастасии Цветаевой, которая — еще не писатель, а рядом с сестрой — тем более. И в этом случае, я считаю, Вам следовало бы изобрести себе другое литературное имя <...>

Сама же Ариадна Сергеевна так отозвалась о мемуарах тетки:

«Воспом(инания) А(настасии) И(вановны) в «Н(овом) М(ире)» чудесно (языковó) написаны, но, Господи, как же всё вымазано малиновым вареньем, как глубоко под ним запрятана трагическая сущность вещей и отношений, — семейных и прочих. Поэтому я в бешенстве; и так хочется, чтобы вышла настоящая М(арина) Ц(ветаева), к(оторая) писала всегда вглубь, а не по поверхности, и ничего не сахарíнила»*.

О том же она с горечью говорила со мной, и особенно ее удручала история с фамилией *Мейн* и отречение от нее, — что, собственно, и подвигло меня на письмо...



Сейчас, когда время неумолимо отдаляет меня от *живой* Ариадны Сергеевны, я всё больше понимаю ее мысли и поступки, недоосознанные мною в молодые годы.

... Летом 1962 года в Тарусу приехал студент из Киева. Что называется, «по велению сердца», не озаботившись обратиться в первую очередь к Ариадне Сергеевне (то, что ее в тот момент не было в Тарусе, дела не меняло), он пытался поставить над Окой, близ могилы Борисова-Мусатова, памятный камень с надписью: «Здесь хотела бы лежать

* Письмо к В. Н. Орлову от 4 марта 1966 года. В кн.: Эфрон А. «А душа не тонет...» // Состав., подгот. текста, примеч. и подбор иллюстраций Р. Б. Вальбе, М.: Изд-во «Культура», 1996. С. 267.

Марина Цветаева» (так она просила в очерке «Хлыстовки»). Ариадну Сергеевну это весьма взволновало, она подняла на ноги цветаевскую комиссию: Орлова, Эренбурга, — дабы воспрепятствовать этой «суете», как она говорила. В результате камень, конечно, установлен не был. Кое-кто из трусливой «интеллигенции» (никогда не вынимавшей фиги из кармана) осудил Ариадну Сергеевну за чрезмерное осторожничанье. Но ведь ясно, что установить памятник поэту в обход дочери, чье мнение, каким бы оно ни было, — *решающее*, попросту оскорбительно. В подобных «энтузиастах» Ариадна Сергеевна видела прежде всего «сенсационеров» (ее словечко), желающих быть причастными к великому имени. Впрочем, когда гнев ее поостыл, она отозвалась о киевском студенте так: «...чудесный мальчик, вполне, весь, с головы до ног входящий в цветаевскую формулу: «любовь есть действие» ... И мне, дочери, пришлось бороться с ним и *побороть* его. Всё это ужасно. Трудно *рассудку* перебарывать *душу*, в этом всегда какая-то *кривда*», — писала она В. Н. Орлову*.

(К счастью (!?), Ариадна Сергеевна не дожидая до того времени, когда по кладбищу в Елабуге начали ползать полусумасшедшие девицы в поисках якобы истинного места захоронения Цветаевой и ставить кресты... А также — до открытия так назы-

* Эфрон А. «А душа не тонет...». С. 208.

ваемого «Дома-музея» Марины Цветаевой в Борисоглебском, где *музеем* поэта именуется нагромождение старой мебели, не имеющей никакого отношения к цветаевской семье, муляжей, игрушек, фикусов и прочего. Иные доверчивые посетители думают, что среди этой бутафории и жила Марина Цветаева. Естественно, Ариадна Сергеевна не допустила бы ни того, ни другого.)



Не буду утверждать, что Ариадна Сергеевна была всегда и непременно права абсолютно во всем. Вспоминаю такой случай.

Когда-то, по-видимому, в самом конце пятидесятих годов, Ариадна Сергеевна перепечатала несколько цветаевских стихотворений, а также отрывок из материнских записей 1940 года, и подарила копии Анастасии Ивановне, попросив никому их не давать. Однако Анастасия Ивановна не послушала племянницу (можно понять *сестру!*), и, вероятно, ее друзья скопировали цветаевские тексты, а те, спустя какое-то время, конечно, «утекли» за границу (не говоря уже о том, что «ходили по рукам» в Москве). И когда, много лет спустя, я сказала Ариадне Сергеевне, что хочу сверить некоторые стихотворения с беловыми тетрадами, она была поражена: откуда? каким образом попали ко мне? Я ответила, что они давно «ходят», многим известны — чем прямо-таки опарашила ее. Она разгневалась на меня, будто это

я их копировала и распространяла. А потом, в 1971 году, эти стихи появились в парижском «Вестнике РСХД». И Ариадна Сергеевна разразилась гневным письмом Анастасии Ивановне. Она писала, что это — преступление: против Цветаевой, против читателей, наконец, против нее самой, ибо появление стихов за границей помешает публикациям на родине, и т. п. Все бы можно понять, но стихи-то были совсем «невинные» и в большинстве своем просто слабые для Цветаевой: лирика лета 1917—1918 годов (Ариадна Сергеевна была весьма осторожна, отбирая их для тетки), в них не содержалось никакой «политики». К тому же многое из того, что мы ранее уже опубликовали, казалось куда острее, сильнее. Конечно, дело опять же — в той же *ревности*, — хотя она и писала моей ереванской подруге Н. Гончар в 1965 году: «...когда я пытаюсь бороться с «публикаторами», то это — борьба не с людьми, которые «устраивают» там-сям эти самые публикации, а с *качеством* самих публикаций, с их *не сверенностью*, *не проверенностью*, с игнорированием или незнанием цензурных или «вкусовых» купюр в эмигрантских изданиях, и т. д., и т. п.»

Летом 1973 года Ариадне Сергеевне был преподнесен более серьезный «сюрприз». Она узнала, что годом раньше в Париже вышла книга: «Марина Цветаева. Неизданные письма»; там были помещены, в частности, записи, подаренные Ариадной Сергеевной Анастасии Ивановне, а также много

писем Марины Ивановны к разным лицам. Вот уже чего менее всего желала дочь! А еще прежде того она, узнав, что в Париже готовится вышеупомянутая книга и что туда войдут материнские письма к В. Буниной и О. Черновой, написала М. Л. Слониму, чтобы тот хлопотал об отмене издания (!). Не знаю, получил ли Слоним письмо Ариадны Сергеевны, — да если и получил, то, конечно, не послушался ее.

Помню, как лет за десять до выхода парижской книги я переписала в библиотеке письма Цветаевой к А. Штейгеру и Ю. Иваску (они выпли в Америке). Ариадна Сергеевна благодарила меня, — но я видела, как она огорчилась самым фактом их обнародования; она предпочла бы, чтобы они не «всплывали» вовсе, и хранились бы не за океаном, а в ее недоступном никому архиве, как в материнской утробе. «Могла бы — взяла бы // В утробу пещеры» (Марина Цветаева. «Стихи сироте»).

Как-то я спросила: много ли, по ее мнению, остается еще цветаевских адресатов, письма к которым могут быть обнаружены? Она уверенно ответила, что совсем мало. Выдавала желаемое за действительное. Нынче время показало, что писем Марины Цветаевой — моря, и выявлены далеко не все...



Понимая с годами, как я уже говорила, Ариадну Сергеевну всё больше, я ставлю себя (и раньше

ставила!) на ее место — и убеждаюсь, что испытывала бы ее переживания. Она была — ДОЧЬ, которая неизбежно ощущала свою вину перед родными, вольную или невольную. Когда мы теряем близких, мы чувствуем нашу вину перед ними — за всё то, чего недодали им при жизни. Ариадна Сергеевна с горечью вспоминала, что в молодости уходила из дома — «из-за трудного маминого характера», что не простилась с нею, когда ее увозили из Болшева — навсегда. «Если б мама была жива — пусть парализованная, неподвижная, я не отходила бы от нее ни на минуту!» — однажды вырвалось у нее.

Но матери больше не было. Осталось ее наследие: ее тетради, ее архив. И Ариадна Сергеевна, освободившись из гулаговского шестнадцатилетнего ада, берегла материнские бумаги и книги, как зеницу ока, не доверяя, даже не показывая никому, буквально не выпуская из рук. С какими мучительными чувствами, думаю я, относилась она к коллекционерам, собирателям, обладателям цветаевских рукописей, фотографий, книг с дарственными надписями... Однако она была вполне корректна, ни намеком не показывая, что материнские материалы должны бы находиться у нее (но не скрывала, что — в одном месте, намекая на государственный архив). Я очень страдала за нее и возмущалась: почему всё цветаевское не стекается к дочери? почему люди и не думают отдавать Ариадне Сергеевне автографы, фотографии, книги Цветаевой? Помню,

незадолго до кончины Ариадны Сергеевны у какого-то владельца обнаружилась рукопись французского «Письма к Амазонке». С нее была снята фотокопия и подарена Ариадне Сергеевне. Она не обмолвилась об этом ни словом; мне же очень хотелось, чтобы она ее перевела. Теперь думаю, что никогда не стала бы Ариадна Сергеевна переводить этот поэтический и философский трактат о женщинах-«амазонках»...



Иногда, во время нашей работы, она брала тетрадь матери и читала какое-нибудь стихотворение. В своей книге* я описывала, как читала Ариадна Сергеевна стихотворение «Ищи себе доверчивых подруг...», особым, тихим, трагическим голосом выделяв строки:

От высокаторжественных немот
До полного попрапия души —

о великом диапазоне любви человеческой; строки эти, вероятно, были близки ее душе — да и кому не близки? Еще помню, как читала Ариадна Сергеевна одно стихотворение из «Комедьянта»; как само стихотворение, так и весь цикл — не из самых сильных, и однако, когда Ариадна Сергеевна произ-

* Саакянц А. Марина Цветаева. Жизнь и творчество.

носила заключительные строки, — могу сказать, что душа замирала: столько она вкладывала в них *своего*, выстраданного:

Нет, дружочек! — Это проще,
Это пуше, чем досада:
Мне тебя уже не надо —
Оттого что — оттого что —
Мне тебя уже не надо!

И еще — теперь уже на *мой* вкус (всё она понимала!):

Уединение: уйди
В себя, как прадеды в феоды.
Уединение: в груди
Ищи и находи свободу...

Кто победил на площади —
Про то не думай и не ведай.
В уединении груди —
Справляй и погребай победу...

Это стихотворение она продиктовала, — не разрешив публиковать.

«О, жизнь без суеты!..» — так начинался один ее стихотворный перевод, и опять она не сомневалась, что мне понравится.

Так же, как и это, коротенькое, которое по моему настоянию мы включили в однотомник «Библиотеки поэта» и которое, по ее мнению, в какой-то степени отражает *мой* характер, — так она меня воспринимала:

Гордость и робость — родные сестры,
Над колыбелью, дружные, встали.

«Лоб запрокинув!» — гордость велела.
«Очи потупив!» — робость шепнула.

Так прохожу я — очи потупив —
Лоб запрокинув — Гордость и Робость.

И с особой, непередаваемой интонацией, которую я не в силах выразить словами, прочла Ариадна Сергеевна — было это уже в начале семидесятых, — одно из самых выстраданных, матерью и ею самою, стихотворений — «Страна» (1931):

С фонарем обшарьте
Весь подлунный свет!
Той страны на карте —
Нет, в пространстве — нет...

Тихий драматизм чтения, по мере приближения к финалу, нарастал, и вот последние строки —

Той, где на монетах —
Молодость моя,
Той России — нету.

(Напряженная, почти мучительная пауза перед последней строкой:)

— Как и той меня.

И спросила: что означают слова «на монетах молодость моя»? Я не знала, она пояснила: профиль

царя... Переписать стихотворение не предложила; я и не попросила, — как, впрочем, никогда и ни о чем. Само ее чтение уже было подарком, притом и для нее — тоже: видеть, как *внимают* материнским стихам, особенно звучащим впервые.



Ощущая, как я уже говорила, свою вину перед матерью (в чем, конечно, трудно с нею согласиться), Ариадна Сергеевна допускала, на мой взгляд, некоторые посмертные «грешки», — которые, напротив, полагала, Марина Ивановна простит ей. Я имею в виду ее некое *самовольно-творческое* отношение к цветаевским текстам.

Например, она... писала за мать (!), — вернее, дописывала незавершенные строки или слова в стихотворении. Даже в *беловых* тетрадах Цветаевой много таких случаев; последние слова Марина Ивановна вписывала, лишь готовя вещь к печати. А если не готовила? Так и осталась с пробелами поэма «Егорушка»; печатая ее начало в «Новом мире», Ариадна Сергеевна заполнила эти пробелы с блеском и проявила себя истинным материнским «соавтором». От примеров удержаться не могу (в угловые скобки взяты слова Ариадны Сергеевны):

Придет серый волчок,
Схватит <Ерку> за бочок!

Черным словом <всех округ хае->бронит,
Не ребеночек растет — а разбойник.

〈А к вечеру, дел переделав тыщу,〉
В овражке лежат, друг у дружки ищут.

〈Тот и другой
Без стёжек прут —〉
Идут
На разбой
И блуд.

Спешу оговориться: таких случаев «соавторства» совсем немного. Но они интересны; вот еще один.

Когда мы готовили к изданию знаменитые «Избранные произведения» 1965 года, Ариадна Сергеевна включила в книгу стихотворение 1916 года, которое не нравилось мне, однако ей было почему-то дорого:

Чтоб дойти до уст и ложа —
Мимо страшной церкви Божьей
Мне идти...

.....
К двери светлой и певучей
Через ладанную тучу
Тороплюсь,
Как торопятся от века
Мимо Бога — к человеку
Человек.

И, чтобы «защитить» стихотворение от редактора, который мог бы придраться к упоминанию Бога, — дала такой комментарий:

«В письме 1934 г. Цветаева пишет: «Всю жизнь не связана с церковью, я — не, *вне* церковна, т. е. чувствую себя хорошо возле, в ограде, в притворе,

кругом да около, мимо, — и скверно, неуместно — в, особенно во время службы... отчуждение, несвойственность...»

А после призналась, что этот комментарий сочинила сама: «Мама мне простит...»

Так же защищала Ариадна Сергеевна мать от «белых» в пользу «красных», в качестве аргумента приписав Марине Ивановне преувеличенную солидарность и дружбу с Маяковским. Вот как фантастически толкует она известную встречу Цветаевой с Маяковским на Кузнецком перед ее отъездом за границу: «...она смотрела ему вслед и думала, что оглянись он и крикни: «Да полно вам, Цветаева, бросьте, не уезжайте!» — она осталась бы и, как зачарованная, запагала бы за ним, с ним»*. Таким же вымыслом я считаю рассказ об участии Цветаевой как переводчицы на французский в выступлении Маяковского в некоем парижском рабочем кафе весной 1929 года. Биография Маяковского «изъезжена» вдоль и поперек, но об этом выступлении ничего не известно...**

Еще одна дочерняя фантазия. В шестидесятые годы Ариадна Сергеевна предложила журналу «Литературная Армения» написать очерк о встрече в Париже Марины Цветаевой с Аветиком Исаакяном.

* Эфрон А. О Марине Цветаевой // Состав. и автор вступит. статьи М. И. Белкина. Комментарий Л. М. Турчинского. М.: Советский писатель, 1989. С. 137.

** Там же. С. 138 — 139.

И написала — блестяще — эссе «Самофракийская победа». И только позже, через несколько лет, призналась мне, что встречу Исаакяна с Цветаевой в Лувре «под сенью» Ники Самофракийской она полностью выдумала.

«Мама мне простит...»

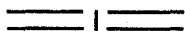
В начале шестидесятых, по просьбе Эльзы Триоле, которая готовила «Антологию русской поэзии» на французском, Ариадна Сергеевна составила «Автобиографию» Цветаевой. Именно *составила* на свой страх и риск из отрывков цветаевских текстов, произвольно контаминируя их. Эту «Автобиографию», вместе с несколькими стихотворениями Цветаевой, предназначавшимися для перевода, она попросила меня отнести на Кутузовский к Л. Ю. Брик. К слову, от этого посещения у меня осталось впечатление весьма неприятное. Неприятна была мне сама хозяйка — с раскрашенным кровавым ртом, впалыми глазами, словно глядящими изнутри черепа, с ниточками бровей и рыжей косой; о таких говорят: «кладбищенская Венера». Но главным было, разумеется, не это, а сам разговор, полностью сведшийся к монологу Л. Ю. Брик, вернее, к ее не терпящему возражений поручению. Прочитав, по-видимому, в каких-то мемуарах о том, что Маяковский в нэповской Москве закупал в огромных количествах деликатесы, Лиля Юрьевна учила меня,

как надо возражать на эту, по ее словам, клевету, если зайдет разговор о Маяковском. Я не запомнила суть этих наставлений, зато отлично поняла, почему Ариадна Сергеевна не захотела идти в дом на Кутузовском. Как не хотела бывать в домах, казавшихся ей «светскими», благополучными. В Тарусе, кстати, первое время она посещала «салон» Оттепов, потом резко отошла от этого общества с его комфортным, как ей казалось, либерализмом. (Да еще там вдобавок, желая пощеголять знанием Цветаевой, коверкали ее стихи: «Грязь *брызгает* из-под колес» (вместо *брезгует*), как с презрением писала она мне, услышав в оттеповском доме эту строку...). Однако она, в своей непримиримости, упрощала ситуацию: некоторые из той тарусской публики были поистине героическими диссидентами, — но Ариадна Сергеевна видеть этого не желала...

Не захотела она встретиться и с Тагерами. (У Евгения Борисовича Тагера хранились рукописи Цветаевой: письма, стихи, «Поэма Горь», которую ему переписала Марина Ивановна в Голицыне.) Послала к ним меня — может быть, в надежде, что «поделятся» хотя бы копиями. Но на это не было даже намека; мне лишь хвастливо прочли отрывок из одного письма; впрочем, звали приходиться, но Ариадне Сергеевне, по-видимому, это было не нужно, а мне — с первого же раза — неинтересно.

Непримиримость Ариадны Сергеевны тоже относилась к *посмертной ревности*, более того: была

проявлением цветаевского, материнского. Думаю, что за это качество тень Марины Ивановны ее «пропала».



Но если говорить о творчестве, о литературном наследии, — о *текстах*, — то здесь, как мне кажется, Марина Ивановна одобрила бы действия дочери не во всём. Мне часто вспоминаются цветаевские слова из письма к мужу: «Я к каждому с улицы подхожу вся. И вот улица мстит». *Вся*, открытая, порой — до жестокости правдивая: и в жизни, и в любви, и в творчестве. Всё, что писала, было предельно откровенно.

Ариадна Сергеевна в этом отношении была антиподом матери — не только в силу разных причин, но, как сказала бы Марина Ивановна, «отродясь». И именно этим во многом объясняются ее старания утаить, затушевать, смягчить, «корректировать» мать, «исправить», сократить. Вернусь опять к некоторым примерам.

Совсем недавно я впервые прочла три стихотворных отрывка, посвященные смерти Есенина. Вот они:

Первый:

Брат по песенной беде —
Я завидую тебе.
Пусть хоть так она исполнится
— Помереть в отдельной комнате —
Скольких лет моих? лет ста?
Каждодневная мечта.

Второй:

И не жалость: мало жил.
И не горечь: мало дал.
Много жил — кто в *наши* жил
Дни: *всё* дал — кто песню дал.

Третий:

Жить (конечно, не новой
Смерти!) Жилам вопреки.
Для чего-нибудь да есть
Потолочные кроки.

Ариадна Сергеевна опубликовала только серединное четверостишие; другие строчки никогда не показывала. Нужно ли объяснять, что она нарушила *трагедию целого* (пусть и данного в отрывках)?

В свое время она подарила мне — для будущей работы — немало выписок из цветаевских тетрадей. И в некоторых отрывках делала такие сокращения, которые буквально уводили прочь от смысла. Приведу всего один пример. Запись Цветаевой 1934 года:

«Всё прощала, кроме хулы на Духа Свята... Всё прощала — лично, ничего — надлично».

Запись довольно невнятная. Она расшифровывается только в контексте большого отрывка под названием: «*Почему люди (мужчины) меня не любили*»: «...П<отому> ч<то> не любила мужчин... П<отому> ч<то> я не мужчин любила, а души... Слишком мало требовала... Всегда прощала» и т. д., еще более беспощадные самопризнания. Конечно, Ариадне

Сергеевне не хотелось, чтобы всё это увидели посторонние глаза...

Дарила же мне Ариадна Сергеевна, как правило, фрагменты планов некоторых стихотворений, поэм, трагедий «Ариадна» и «Федра» — о чем я уже писала в очерке «Как мы работали над изданиями Марины Цветаевой». Это — прекрасная проза поэта, психологические наброски к характерам героев, сопоставления, рассуждения и т. д. Дарила на будущее, на далекое будущее. (Дары пригодились). И просила, чтобы я ни с кем не «делилась», — начиная с... В. Н. Орлова (!)

Ревность, *священная* после смерти...



Конечно, главной заботой и болью Ариадны Сергеевны был материнский архив. Разговор о нем начался чуть ли не с первого дня нашего знакомства. Ариадну Сергеевну осаждали письмами сотрудницы ЦГАЛИ, «архивные девушки», как она шутила. Доверилась она лишь Р. Н. Федуловой*. Роза немало помогла нам, она заказала фотокопии значительной части небольшого цветаевского фонда, находившегося в ЦГАЛИ. Вскоре она оттуда ушла.

О том, что мы будем заниматься архивом Марины Ивановны, Ариадна Сергеевна заговорила со мной очень рано, и, помню, предложила начать

* Сейчас — Роза Тужа; живет во Франции.



Шутливый рисунок А. С. Эфрон: «Неизвестный шедевр Шагала — Соавторы».

с переписки Цветаевой и Гронского. Я мечтала и ждала, однако все оказалось утопией. Сначала мы занимались изданиями и комментированием — при том Ариадна Сергеевна должна была зарабатывать себе пенсию и брала много переводов, изнуряя себя. Потом она с великим напряжением, под давлением «самоцензуры», писала «Страницы былого» — для журнала «Звезда». В изданиях Цветаевой образовалась затяжная пауза, и Ариадне Сергеевне казалось, что я больше не продолжаю наше общее дело, не пишу «в стол»; она жаловалась моей подруге и даже совсем постороннему человеку. А годы шли, и до архива все не доходили руки, — за исключением выписок при работе над «Страницами былого».

Я думаю, что у Ариадны Сергеевны были с материнским архивом своего рода драматические отношения, некое цветаевское *разминовение*. И корни его таились в самой личности Ариадны Эфрон. Создавалось впечатление, что она словно сама придумывала себе препятствия, откладывая на будущее главную задачу своей жизни, постоянно отвлекалась на писанье невероятного количества писем, подчас посторонним или почти посторонним людям; слишком много времени, на мой взгляд, посвящала быту, уборке, готовке, — так было не только в Тарусе, но и в Москве. Может быть, ей просто было тяжело ворошить трагедию семьи. И мемуары свои она «вымучивала», для облегчения задачи поместила ту-

да собственные детские записи. (Другое дело, что при ее литературном даре они и по сей день — вершина того, что написано о Цветаевой.)

Поразительно но всё, или почти всё, о чем я сейчас говорю, чувствовалось уже тогда, в начале нашей дружбы. Недавно в своих бумагах я нашла мое письмо к знакомой. Был 1962 год, мы с Ариадной Сергеевной еще не кончили подготовку тома «Библиотеки поэта», а тут еще «замаячил» сборник Цветаевой «Мой Пушкин»; Ариадне Сергеевне «наступал на пятки» перевод Скаррона. И вот я жалуясь:

«Всегда будет Скаррон, и никогда не будет времени... Что-то ужасное происходит: сколько времени зря, прямо кошмар! Я, может быть, ошибаюсь, но у меня такое впечатление, и уже давно, что Алино утомление, усталость, малая выносливость (головой) оттого проистекает, что она очень много сил тратит на общение с людьми — приветить, рассказать, написать гору писем (по несколько ежедневно) — а сил уже не остается на работу... Марина получается «пó-боку» (волей обстоятельств... Ох, я бы на месте А<риадны> С<ергеевны> всё и всех бы расшвыряла во имя матери...».

Но — справедливость прежде всего, и я пишу дальше:

«Впрочем, если б *что-нибудь* было иначе, то не было нашей единственной в мире Али, которая всем нам вместе и каждому в отдельности дает безмерно много, — больше, чем в силах человеческих».

Но важно и еще одно, быть может, самое главное. Разбирать архив, готовить его к сдаче — означало расставаться с ним. Отдать *другим**.

«Как можно, любя человека, отдавать его всем?»

Помню, как разгневалась Ариадна Сергеевна, передавая свой разговор с одной знакомой поэтессой. Та удивлялась, почему архив Цветаевой дочь не продает, а собирается подарить государству, которое погубило всю семью, отняло у нее всё? Представляю себе, как ответила Ариадна Сергеевна. Она умела расправиться с собеседником, как сама говорила — «мордой об стол»...



В конце лета 1974 года решение сдавать материнский архив созрело бесповоротно. Подгоняло ухудшающееся здоровье, одолевали разные «хвори», о чем Ариадна Сергеевна с тревогой говорила и писала. Она решила передавать архив в ЦГАЛИ по частям, тщательно обработав (расшифровав, прокомментировав) каждую сдаваемую тетрадь.

В октябре 1974 года Ариадна Сергеевна начала обрабатывать архив. Она разгадывала цветаевские черновики, многие из которых, по ее мнению, могла разобрать лишь она одна, попутно делала пояснения и диктовала помощнице — Елене Коркиной.

* «Легко ли отдавать всё это — живое! — «в казенный дом»? — писала она («А душа не тонет...»). С. 383).

Такая работа была и не по возрасту, и не по силам; Ариадна Сергеевна сжигала себя. Тогда, впрочем, об этом я не думала; мне в голову приходили недоуменные мысли: ЗАЧЕМ? Зачем нужно предварительно расшифровывать и комментировать цветаевские записи (за исключением разве тех моментов, о которых может знать лишь Ариадна Сергеевна)? Ведь когда через много лет придут новые исследователи Цветаевой, — неужели они удовлетворятся «готовеньким»; профессионалы должны будут вести работу самостоятельно; непрофессионал-дочь тут мало чем поможет... (Сейчас, впрочем, я не рассуждаю столь категорично.)

Архив разрушал ее здоровье, усугубляя ту *вековую усталость*, на которую она жаловалась уже несколько лет. И в декабре она пишет моей ереванской подруге Наталье Гончар о том, что болезни ее «осаждают», и она заторопилась с архивом; однако, чтобы сделать то, что ей кажется необходимым, надо прожить хотя бы еще с десятков лет. И признается, что на это рассчитывать не приходится, и она торопится и старается. И даже на лето — на свое последнее лето — взяла с собой для работы одну из очень сложных тетрадей Марины Ивановны.

Несмотря на усталость и жалобы, настроение у Ариадны Сергеевны было, по обыкновению, жизнеутверждающим и деятельным. Ибо, при всей изнурительности, порой — мучительности (психологической), ее работа была осенена жизненной сверхзадачей. Но жизни не хватило (а у кого хватило?)...

Я думаю, что когда будущие исследователи, погружившись в море неизданного цветаевского наследия, положат рядом с тетрадями Марины Ивановны их расшифровки и комментарии, которые успела сделать Ариадна Сергеевна, обе эти фигуры — матери и дочери — воскреснут в сознании с особой силой и пронзительностью.

1997

Паломничество на Енисей

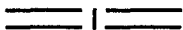
Шло лето 1965 года: десятая годовщина освобождения Ариадны Сергеевны и Ады Александровны из туруханской ссылки. Этот «юбилей» Ариадна Сергеевна решила отпраздновать: предпринять *паломничество* (ее слово) на Енисей. «Там осталась часть мое души», — говорила она.

Еще в мае я приезжала на несколько дней в Тарусу — мы дорабатывали примечания к многострадальному тому «Избранных произведений» Марины Цветаевой; он должен был выйти — и вышел — в конце года. Мы обе очень устали: Ариадна Сергеевна была просто замучена и выглядела скверно, а между тем была вынуждена взять (ради заработка и будущей пенсии) перевод с испанского огромной и нудной комедии Тирсо де Молина «Стыдливый во дворце». Это обстоятельство еще больше подогревало мечту о путешествии.

Путевки на экскурсионный теплоход «Александр Матросов» достали очень легко, так же легко купила я билеты на поезд до Красноярска, где знакомые Ады Александровны обещали нам снять на несколько дней номера в гостинице.

Нетерпеливее всех ждала путешествия Ариадна Сергеевна. «Очень уже хочется ехать в поезде!» — писала она.

Сегодня я попытаюсь воскресить эти три недели нашего путешествия, когда Ариадна Сергеевна — могу свидетельствовать — была счастлива.



Итак, 15 июля 1965 года мы втроем отправились на поезде в Красноярск. Всю дорогу Ариадна Сергеевна занималась двумя вещами: угощала нас неизвестно откуда вдруг взявшимися деликатесами (при том, что сама была абсолютно равнодушна к еде), да писала множество открыток, с восторгом делясь впечатлениями от мелькавших за окном пейзажей. «Дорогие Клавдия Алексеевна и Александр Христович! — обращается она к моим родителям. — Едем вторые сутки — очень хорошо... За окнами — виды несказанной красоты; проехали Ярославль, Ростов-Великий, Галич, полюбовались на древние кремли; теперь любимся полями, лугами, лесами, реками, чудесными деревянными деревушками...» «Приближаемся к Перми, — пишет она другим знакомым, — нет, кажется, большого города по этой



Рисунки А. Эфрон.

(и соседним) трассам, где я не сживала бы по этапным тюрьмам». И так далее — десяткам, думаю, разных адресатов...

Восемнадцатого утром мы прибыли в Красноярск. Моросил дождь, начавшийся, когда поезд въехал в зону тайги. На перроне нас встречали супруги Вера и Николай Поповы, милые и гостеприимные люди. Оба — родом из Харбина, в России около двенадцати лет; он — сын русского консула, она — дочь стрелочника. Их сыновьям было тогда восемь и шестнадцать лет. Устроив нам царский прием, они отвезли нас в отличную гостиницу, с отдельными номерами и телефонами.

И начались поистине праздничные дни: гости, прогулки, поездки. Ариадна Сергеевна с особой симпатией относилась к Коле Попову: «длинному, седому, худому, очень интеллигентному и деликатному», — как я расписала в письме к родителям. У него был маленький автомобильчик, прозванный Ариадной Сергеевной «Антилопа»; владелец его обожал и с удовольствием возил нас по городу и окрестностям, хотя был очень занят: «главный инженер-строитель Красноярска», — как почтительно записано у меня. В промежутках нас закармливали до отвала «сибирской кухней» — делом рук гостеприимной Веры, и Ариадна Сергеевна философствовала на тему о сибирских пельменях, сибирском здоровье и... начинающемся (тогда еще!) портиться здоровом сибирском климате. Так называемое

«Красноярское море» — рукотворный враг природы — уже начало делать свое черное дело, изменяя естественную континентальность климата. Сильные морозы в сочетании с сыростью приводили к непривычным заболеваниям; поговаривали даже о вспышках туберкулеза. То было лишь начало огромной экологической катастрофы края. Мы, можно сказать, еще застали «райские кущи»...

Двадцатого июля Коля свозил нас на место, где недавно начала строиться Красноярская ГЭС — в сорока километрах от города. «Туда ехали в «Ракете» по Енисею, — пишу я домой. — Красота берегов несказанная; всё в горах и лесах, напоминает Дунай в Югославии, только громаднее. Посреди всей этой красоты, на месте бывшего скита, у ручьёв Филаретова и Гермогенова, стоит Дивногорск — 30-тысячный город строителей ГЭС. Он очень напоминает польский горный курорт Закопаны, где я была. ГЭС — нечто очень грандиозное, трудноописуемое, с громадной котловиной на месте бывшего дна Енисея (Енисей «перекрыт»). Народу почти не видать, всё делают механизмы. Ариадна в восторге, а я в ужасе от всего этого. Главное в том, что, по-моему, этого ничего не нужно, и очень жаль роскошную природу. Обратное ехали на такси по горам и долинам — и это красивее, чем Кавказ и заграница».

Ариадна Сергеевна, действительно, по-детски восторгалась «механизмами», которые всё делают за человека; у нее было изумительное настроение,

и никаких комплексов по поводу гибели природы. Она равно радовалась и «великой стройке», и красавцу Дивногорску, где повезло жить строителям. Хотя, как я уже сказала, она понимала вредность и растущую опасность красноярского «моря», — да и не только этого. Я прекрасно помню, как она подчас зорче других видела пороки и преступления системы, раньше всех чувствовала абсурдность многих сторон тогдашней жизни. Как рассуждала о том, что у нас за деньги практически сделать ничего нельзя: ни приобрести то, что хочется, ни путешествовать (даже по своей стране, ибо в городах практически нет гостиниц), ни-ни-ни. Напомню: был всего лишь 1965 год, и с каждым месяцем эти уродства только разрастались. С ужасом говорила Ариадна Сергеевна об участии беспаспортных колхозников, сравнивала их существование с лагерным. Много о чем еще говорила она, открывая мне глаза на трагедию страны... И при всем том ей казалось, что жить, невзирая ни на что, становится лучше и веселей: строятся дома, люди въезжают в новые квартиры, и т. п. ... Впрочем, об огромных противоречиях в уме и душе этой незауряднейшей женщины, умнее которой я, пожалуй, не встречала в свой жизни, — когда-нибудь в другой раз.



Итак, наш праздник продолжался. Коля Попов свозил нас однажды в березовый лес. «...Хоть он

и березовый, а на наш — непохож, — потом всё это переходит в поляны, а с полян — вид на горы. И ужасно показалось странным, что встретившиеся нам люди обратились к нам по-русски...» — писала я домой. Такие же впечатления были и у Ариадны Сергеевны; только сибирская природа напоминала ей не Кавказ, который она почти не знала, а Швейцарию.



Четыре дня красноярских «гуляний» окончились, и 23 июля вечером мы переселились на теплоход.

На дорогу Ариадна Сергеевна сделала мне подарок: книжечку карикатур Ленгрена: «Профессор Флутек и его собачка» — печальный подарок-символ, — и написала: «Почти про нас с Шушкой». У одинокого профессора никого нет в мире, кроме пёсика, с которым он никогда не расстается: вместе ходят гулять, мокнут под дождем, ездят в поезде, встречают Новый год и т. д.

Как же она была одинока и навеки *ранена*: потеряй, — нет, *уничтожением* своей семьи! Такие раны не заживают никогда, и такие утраты никто заменить не может. Вспоминаю, как не один раз, после паузы в разговоре, Ариадна Сергеевна внезапно затягивала полушутливо, тоненьким голоском, с интонациями одновременно и лихости, и тоски:

— Кругом! Кругом осироте-е-е-ла...

А иногда, на мотив танго «Твоя песня чарует...», заводила, вполне серьезно, драматично:

На крутом берегу-у
У реки Енисей,
Я тебя берегу, я тебя берегу
Всей любовью своею...

Не уберегла. Никого не уберегла.



Утром 24 июля теплоход «Александр Матросов» с нами на борту двинулся по Енисею, взяв курс на остров Диксон. Мы понимали, что Диксон можем и не увидеть: льды с Карского моря имели порой обыкновение появиться слишком рано и заградить путь к «заветной цели». Но об этом, конечно, не думали, а просто себеплыли, радуясь жизни и восторженно удивляясь всему, что видели по дороге. Я фотографировала берега и, по глупости, гораздо реже — людей; аппаратик был дешевый, детский — «Смена»; сегодня эти многочисленные однообразные серо-белые снимки, конечно, выглядят совсем невыразительно. Но всё же несколько драгоценных фотографий Ариадны Сергеевны сделать удалось: еще в Красноярске, на пароходе, в Туруханске, на Диксоне...

Первая большая наша стоянка была в стариннейшей деревне Вóрогово; Ариадна Сергеевна обращала мое внимание на красоту, мощь и величие —

в соответствии с природой — сибирских изб: непривычную высоту фундаментов, великолепную ширину брёвен и фантастическую резьбу наличников.

А потом они с Адой Александровной начали волноваться: вот-вот должен был показаться Туруханск. Ариадна Сергеевна даже заготовила наперёд открытку своим близким, по-видимому, не зная, что расписание нарушится и остановка в Туруханске будет лишь на обратном пути:

«Дорогие Лиленька и Зинуша, приветствуем вас из достопамятного Туруханска! Весточка эта заготовлена впрок, т. к. стоянка там короткая, и о встрече с Туруханском напишу вам после того, как она состоится. На снимке — кусочек знаменитых Казачинских порогов (южнее Туруханска), где проезд и по сей день опасен и волнующ. Природа — баснословная, не хватает дня, чтобы глядеть по сторонам, и сердца — на переживания! Теплоход, на котором едем, точь-в-точь такой, на котором когда-то уезжали (из ссылки. — А.С.), и красота такая же — уже писала об этом. Река мощи и красоты несказанной и поразительной; суровой, неосвоенной красоты — берега. Какая же это всё — сила!..» (26 июля).

Я не упомянула, что с первого дня нашего плаванья Ариадна Сергеевна начала вести записи*, а также

* Опубликовано в журнале «Новый мир», 1995, № 9 (с небольшими сокращениями) и в книге: Эфрон А. Мироедиха. Федерольф А. Рядом с Алей. Москва: «Возвращение», 1995.

сделала несколько зарисовок. А в тот день, что написала открытку, — в ее тетради пустота: так поглотило ее волнение «ожидания Туруханска, десятигодового напряжения ожидания». Я тогда об ее записях не знала, а сама записывала очень мало. Но вот именно тот день, 26 июля, отметила:

«26 июля. С утра пасмурно, хотя на заре была дивная погода, сияло солнце, а потом (по рассказу А<риадны>, которая, конечно, не спала с зари) Енисей повернул, оставив за поворотом хорошую погоду, и вторгся в низкую дождливую осеннюю область, столь знакомую нам по нашему, так и не осуществившемуся, лету. Однако с той разницей, что — более по-осеннему выглядит пейзаж, более по-суровому. — С утра же, проснувшись на мгновение еще при сиянии солнца и выглянув за занавеску, увидела, как необъятно широк стал Енисей. Жаль, что не задержалась взглядом хоть на минуту... Утром, в половине девятого, А<риадна>, по обыкновению, пришла ко мне «будить». День почти на две трети прошел, увы, в... сне.

Левый берег Енисея (тот, что с моей стороны) полóг, низок, порос ивняком, издали ничем не отличается от наших, среднерусских, берегов; непривычно только громадное водное расстояние, лежащее между пароходом и землей; до уныния однообразен, — а может, из-за погоды?

За час до обеда А<риадна> пришла звать меня в свою каюту, посмотреть правый «родной» берег, —

а потом, после двухчасового сна, смотрели на правый берег, под комментарии А<риадны>.

Берег высок; уровень подъема велик; песчано-сизые полосы бывшего прилива реки издали кажутся хорошим, «добрым» пляжем. На крутом берегу — тайга, только деревья менее высокие, чем вчера, на всхолмиях. Лишь густота отличает тайгу от «наших» лесов; без этого они были бы (издалека, конечно) неотличимы от среднерусских. И что удивительно: бесконечная повторяемость пейзажа: горизонтом идет лес, затем — сравнительно безлесый склон — к ручью или «прото́ке» (часто — безымянной), впадающей в Енисей. На таком склоне обычно и располагаются «станки»; но далеко не на каждом. (Это всё — начавшийся утром Туруханский край, по объёму равный нескольким странам Европы, вместе взятым.) Раньше, говорит А<риадна>, их было больше: ведь сообщение между ними было только на лошадях, значит, не более (примерно) 35 вёрст. Так везли купецкие товары; даже диковинные фрукты добирались до этих медвежьих углов; их упрятывали в навоз и провозили баснословные расстояния. В каждом станке были лавки, где можно было достать — решительно всё. Зато и оторваны же были эти станки от мира! Единственная их с ним связь — эти самые, приезжавшие раз в месяц? реже? лошади с товарами. А случись что, заболей кто — пропасть можно было сто раз, прежде чем достать до ближайшего, 35-вёрстного, соседа — и то, если

там был фельдшер. Теперь, конечно, всё иначе, начиная с видимых уже с парохода электрических столбов — «движок» есть почти в каждом селении. И фельдшер. И, надо думать, телеграфная связь через радиосвязь, — а последняя — на судах и судёнышках! Раньше ведь и пароходство исчислялось единичными судами, а теперь — это главное средство общения».

Всё это, повторяю, записано было со слов Ариадны Сергеевны; не мне судить, насколько она была права... Но продолжаю:

«Итак, станки. Они однообразны: по месту расположения, по полной оголённости, вырубленности своей территории, по одинаковости домов, по «веткам» (долблёнкам), стоящим у реки... А (риадна) рассказывала о купцах (не помнит их украинскую фамилию), которые, сосланные на почти пустое место сто лет назад, за короткое время построили станок и стали пушными хозяевами края. — Мироедиху, а затем Туруханск, мы скоро должны проехать; сейчас 9 ч. 50 м. вечера».

О станке Мироедиха — речь особая. Ариадна Сергеевна рассказывала, как осенью 1951 года ее отправили туда на уборочную. Она провела там целый месяц, и позднее написала очерк «Мироедиха»*, где с блеском вывела обитателей этого мрачного сибирского угла, закрытого с трех сторон тайгой

* См. упомянутую выше книгу.

и открытого только Енисею. С Енисеем был связан у нее огромный страх: ехала она в Мироедиху на утлой лодчонке, грозившей перевернуться, вдоль высоченного скалистого берега; плавать не умела...

Мироедиху мы увидели уже на обратном пути; плыли довольно далеко от берега, и среди общих очертаний станка так и не удалось разглядеть старый большой купеческий дом, поставленный основателем Мироедихи Гавриленковым.



Мы плыли дальше. Игарка, Дудинка. Из Дудинки — по железной дороге, построенной на костях заключенных («а по бокам-то — всё косточки русские!..») — до Норильска. Сегодня мне бросается в глаза «бесконфликтность» записей Ариадны Сергеевны, а также своей собственной, которую я на сей раз не поленилась сделать:

«28. *Норильск.* (Приезд в Дудинку. Ветер. Через спящую улицу в 7 ч. утра — на вокзал. На перегоне — 4-вагонный поезд. Дорога — 3-часовая). Тундра: пересечённая местность: «горные реки», «холмы», «леса» в миниатюре. «Леса»: редкие лиственницы, в человеческий рост, но с короткими ветвями, и поэтому не дающие тени. Травы как таковой нет. Есть: осока (по крайней мере, так кажется), иван-чай и белые пушистые цветы, как в Игарке. Много кустов; на обратном пути сошла с поезда и увидела, что это — карликовые березы и ивняк. Вдали синеют го-

ры, на многих — снег. Забудь про размер — и будет Швейцария. Или наш Кавказ. Озёра (тоже в миниатюре). Чистые, прозрачные. Глубина?? Есть ли в них рыба?? Они — снежные. Ржавые пятна. Ступишь — нога уходит в трясину. Всюду — снегозадержатели. Станции редки; кругом — пустыня. Однако, благодаря солнцу и открытости пейзажа, кажется, что человек с его жильем где-то неподалеку, что он просто «не виден» — случайно...

Станция Норильск; наготове 10 автобусов; сажают, везут — через великолепный каменный город — современные дома — этажей не больше шести; прямые, ровные улицы, газоны. Общее впечатление — европейского города, точнее — его нового района. Что-то от новых районов Праги и Варшавы. Фантастика, ибо знаешь, что въехал из пустыни и кругом — она же. От этого город кажется еще наряднее и современнее. Везут в театр — в большом зрительном зале — президиум. Носатый человек с университетским значком; вступительное слово приветия, затем — полная невысокая женщина: о норильском промышленном комбинате. Спокойная, уверенная, быстрая разговорная, без бумажки, речь.

Дом культуры — плавательный бассейн — гид — Тамара Белова...»

Вот и вся запись, плюс еще восторги в письме к родным: «Роскошный европейский город, стоящий в тундре, посреди пустыни — морозы там доходят до 56°... И живут там любезнейшие, интеллигентные

люди, герои какие-то, которые приняли нас великолепно...»

Дома, построенные на вечной мерзлоте, стоят на сваях; деревьев, опять же из-за вечной мерзлоты, там быть не может; длинная полярная ночь; нехватка света и витаминов, — всё это «разжевывала» мне потрясенная Ариадна Сергеевна, словно впервые, как бы со стороны, осознавшая то, что представляло ее взору, словно не жила шесть лет в обстановке, достаточно близкой всему этому...

Но всё же гораздо больше поразила меня карликовая растительность тундры; мы с Ариадной Сергеевной сорвали несколько веточек берез, и они еще много лет хранились у меня...



После Норильска на моих спутниц свалилось несчастье. На пароход пришла телеграмма: в их тарусском домике скоропостижно скончался человек, которого они попросили (и поселили) сторожить дом. Телеграмму дал Гарик Бондаренко, сын знакомых — скульптора и художницы; Ариадна Сергеевна частенько забегала на их дачу, находившуюся неподалеку, но вовсе не рядом. Гарик потом рассказал, что в тот несчастный день (он был на даче один) он услышал настойчивое мяуканье и увидел кошку Ариадны Сергеевны; она не переставала мяукать и давала понять всей своей фигуркой, что надо идти за ней. И привела в дом...

Ужасно, но вернуться ведь было невозможно. Дали телеграмму знакомой с просьбой пожить дней десять на тарусской даче...



Зато погода нас побаловала, и солнечным днем 30 июля мы доплыли до Диксона. Не терпелось, чтобы поскорее окончился рассказ слишком старательного экскурсовода, чтобы своими ногами, самим побродить по этому «краю земли» — маленькому острову, пусть и недалеко (полтора километра всего) от материка, но все равно — одна из крайних точек земли.

Остановка, к сожалению, была сокращена втрое, и на вольное хождение, вернее, пробег, оставались считанные минуты. Тешлоход уже давал гудки, призывая к отплытию; мы же с Ариадной Сергеевной (Ада Александровна не участвовала в нашей «авантюре») устремились к самому-самому морю, чтобы сфотографироваться на гряде камней, то есть уже на самом-самом краю острова. И там, наедине с солнцем, ветром и каменистой твердью под ногами, когда все время спотыкаешься о камни, поросшие мхом, дрожа от волнения и холода: пятнадцать градусов и пронзительный ветер, — ощутила я чудо. Вероятно, так чувствуют себя альпинист или полярник, добравшиеся до заветной точки. Не помню, кто «щелкнул» нас с Ариадной Сергеевной моим аппаратом, — кто-то из туристов, конечно... На Диксоне

я вообще только и запомнила эту гряду камней, наш бег туда и обратно, невероятные минуты сосредоточения, осознания того, *где* нахожусь... И смешным контрастом ко всему выглядела забытая кем-то из туристов неподалеку коробка «зефира»... Потом мы помчались обратно; ветер был ледяным, проникавшим сквозь теплый розовый свитер, связанный мне Ариадной Сергеевной, и такую же теплую ее кофту. Но вот уже — деревянные мостки, сам поселок Диксон, который я просто не восприняла, не успела воспринять, да и все они, по-моему, были на одно унылое северное «лицо». Но те мгновения — на камнях — не забыть никогда.



Мы плыли обратно, теперь уже к Туруханску. 31 июля я писала родным: «По берегам Евисея — «станки», дикие, грязные, иногда стоят просто чумы и видны пасущиеся олени. Собак ездовых в посёлках — видимо-невидимо... Сейчас стоит полярный день; вчера, в начале первого ночи, мне в окно каюты било солнце, и я снималась». (Фотографировала, конечно, Ариадна Сергеевна.)

Миновали Усть-Порт — грязный, неприветливый поселок; затем вдалеке показалась Курейка, куда в свое время был сослан Сталин. Мы уже успели купить фотографию стеклянного sklepa-павильона, которым в годы культа была обнесена избушка, где жил «Оська Талин», — как звали его местные.

Из-за тумана и дождя почти ничего не было видно — да и вряд ли склеп к тому времени уцелел...

Тридцать первого июля, на так называемой «зеленой остановке», я прикоснулась к тайге...

Когда Ариадна Сергеевна рассказывала о своей жизни в Туруханске, она с волнением всегда вспоминала походы в тайгу за ягодами — они с Адой Александровной делали зимние «заготовки», — что их спасало. Ступишь всего несколько шагов, говорила она, — и тут же теряешь направление, рискуешь заблудиться: так густа тайга. В этом я убедилась, когда, сойдя с парохода и пройдя широченный песчаный пляж, издали казавшийся небольшим, обычным, и сделав несколько шагов в глубь леса, — ошутила под ногами нечто непроходимое. Ступить было почти невозможно, без риска упасть, вывихнуть ногу. Ибо внизу была не земля, а поросшие мхом — уже не пни или стволы, а тысячелетние остовы деревьев. А рядом — великолепные кусты черной смородины с пахучими листьями... И замирал дух от грандиозности места, куда на несколько мгновений забросила судьба.

Ариадна Сергеевна не сходила в тот день с парохода, а когда я вернулась, стала рассуждать о том, сколь неразумно поступает страна, не используя свои фантастические богатства, не осваивает, в сущности, Сибири. Сколько, говорила она, можно было бы построить на берегах Енисея (не только Енисея!) здравниц и гостиниц (пусть всего на два летних месяца); приезжало бы множество туристов, наших

и иностранных, выручались бы огромные деньги. А главных врагов — комаров и мошку — одолели бы с помощью химии, без труда. (Прозревая многое, Ариадна Сергеевна демонстрировала порой поистине младенческую наивность.)



Настал, наконец, так нетерпеливо ожидаемый день. Я записала:

«Туруханск. 2 августа. 8 ч. 15 м. — 10 ч. 15 м.

Сияющее солнечное утро осветило крутой берег, широкий каменистый пляж с множеством светло-желтых штабелей леса. Направо — белый корпус монастыря*, налево, на пригорке — над домиком — несколько елей; издалека их, кажется, три, на самом деле — пять; под ними — домик (стоял раньше)».

И всё, к сожалению.

Домик, где коротали ссылку две незащитные, невинно осужденные немолодые женщины, домик, в котором написаны были, наверное, сотни писем Ариадны Эфрон и сделано множество ее «сибирских» рисунков, — домик этот больше не существовал. А позже были сделаны дощатые ступени с перилами при подъеме к этому месту; на них я и сняла Ариадну Сергеевну, — и эти минуты были для меня самыми главными, самыми волнующими. Что уже говорить об Ариадне Сергеевне и Аде Александровне, —

* Прежнее название Туруханска — село Монастырское.

2 августа; с 1^{го} на 2^ю августа пошел сильный дождь, и стали просить не могли уснуть; - утром дождь для поезда был Туркмен, а до него, ночь, в 14.30 по местному времени - Курейка. Последний, надеясь, в поезде шло устроить ^{постройку} отсюда вперед и там "отправился в поход против "ведомств" и "демократии"; В этот вечер и утром нас, оставивших в этих и других местах ситы и не стая отдаленных горы и горы поезда; другие же - и сами поезда. Попытались устроить и не могли; ушли, разделись, а если, и отбить виллы и от деловых заведений; за окнами - ни дня, ни ночь; все видно и все не ясно. По воде и в воздухе, и в поезде. В 12.20 на широком берегу, среди сиреневых обитанных деревьев появились стая птиц от них неопытные отрядами вылетевших в сиреневую деревушку; правый крайний стая - надры- вылой для этих стаях кубической формы и гораз- до выше остальных. Крыша кажется плоской; при таянии одеждении и на таянии разлетевших не видно, почему, ни окон, ни дверей; в середине стаями летают как бы попутными шумя- ный свет. Что это? Тело человека сжатый надвинулся, во время "двух" воздвижения над стаями и уходом, ни чего. Это была постройка, не возведенная еще под крышу?

ради этих двух часов, отведенных скудным расписанием, и было предпринято это паломничество...

На подробных взволнованных записях Ариадны Сергеевны о Туруханске, о неожиданных встречах «десять лет спустя» заканчивается ее путевой дневник, упомянутый мною выше. А ведь оставалось еще пять-шесть дней плавания, с долгой остановкой в Заливе, с дивным купаньем в тёплом (!) Енисее, у самого носа нашего парохода, — сохранилась и такая фотография. Однако главное было уже позади, и последние дни почти не остались в памяти, так же, как и обратный путь на поезде до Москвы. (Восьмого августа мы приплыли в Красноярск, девятого выехали в Москву, двенадцатого были дома.)

Потом Ариадна Сергеевна уехала в Тарусу — мучиться над переводом «Стыдливого во дворце», каждый день заставляя себя делать определенное число строк. Из-за «коровьего» карантина* ей пришлось сильно задержаться, вплоть до глубокой осени. И вот 21 ноября, выполнив очередную «норму» перевода, она садится за письмо к своей старой знакомой по Бутырмам, Е. Н. Москаленко, в котором воскрешает нашу волшебную поездку по Енисею:

«Как ни суровы те края и земли, как ни трудна и искажена была та жизнь, а всё же — незабвенны и любимы они... Мы были предоставлены «воле»

* См. «Тарусский закат».

стандартного маршрута, и поэтому многое из того, на чем хотелось бы сосредоточиться, буквально проплывало мимо носа. Но необъятного не объемлешь — особенно на территории Красноярского края; спасибо и за то, что Енисей доставил нас от Красноярска до Диксона и обратно, по удивительно хорошей погоде, вдоль баснословных своих берегов. Высаживались мы в разных местах — и в старинных сибирских селах, основанных еще Ермаком; и в древнем и удивительно неприятном на беглый взгляд Енисейске (пылица несказанная, провинция феноменальная!); и просто на зеленых берегах, где (в Заполярье!) купались и резвились, намазавшись всеми возможными антикомариными средствами); и в Игарке, не оправившейся и не отстроившейся еще после бывшего там 2 — 3 года тому назад огромного пожара. Полюбовались на стоявшие в порту чудесные наши современные лесовозы, обслуживающие заграничных заказчиков; стояли белые, незакатные ночи; я так им радовалась, так их люблю! Чем дальше на Север, тем шире Енисей, тем пустынное небо, тем уже и обкатаннее берега, лишённые растительности; и тем глубже и шире некая *радостная тоска*, переполняющая тебя. Сказочный город Норильск — как бы возникший на другой планете; окруженный рудоносными горами, в тундре, цветущей желтыми маками и голубыми мхами, с чашеобразными синими озерцами — пустынной, пустынной тундре. Мысленно все время — мысленно

и молитвенно — обращалась к тем, кто проложил самую северную в мире железную дорогу — от Дудинки до Норильска; за тех, кто возвел странный, феерический, комфортабельный, архисовременный город; за тех, кто разработал богатейшие в мире прииски медной и алюминиевой руды; за тех, кто ушел в эту вечномерзлую, неспросыпающуюся землю...

Проезжали мы и мимо Курейки — «станка», где находился в ссылке бывший вождь и организатор наших побед, и не только побед. Избушка, в которой он жил, была в период «культы» обстроена огромным стекляннно-мраморным павильоном; павильон этот не сохранился; туристические пароходы не останавливаются больше у этой деревушки, безмолвствуют гиды и не салютуют гудки.

В нашем «родном» Туруханске остановка была всего два часа; мы кое-как успели обегать всё рысью и галопом; но и этой поверхностной прогулки оказалось более, чем достаточно, чтобы убедиться в том, что «жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи» — без помощи бывшего обитателя курейской избы...»



Ариадна Сергеевна не раз повторяла, что если бы ее жизнь сложилась «нормально», без трагических катаклизмов, то она, так и не познав *истинного, главного*, сделалась бы, в условиях советской

реальности, пустой «литературной» (или «окололитературной») дамой, втянутой в литературные и окололитературные сплетни. (Возражать ей было бесполезно.)

Словно подтверждая это свое неколебимое убеждение и вспоминая паломничество на Енисей, десять лет спустя после него, на самом излёте своей жизни, в марте 1975 года она писала всё той же «бутырской» знакомой:

«Конечно, наш Север манит нас и манить будет — нас, зла не помнящих, а только добро, великое добро и великую красоту природы — да и некоторых людей, встреченных нами в ту пору. Теперь, по прошествии времени, видишь, какой *элитой* человеческой мы были окружены в нашей эвакуации. Не говоря уж о том, что в лихую годину людям (не всем, конечно!) свойственно становиться *элитой*; сами обстоятельства требуют от человека выбора между высотой и низостью, а третьего не дано. «Третье» наступает потом!

1996

Тарусский закат

Городок Тарусу на Оке Ариадна Сергеевна любила чрезвычайно. Поначалу, покуда не переселилась в Москву, в кооперативную писательскую квартиру на Аэропортовской, она жила в Тарусе круглый год;

ей, «закаленной» в сорокаградусных туруханских морозах, не привыкать было к тарусским холодам. Впрочем, сибирские зимы (и не только они, разумеется!) уже подорвали ее здоровье; помню, как ей трудно дышалось — было минус тридцать, когда мы встречали новый, 1963 год (а ведь ей было тогда всего пятьдесят!). Нет, зиму она тоже любила, но теперь уже с меньшим пылом; предпочитала тепло, хотя жару не переносила. Все времена года были милы ее сердцу, особенно же — весна и лето — пробуждение и расцвет природы. Оттого и в письмах ее речь идет о том, как распускается сад, зеленеют деревья, — краски у нее, художницы, были на первом месте, — поспевают грибы и ягоды. И эту свою Тарусу она стремилась явить, «подарить» мне, — показать не просто прелестный уголок России, но в первую очередь, как она выразилась в одном письме — «колыбель маминого творчества». С той поры — а попала я в Тарусу летом 1961 года — этот дивный городок на Оке врезался в мое сознание, как *место души* Марины Цветаевой, говоря словами самой же Марины Ивановны, — только этим одним, не в обиду будь сказано другим «именитым» обитателям сего райского места.

Звать меня в Тарусу Ариадна Сергеевна начала весной 1961 года; мы только что кончили сверять верстку первой посмертной цветаевской книжки. Ариадна Сергеевна торопила меня с приездом — «погулять, посмотреть мамины места»; «Таруса

очень хороша до дачников». Прислала перепечатанный очерк Цветаевой «Хлыстовки» (который, в то время из-за цензурного запрета названия, переименовала в «Кирилловны») с надписью: «Анечке — чтобы лучше понять будущую Тарусу». «Будем вместе соображать, где было «ихнее гнездо хлыстовское», — писала она. И, в том же мае 1961-го: «Относительно Вашего приезда: разбивайтесь в лепешку, но не откладывайте — вдруг что-то помешает Вам или мне! Надо непременно застать хоть хвостик ранней весны, соловьев, цветение сирени, разнообразие оттенков молодой листвы, пока она не смешалась еще в одну сплошную, общую и ничью, зелень. И меня надо Вам застать, пока я еще несомненно жива <...>

Увы, после маминой смерти, и более близкой по времени и пространству (когда мама умерла, я ведь сама была «по ту сторону») — смерти Б. Л.* я твердо убедилась в том, что и сама непременно умру. Раньше, даже на самом краешке жизни я не задумывалась о том, что и мои дни сочтены. А теперь знаю, что прожито уже много-много, осталось мало-мало, и надо торопиться. Торопиться же что-то не хочется.

Сейчас дивно цветут вишни, сливы, черемуха. Я уже несколько раз наведала домик маминого детства — и очень хорошо, т. к. «отдыхающие» еще

* Пастернака.

не наехали (домик на территории дома отдыха) и было пустынно и тихо. Вокруг дома растут четыре высоченных ели, когда-то посаженные дедом в честь четверых его детей.

Побывала и на могиле Борисова-Мусатова (он умер в этом же цветаевском доме и похоронен неподалеку). Там чудная скульптура — и какой вид на Оку!»

(Этот дом цветаевский я — тем же или следующим летом — сфотографировала. Потом его уничтожили. Остатки фундамента пошли под танцплощадку. С той поры Ариадна Сергеевна больше никогда туда, в «Песочное», не ходила. И однажды прислала мне очень дурной по качеству «казенный» снимок цветаевского домика — с советскими фонарями, сделанный какими-то горе-«умельцами»...)

А теперь мне хочется просто привести отрывки из писем разных лет; сказать, что Ариадна Сергеевна была великая мастерица писать их — значит не сказать ничего. Пусть оживут они без всяких комментариев; в них — душа этой удивительной женщины. Душа, обретшая свой дом в Тарусе.

⟨...⟩ «После Вашего отъезда началась африканская жара, томительная даже здесь (представляю себе, каково в Москве!) и в дальние прогулки уже не ходим, а только на пляже ⟨...⟩ Грозы и дожди, щедро обещаемые «Последними известиями», минуют нас, а вчера, когда над Москвой пронеслась пыльная буря, у нас апокалиптически вскричали все

петухи сразу и из сливовой тучи упало несколько крупных, но редких капель. Так что я несказанно благодарна матери города, председателю горсовета, распорядившейся поставить водопроводную колонку прямо против нашей калитки <...>» (14 июня 1961). <...> «Цветут луга — но плохо, бедно — слишком сухо, жарко было, повьжгло. Зато в тенистых местах, на лесных полянках ромашки хороши. Гуляем мы мало, но одну хорошую прогулку сделали — на пароходике в сторону Алексина; побывали в двух бывших имениях — разорение, запустение, дивные липовые аллеи — под самые небеса деревья! — и та же картина — превратившиеся в шиповник розы, и превратившиеся в болота пруды, — странно, грустно, вспоминается Бунин. А главное — главное — что никакой «младой жизни» не наблюдается на старых развалинах и как-то все впустую» <...> (19 июня 1961).

Как можно после таких писем не стремиться попасть в Тарусу возможно скорее? Я, под каким-нибудь предлогом, отпрашивалась в библиотеку, дня на два: считывать текст (работала я в редакции русской классической литературы), проверять цитаты и т. п. Лучше всего было записаться в четверг: на пятницу и понедельник. Уезжать удобно с Каланчевки — минут десять ходу от «Худлита», откуда я всегда стремилась вырваться, как из тюрьмы. Сумка со всем необходимым — внизу, у гардеробщицы.

Остается немного: покинуть издательство *вовремя*, чтобы успеть на серпуховской поезд — между четырьмя и пятью часами (день-то рабочий оканчивается в шесть!).

Итак: на моем столе «лирический беспорядок» в виде рукописей, книг, карандашей, ручек, небрежно брошенных каких-то листков. Бывает, что заведующая торчит без дела в нашей большой комнате, поддерживает какой-то пустой разговор и стоит на дороге, а то и просто у моего стола, находящегося у окна. Выхода нет, вернее, есть: первый и последний. Встаю и небрежным шагом, держа в руке карандаш (направляясь якобы в библиотеку), выхожу из комнаты... навсегда. Приятельница потом, перед окончанием работы, «приберёт» мой стол. А если забудет? Вообразить картину, которая откроется начальническому взору в понедельник... Но в понедельник-то, надеюсь, кто-нибудь приведет мой хаос в порядок...

Впрочем, я вовсе не думаю об этом.

Я вырвалась на свободу!

Впереди четыре дня Тарусы.

В тот первый мой приезд Ариадна Сергеевна показала мне Тарусу во всей красе. Утверждаю: именно она научила меня *видеть* (именно — видеть!) природу (любила-то природу я с детства). Научила пристально вглядываться в каждую травинку,

в каждый цветок, во все разнообразие красок. Цветы она, художник, любила особой, я бы сказала, страстной любовью — полевые дикie природные цветы. Мы переправлялись на пароме на противоположный берег Оки и жадно, не в силах остановиться, набирали не букеты — охапки ландышей, незабудок, фиалок («любок»). Сегодня об этом странно вспоминать — все эти цветы попали в «Красную книгу», — а тогда их было вдоволь, и наша жадность (от любви) не наносила вреда этому дивному краю. Щадили мы лишь анемоны: белый робкий цветок, росший не так обильно и как-то стыдливо возникавший среди моря незабудок...

Мне повезло в течение одного лета шестьдесят первого застать знаменитую приокскую пойму, где сохранились растения чуть ли не третичного периода. Говорю: «застать», так как на следующий год она была погублена хрущевскими «преобразованиями», то есть распахана под кукурузу.

Еще мы с Ариадной Сергеевной были страшно жадны до земляники и грибов. Опять-таки в первые годы моих наездов в Тарусу того и другого было великое множество, и сравнительно недалеко. Ариадна Сергеевна особенно умела собирать грибы, она чувала их, еще до того, как находила; свойство всех истинных грибников. И даже меня этим «заразила»: подумаешь о том, что вот сейчас покажется белый — тут-то он и возникает... Но это, повторяю, было лишь в первые годы. Очень скоро, сначала

медленно, потом все быстрее и непоправимее, Таруса стала наполняться людьми, а грибницы — вытаптываться. Ариадна Сергеевна с горечью говорила, что это пришло после какой-то статьи в «Вечерке» Паустовского: в тарусские края хлынул народ...

С грибами было так. В мае на опушках, и даже совсем почти в городе, начинали появляться лисички; частенько — и первые, раннелетние белые: «колошовики». А в конце июля — августе разгоралось уже истинное пиршество грибов... Когда, с годами, их стало меньше, мы с Ариадной Сергеевной несколько раз «пробавлялись» шампиньонами. Они росли на открытых местах, там, где проходили стада, часто совсем близко от совхозных (колхозных?) строений и были видны издали: блестящие на солнце белые «дорожки» на унавоженной почве. Эта «охота», конечно, была менее интересна по сравнению с лесной.



Смею утверждать, что в Тарусе Ариадна Сергеевна была счастлива. Несмотря ни на что. Этому я свидетель. Таруса для Ариадны Эфрон была той самой землей Антея...



Наступила новая весна — 1962 года — и опять Ариадна Сергеевна зовет в Тарусу: «... такой разлив и березы на том берегу (туда, через луга, где мы землянику собирали) — стоят в воде, а в садике уже



Это наша линия!

Шутливый коллаж А. С. Эфрон с моим «портретом».

проклевываются тюльпаны и нарциссы, и скворцы поют, и сороки верещат...» (апрель 1962). В мае: «Нынче у нас весна небывалая, очень медленно все разворачивается, почти как на севере, и в этом прелесть несказанная. Пасмурновато, серовато, сыровато, и все весенние превращения свершаются неторопливо, важно, торжественно.

В воскресенье шла на базар, в сплошном тумане, в сплошной неразберихе Господних дней творения: с одной стороны Он еще не разделил свет от тьмы и суши от неба, а с другой — в неразберихе этой уже пели соловьи и тарахтела — такая же незримая, как соловьиная песнь — моторка. А уже идя обратно, в седьмом часу, видела, как поднимался туман, как твердь отделялась от земли и воды. — Нынче и яблоки, и сирень обещают цвести в полную силу.» В конце мая: «Очень жду Вас, ждем с Тарусой вместе, которая так хороша, что слов нет. Главное, что поспеете к сирени, и будете засыпать под этот запах и под соловьиное пенье. И просыпаться! Правда, не только соловьи, вступают в хор иной раз и соседские младенцы, и гуси, и поросенок подхрюкивает, но ей-Богу, весь ансамбль не так уж плох! А воздух какой чудесный! Приедете в самые ландыши...»



Я намеренно, конечно, выбирала письма с тарусскими «пейзажами» — из всей массы (около трехсот пятидесяти), так как в мою задачу не входит рас-

сказывать о «делах». Но без исключений всё же обойтись нельзя: речь о цветаевском вечере, который состоится 26 декабря:

«8 сентября 1962 г.

Милая Аня, думаю — не просто «хорошо бы», а *нужно* чтобы состоялся вечер памяти МЦ в Доме литераторов. Мамино семидесятилетие — 9 октября (26 сент. ст. ст.), но, думается, любой октябрьский день (дата) подошел бы — имею в виду более позднюю дату, т. к. для подготовки к именно девятому числу остается очень мало времени. В первую очередь надо бы просить Илью Григорьевича выступить — он маму знал, любит и понимает — знает и понимает и ее читателей; в частности, у него есть *ранние* воспоминания о ней, очень интересные и писанные «с натуры» — (наряду с еще несколькими портретами тогда молодых писателей и поэтов — он мне читал, это было давно опубликовано и сейчас почти неизвестно). Потом необходимо *сейчас же* связаться с Дм. Журавлевым и просить его выступить с чтением ее произведений; он маму знал, любит, и, конечно, не откажется, но ему надо немало времени, чтобы подготовить текст даже для чтения с листа; лирику можно бы на его усмотрение из вышедшей книжечки Гослитовской, и очень хорошо бы отрывок из какой-нб. прозы — м.б., Пушкинской (т. е., естественно, о Пушкине! М.б., из «Моего Пушкина»? тут надо еще подумать). Его телефон — Г1-04-16. Еще очень хотелось бы попросить об участии Генриха

Густавовича Нейгауза (Г.Г. знал маму) — пусть был бы *его* Шопен, в к-ом один из корней маминого творчества. Тогда, м. б., попросить Журавлева прочесть «Мать и Музыка», дав ему право аранжировать текст, чтобы он был выигрышен для чтения и уместился бы во времени.

Думаю, — в случае если все это состоится, И. Г. не откажется поговорить по тел. с Журавлевым и Нейгаузом, и я напишу им, как только узнаю, что всё это реально; Вас же особо прошу, в свою очередь, созвониться с Жур. предварительно (он милейший человек, ученик Ел. Як. Эфрон и большой друг нашей семьи) и *дать ему прозу* <...>



И вновь — природа, погода:

«Таруса замерзает на корню и я вместе с ней, ночами — 30 — 32°, зато красиво, как на Крайнем Севере» (23 марта 1963 г.) «Уже цветут красные тюльпаны! Зато сирень, объединенная птицами, погибает... Дополна соловьев, цветет черемуха, вишни; терраса и верхняя комнатка функционируют, так что везде свободно и просторно» (19 мая 1963 г.).

«<...> Зацветает черемуха, и оглушительно поют соловьи — больше пока похвастать нечем, так как ландыши, сирень, яблоки, вишня замерзли от внезапного похолодания. Черемуха же ничего не боится; Бог даст и погоду — пойдем на луга, наломаем. И очень хочется, чтобы Вы еще приехали к ланды-

шам и к сирени — они, возможно, в этом году совпадут; и к землянике; и к грибам; и просто «к нам».

Это — из майского письма 1964 года; а вот — от 7 сентября:

«〈...〉 На днях приезжала Евг. Мих. Цветаева, жена мамино (в основном Валериинного) брата Андрея; приехала к Валерии, но не очень вовремя, так как В. И. с супругом собиралась в Москву — лечить ноги, к-ые, на 84-м году, отказываются служить. Таким образом львиная доля Евг. Мих-го визита пришлась на нашу долю, мы ее поили чаем «от пуза» и водили гулять и собирали грибы (в ее пользу). Огриблённая Е. М. отбыла вчера (в воскр.) — на автобус провожала ее глухая Степанида — несла пресловутые грибы (в пластиковом мешочке — варенье) и кошелку с опадышами, Валериин дар. А сегодня отбыли «сами» — тетя Лёра в шляпе с бантом и на героических, учитывая больные ноги, каблучках, и Сергей Иасонович, клонящийся под грузом своих 87 лет и нескольких латинских словарей; багажник был набит вареньем в самых причудливых сосудах, включая те, необходимые в хозяйстве, к-ые мы с Вами чуть было не приобрели в посудном магазине под грибы; у калитки стояла Степанида и, как положено, прикладывала уголок фартука к подслеповатым, но ястребиным, очам. Как только машина «скрылась за поворотом», Степанида возвела очи горé, к необобраным тёткиным яблокам и сливам, и с прытью необычайной взялась их обирать

и трясти, в пользу своего немногочисленного, но ненасытного семейства <...>».

«<...> Утра, вечера, ночи холодные, а днем выпадает часа 3—4 такой ясности, прозрачности, типичны и тепла, что «себе бы так» внутри себя и чтобы тоже было красиво. Деревья кажутся не желтеющими, а опадающими, цветущими и торжествующими. И оттого, что это ненадолго, что каждый такой день, м.б., последний — цветение это и великолепие еще прекрасней <...>» (26 сентября 1964 г.).

«<...> Третьёва дня ночью стукнул серьезный мороз и единым дыханием «сничтожил» все цветы, кроме астр, анюток и какой-то осенней желтизны на высоких стеблях... Так что в унынии поглядываю на последние букеты, последнюю память недавнего цветения... Грибы, небось, тоже угробились тем морозом, так что можете спать спокойно и не завидовать обитателям скромного города Тарусы. Последние грибы собирали с Адой у той тропинки, где мы с Вами всегда находили подосиновики, помните? (да что я спрашиваю — разве *такое* забудешь?!) Леса уже были полураздеты, листьев под ногами — по щиколотку, и всё же неунывающие красноголовики просверливали лиственный покров и появлялись на свет Божий <...>» (29 сентября).

«<...> Наши любимые грибы стоически перенесли ряд ночных заморозков и оказались на своих постах — подосиновики под осинами, а подберезовики, равно как и белые — под березами, когда мы

с А.А. пошли нанести последний грибной визит осеннему лесу. Нашли 9 белых сверх порядочного количества черных и красных...» <...> (4 октября).

«<...> Нынче, в субботу, погода славная, я даже с полчаса посидела на крылечке, пописала на неярком, но теплом солнце. Все пчелы Тарусы гостят в последних наших, забравшихся совсем под крышу, настурциях. Третьёвось ходила в лес за можжевельником, вспоминала Вас в этой предзимней, сонной тишине. День был сероват, лес — лысоват, а всё его сияние — под ногами шуршало, как фольга <...>» (17 октября).

Новая весна: 1965 год; из письма от 12 мая:

«<...> Всё вокруг еще пусто, голо, прозрачно — насквозь просвечивает; выглядит серединой апреля. Из моего окошка еще видна Ока; леса на том берегу еще даже не в зеленом пуху, совсем раздетые. Деревья все в почках, только плакучие березы чуть, едва, разворачивают листочки. Яблони все в цветочных почках, и сирень нынче обещает цвести не хуже, чем в прошлом году. И то хлеб; а для хлеба, кстати, поздняя весна нехорошо <...>»

Той весной 1965 года Ариадна Сергеевна была серьезно озабочена судьбой цветаевского домика в «Песочном». Возникла призрачная надежда сохранить его, собрать деньги для его восстановления. Но оказалось, что задача неосуществима; дикость состояла в том, что в это дело нужно было вовлечь

много «именитых» людей, да к тому же пробиваться сквозь всякие тупые, бессмысленные, бюрократические советские препятствия, в частности через Союз писателей. Вот следы тех дней в письмах Ариадны Сергеевны:

«Если останется в силе <писательский> вариант хлопот, т. е. в том числе и ходатайство тарусского исполкома, то надо серьезно подумать, как его составить — что умнее — для возможного получения ссуды на ремонт: говорить ли о мемориальном домике *только* Цветаевой? Или Цветаевых? (Ив. Вл. и М. И.?) — Как бы Союз Пис. не переадресовал нас в этом случае Музею им. Пушкина. Надо ли поминать Борисова-Мусатова и Матвеева? Как бы не вышло, что они — «по другому ведомству». Тут тоже надо бы с кем-то толковым посоветоваться. Я просто не знаю, что — безошибочнее. М. б., одну Цветаеву найдут «преждевременным» заявлением, и лучше в ходатайстве опираться на целый коллектив «теней»? А если «теней» начнут распикивать по разным ведомствам? Вести ли речь о «цветаевском домике», или, м. б., о памятном домике *вообще* литераторов, связанных с Тарусой (Ал. Толстой, Паустовский и очень и очень многие) ... Тут важно действовать с наименьшим риском промахнуться! Ибо сапер ошибается только раз! <...>» (30 мая).

Через два дня Ариадна Сергеевна пишет о том, что один человек «говорил с Федотовым (директо-

ром д/о, на чьей территории домик): тот ему сказал, что курортное управление (в чьем ведении д/о) *против* всяких там музеев, что музеи — по линии Мин-ва культуры и Фурцевой, коим кур<ортное> упр<авление> не подчиняется — и т. д. Однако он, Федотов, тем не менее домик рушить не будет, а сделает там паровое отопление и полдома займет под контору <...>».

Вскоре, как я уже говорила, дом был разрушен — ночью, «по-тихому», чтобы никакие «бумаги» в защиту уже не успели.хлопоты же, как и всё, по обыкновению ушли в песок.



С зимы 1964 года Ариадна Сергеевна жила в однокомнатной кооперативной писательской квартире на Аэропортовской. Осенью следующего, 1965 года, после нашего изумительного путешествия на Север*, она застряла в Тарусе... из-за коровьего карантина: в Калужской области вспыхнула эпидемия ящура, поразившего скот и угрожавшего людям. Ариадна Сергеевна в это время спешила с переводом большой испанской пьесы, работала целыми днями и поначалу не особенно сетовала на вынужденное заточение...

«17 ноября 1965 г. Милый Рыжик, сегодня я неожиданно для себя впервые за все это время закончила

* См. очерк «Паломничество на Енисей».

свою норму до полуночи, а не опосля, и выкраивается чуточка его (времени) написать Вам несколько слов просто так. А то всегда тороплюсь и всё через пень-колоду. Эти дни у нас были холодные — а ночи особенно. Топить приходилось по два, а то и по три раза в день — дом давно не конопатили, и тепло быстро выдувает. Сидела на своей коечке, поджав ноги под попу для тепла и вдохновения, и тащила своего Тирсу*. Завтра, даст Бог, дотащусь до двух тысяч (очень черновых) строк, т. е. почти до половины; в тексте оказалось несколько больше 4000 строк, т. к. обнаружился еще пролог... вот уже третий месяц только сижу и перевожу — в любом состоянии, положении и настроении. А они всякие бывают. От родителей, дедов и пращуров унаследовала только трудоспособность из всех возможных способностей; и даже не это, а именно — усидчивость. Скуднейшее качество.

Я с радостью — почти что материнской — читаю Ваши письма и много о Вас думаю (вперемешку с рифмами). Письма полны работ, забот, хлопот, досад и т. д., и я всему этому очень рада. Именно тому, что Вы крутитесь, как белка в колесе; и даже тому, что очень от этого устаете. И вспоминаю, каким Вы были хорошеньким, хципленьким**

* Пьесу Тирсо де Молина «Стыдливый во дворце».

** Шутливое слово, образованное от чешского «хциплый»: вялый, томный и т. п. (буквально непереводимо).

немножко и очень тихим существом — еще так недавно. Хорошеньким-то Вы остались, а во всем прочем очень изменились; изменилась и Ваша жизнь; *начала* изменяться. Теперь уж она не оставит Вас на обочине большой дороги, как многих и многих. Как в том моем сне про маму: только начало этой дороги будет трудным, а дальше она будет хороша. Вот увидите. Конечно, *хороша* не в смысле *легка*; но в легкости и радости мало. Это, так сказать, лирическое отступление, причем не без нахальства: я тут сижу, мол, перевожу, а Вы там везете столько упряжек сразу. Милый мой, такая исключительная ситуация скоро «рассосется». И не собственно о ней речь. Но Вы и так меня поняли.

«С коровьим карантинном, — пишет Ариадна Сергеевна в следующем письме, — ничего не слышат нового. Сегодня и завтра открыли «сквозное» (Таруса — Серпухов и обратно) движение ввиду заезда и отъезда отдыхающих из д/о... «Санитарные кордоны» смехотворны: люди, слезая с автобуса, грузят поклажу (любую!) на салазки и прутся пёхом до следующего автобуса, разнося призрачную «инфекцию» на все четыре стороны; а вот *на колесах* демаркационную линию преодолевать нельзя; впрочем, говорят, кордоны Московской области — серьезнее обставлены...»

История с карантинном, связанные с этим нелепица, абсурдность, безвыходность — дали богатую пищу для негодования, сарказма и... юмора Ариадны

Сергеевны. Вот несколько выдержек из ноябрьских — декабрьских писем:

«Мы жжем дрова из запаса будущей весны; быт — очень труден; холодно; гололед; того и гляди, трахнешься, еще чего-нибудь сломаешь. Колонка постоянно выходит из строя; а когда действует — вокруг нее ледяная горка; трудно и страшновато воду носить!.. Оказывается, карантин должен был кончиться 10-го дек. Вспыхнула коровья эпидемия снова — посмотрим: если это продлит карантин еще на 40 (!) дней, то примем меры, чтобы как-то выдираться; я об этом напишу Вам особо, и, если возможно, Вы поможете, ибо *отсюда* мы вряд ли чего-нибудь добьемся. Здешнее начальство никаких прав не имеет за пределами района, а что в Калуге хлопотать, что в Москве... Завтра отсюда выбираются наши соседи — Валерия с супругом; Валерия уже успела полежать в больнице, а С.И. — трахнуться об лед с какой-то посудой в руках, к-ую перебил; после чего слег сам и, говорят, «заговариваться» стал; ему уже сильно девятый десяток... В свете чего больница дала им какую-то «бумагу», к-ую они вполне заслужили «от Господа Бога», и завтра посадят их на машину и в сопровождении врача отправят в Москву через все санитарные кордоны. Отвечать за них, и не дай Бог *хоронить* за свой счет, здесь не хотят, и правильно делают. Нам же такой «бумаги» не схлопотать, мы — молоденькие!..»
(26 ноября).

В другом письме, от 3 декабря, Ариадна Сергеевна просит меня организовать ей через Союз писателей вызов в Москву: «на *бланке* бумажку на имя председателя Тарусского Горисполкома тов. Лутыко, вроде: «СП СССР убедительно просит Вас обеспечить выезд из Тарусы через Москву члена СП СССР тов. Эфрон А. С. и члена ее семьи Шкодиной А.А. и содействовать в предоставлении им соответствующим образом обработанного в условиях карантина легкового автотранспорта за наличный расчет от Тарусы до постоянного места жительства. Присутствие А.С.Э. в Москве настоятельно необходимо в связи с проведением творческого семинара с работниками внутренней охраны Кремля; или: в связи с вскрытием гробницы Иоанна Грозного в Кремле; или: в связи с ее (гробницы?) докладом на тему: «Большевики Закавказья в Енисейской губернии» (Или: «Большевики Енисейской губернии в Закавказье»); или: в связи уж не знаю с чем; только причина моей необходимости стольному Граду должна быть предельно убедительной, неоспоримой и к тому же, может быть, и вполне фантастической...

За время карантина было сделано *всё*, чтобы разнести инфекцию по всему району. Доярки с зараженных ферм разносили ее *пешком*, а то и на колесах; ограждения обходились и объезжались; дезинф. средств было недостаточно. В связи с этим теперь — строгости; санкции; отдачи под суд и снятия с работы...

Приятная тарусская новость: наш вор, к-го так мило, вместо того, чтобы засудить, снабдили работой и жильем в Ферзикове, соскучился, бросил работать и переселился в Тарусу, где опять бездельничает; приятное совпадение — ограблена еще одна дача на «каменной» дороге».

Вскоре, однако, удалось вырваться из «ящурной» Тарусы без помощи из Москвы; 9 декабря Ариадна Сергеевна писала:

«Со всякими трудностями и кордебалетом договорилась насчет машины с автобазой, с председателем, с ветпунктом; просидела часа три в исполкоме, чуть не сдохла от казённости места и бесконечного потока просителей-посетителей, чьи беды и нужды выходят за пределы исполкомовских компетенций и возможностей... Если всё сбудется, то приедем (коли и уедем) 13-го; люблю магические цифры».

Пожалуй, именно с той осени 1965 года Ариадна Сергеевна стала чувствовать себя хуже, слабее; надвигалась ее страшная болезнь — облитерирующий эндартериит, от которой два-три года спустя начнут страшно болеть ноги и ее передвижения станут все более затруднительны. (Летом 1969 года мы путешествовали на пароходе по Северной Двине, и на остановках она не смогла выходить, оставалась в каюте или на палубе.)

В июне 1966-го, приглашая меня в Тарусу, Ариадна Сергеевна писала: «в субботу не стерпела, съез-

дила на Страховскую дорогу, собрала около 2-х литров земляники, но не совсем спелой; ноги гудят до сих пор». Теперь уже реже ходили мы с нею в дальние прогулки; чаще — я одна. Ариадна Сергеевна довольствовалась домашним «садишком-огородиком» и редкими приглашениями соседей Бондаренок «прокатиться» на машине...

Тем летом 1966 года тяжело заболела Валерия Ивановна Цветаева. Ариадна Сергеевна писала мне о ее болезни: поначалу она попала в больницу «с рожистым воспалением ног» и сразу там сильно «сдала»; больница намеревалась отправить ее в инвалидный дом. «Плохое изобретение — старость», — с грустью замечала она.

А осенью Ариадна Сергеевна красочно живописала то, что творилось в доме умершей Валерии Ивановны:

«12 сент. 1966. Милый Рыжий, всё тут трудно и сумбурно, т. к. приехала Евг. Мих., много времени проводит здесь (у нас), много у нее (и у нас рикопетом) всяких забот и тревожений, связанных с Валериными посмертными, и их, наследников, прижизненными делами; всё несплетаемое сплелось в клубок, и от всего у всех трещит голова. Конечно, надо поить — кормить — во всё вникать, до чего дела нет; Валерин хвост угаснувшей кометы всё тянется и тянется. Хаос, жуть, грязь и запустение в доме № 13 по 1-й Дачной — неслыханные; какой-то склеп + лавка старьевщика после бомбежки. Дед-сторож, за промежуток между похоронами и приездом (тепереш-

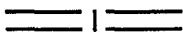
ним) Евг. Мих., ухитрился украсть всё, что может быть украдено: одеяла и кур, подушки и яблоки, посуду и одежду, дрова и бельё; на всех остатках (останках) вещей — липкая грязь, пыль, паутина. Взялись за «туалет» — красного дерева, крепостной работы (мебельный Собакевич) — он рухнул и распался в прах, изъеденный жучком-древоточцем; умывальник нельзя было сдвинуть с места — он весь был забит ржавыми жестянками из-под консервов: (если будет война, пригодится котелки делать); почему-то всюду — тусклые, слепые, треснутые зеркала и обрывки серебряной мишуры и каких-то блёсток опереточных, вперемешку с непарными калошами, счетами 1932 г. за электричество, дырявыми мисками, бывшими в долгом употреблении генералами, и какой-то безымянной дрянью, дранью, рванью и ветошью. Евг. Мих. привезла сюда же остатки московской Валериной мебели, в т. ч. рассыпавшийся ореховый шкаф, о к-м говорится в «Моем Пушкине», откуда — первый Пушкин мамин — и плетеное кресло дедушки Ив. Вл. Над всем и вокруг всего витают коршуны и трусят шакалы — местные, тарусские: «Домик не продается ли? Мы бы его снесли, новый поставили бы... местечко больно славное и для скотинки пригодное»... «Не пустите ли пожить зиму-то? Семья всего-то мы с женой да ребятишки, да поросеночек» <...> «Говорят, продается тут дом после старухи? Много не дадим, зато сразу заплотим — грош цена барахлу — тысячу за всё — идет?» ...«Ой, напрасно, напрасно не продаёте... всё

равно за зиму всё унесут, как есть... тут ведь народ знаете, какой?» — «Дык куда ж вам этакую разруху? Уж нам бы местным как-нибудь, а вам, москвичам, рази годится?» и т. д. Бродят два тощих, страшных Валерииных кота — ее последняя привязанность на земле, ее круглые сироты, единственные...»

С Валерией Ивановной Цветаевой я знакома не была: этого не хотела Ариадна Сергеевна. К моменту моего появления в Тарусе они не общались, и Валерия Ивановна просила передать Ариадне, чтобы та не присутствовала на ее похоронах (!) Я никогда не вникала в причины их непримиримого конфликта, который возник не сразу, однако ситуация и тогда казалась мне не совсем естественной: ведь Ариадна Сергеевна построила дом на участке, безвозмездно отрезанном и пожалованном ей «теткой Валерией». Участок, правда, был настолько узким, что протиснуться между домиком Ариадны Сергеевны, стоящим поперек его (участка), и забором можно было с трудом, а в пожарном отношении это было просто опасно. Но «дарёному коню», как говорится... А. А. Шкодина объясняла дикие отношения между теткой и племянницей так. Вначале Валерия Ивановна якобы опасалась, что местные власти отберут часть ее большого сада (заросли лопухов и крапивы, уходящие в овраг), оттого и пожертвовала узенькой полоской, а когда узнала, что ничего не отбирают, пожалела о своем добром поступке и возненавидела обеих «соседок». Я слышала

другое, а именно: Валерии Ивановне очень не понравилась Ада Александровна, женщина энергичная и напористая, — к тому же на первых порах поселившаяся у нее (по ее же приглашению). Но, конечно, все было гораздо сложнее. Со временем Ариадна Сергеевна узнала, в частности, о том, что Валерия Ивановна не пожелала встретиться с Мариной Цветаевой, когда та вернулась в Россию; свою мать Ариадна Эфрон не простила никому...

Я видела Валерию Ивановну издали, через забор, сквозь гущу бурьяна и запущенных кустов сирени; она появлялась на полуразвалившемся крыльце своего полуразвалившегося дома, — живое олицетворение ушедшего века «дедушки Иловайского»...



И вновь — лето, новое лето, 1967-го.

«У нас всё то же: я так же — по чайной ложке — перевожу Верлена; но ни одно стихотворение из уже переведенных *не дотянуто*; в каждом — много — случайных, *не тех самых* слов; у него же (в «Сатурналиях») поразительное отсутствие слов-заполнителей, каждое — *то самое* и иного быть не может. В стихотворении «Nevermore» — удивительно перекликающаяся с «Наядой»* концовка:

«В плоде таится червь, в дремоте — пробужденье,
Раскаянье — в любви; увы — таков Закон».

* Стихотворение Марины Цветаевой.

Погода стоит солнечная, но прохладная, ночи же — совсем не по-июльски — холодные, из-за чего плачут огурцы и помидоры на огороде, зато цветы цветут медленно и подробно, не истомленные жарой...» (8 июля).



Как я уже говорила, главной радостью жизни Ариадны Сергеевны была весенняя и летняя Таруса; в мае, когда обычно она перебиралась в свой домик, начиналась новая жизнь, включалось новое дыхание. «Тут всё привычно, и всё же, каждый год, всему удивляешься, каждому дереву и цветику» (17 мая 1968). «Погода пока стоит прелестная <...> тепло и сухо не по сезону — так что Вам имеет полнейший смысл приехать подышать целебным воздухом, собирать первые цветики-медуницы и, м.б., даже первый щавель <...> Весна, вообще, запоздалая, так что зелень еще бледна и неясна, и виден весь рисунок стволов и ветвей, еще не заглушенных листвой; скоро, видно, должна зацвести черемуха» (9 мая 1969).

Но над всем и под всем, поглощая все житейские проблемы, неотступно стояла мысль и боль: Марина Цветаева.

«31 августа 1969

Милый Рыжик, я хоть и не очень, а все же тайне надеялась, что Вы махнете в Тарусу на этой неделе; тайне — п. ч. конец недели приходится

на конец месяца, а конец месяца не простой, а *31 августа*; иногда, мне кажется, что только одна я помню эту дату (NB! к *Вам* это не относится!) Это и так, и не так; дату помнят многие и многие; однако же — никто так, как я. Это естественно».

Позже Ариадна Сергеевна начнет писать воспоминания о матери — «Страницы былого». Писать трудно, тяжело, в постоянной оглядке и самооценке. Ухудшающееся здоровье и сознание того, что старость наступает раньше срока, снедали ее.

«Вообще же старость — странное состояние, — пишет она в сентябре 1970 года, — говорю не о своей, которую ощущаю (пока) лишь как ряд *физических* ограничений, а они, волей *судьбы*, были у меня всю жизнь, так или иначе; а о ней, как о явлении; об обреченности на возрастное окружение, на лейтмотив болезней и смертей, на постепенное угасание человеческих вокруг себя красок, на невыполненность и, вероятно, невыполняемость человеческих вокруг себя обещаний (не *мне* было, естественно, обещано, а — жизнь обещала им, а они — жизни, и всё оказалось двусторонней пустой болтовней!) ну и т. д. и т. п. А главное — принято считать, что старость — мудрость, на самой же деле *такая* глупость, что глупее не придумаешь!» (19 сентября 1970 г.).



Летом 1971 года Ариадна Сергеевна работала над «Страницами воспоминаний».

«Писала мало, так как всё время чувствую необходимость опираться на архив, на давние и более ближние по времени записи — моя память не конкретна на даты, а без этих *верстовых* столбов всё как-то распадается. Может быть, дело вовсе не в этом, а в некоем внутреннем разброде, тогда — плохо. Всё во мне устало и многое износилось» (25 августа 1971).

А следующий, 1972-й, был годом цветаевского восьмидесятилетия. Я написала Ариадне Сергеевне о неудачах с публикациями: «Лит. газета» дважды отказалась печатать отрывок из поэмы «Мблодец»; никто из писателей не собирается хлопотать о цветаевском вечере в Доме литераторов; даже в малом зале очень проблематично устроить что-либо, и, по словам Б. Слуцкого, тот «пребывает в полнейшей безнадежности по поводу отсутствия интереса у чиновников от литературы к самой литературе». Словом — глухо. В ответ Ариадна Сергеевна прислала из Тарусы письмо, которое — я считаю прорицанием и завещанием:

«24 сентября 1972

Милая Анечка, на днях послала Вам, и в Вашем лице также Вашим родным, благодарность за присланную к моему дню рождения телеграмму. Благодарность уместилась на открытке — так же, как поздравление — на бланке, что отнюдь не означает, что оба текста (по существу) — втиснулись в эти

утлые рамки... Сегодня же пришло Вапе письмо с довольно-таки горько-кислым «ассорти» новостей. Ке фэр, милый мой, фэр-то ке!* Во-первых, — *очень серьезно* советую Вам заняться подготовкой к Цветаевскому столетию. Как мы видим, с 80-летием ничего не получается, кругом ничего. Оно, пожалуй, в каком-то смысле даже лучше, чем какие-то жалкие крохи *чего-то*, какие-то ничтожные капли, которые, при нынешнем положении вещей, просочились бы сквозь себялюбие литер. эпохи — себялюбие-гонораролюбие, и во всех прочих смыслах... Чем с помощью <...> нескольких рамоликов пытаться устраивать Цветаевскую ходынку в малом зальце писательского клуба, лучше вовсе отойти в сторону. Чище. Мы и так с Вами, «по молодости и неопытности», и от великого желания хоть что-то сделать, наплодили великое (относительно!) количество мини-публикаций, где купюра купюру погоняет, а по *большому* счету — толку чуть. Пора, по-видимому, поелику и «эпоха» не благоприятствует изданиям всерьез и юбилеям в полный голос, перейти к серьезной работе, работе по существу, единственно-правильной и единственно-долгоиграющей. О столетии я не шучу: это будет ровно через два десятилетия — всего только! — Вы не только доживете, но и будете в полном творческом, зрелом всеоружии возраста — сильного и умного, опытного и вершинного.

* Что делать! (фр.).

И во всеоружии знания и понимания материала. К тому времени всяческая «ситуация» всячески изменится; временное отомрет само собою; сегодня кажущееся кому-то «опасным» или «двусмысленным», через 10—15—20 лет утратит, уже навсегда, кажущуюся злободневность. «Не могу же я писать в стол», говорили Вы еще недавно, дергая плечиком. Думаю, что нынче Вы осознали — или начали осознать, что настоящее, подлинное, пишется именно «в стол» и готовится впрок. А «на время» — не стоит труда... И само время учит нас не макулатурничать. Что остается из ворохов печатной бумаги прошедший десятилетий? Вы столько перелистали этих листов по спецхранам! И *много ли* набрали? Не много по объему, но весомо, но — над- и сверхвременно: тот же Бунин, та же МЦ, те же считанные имена и — нетленный труд. Пожалуй, пора Вам начать работать (комментировать, писать, обобщать и детализировать) всерьез, безоглядно на «нынче», кое уже завтра становится «вчера»; с оглядкой лишь на то, что *всегда* и навсегда, что — правда и человечность.

Как только Вы осознаете *правильность*, истинную правильность и насущность своего труда, Вы перестанете ощущать комариные укусы «действительности» дней нынешних, досадовать, маяться. Вы будете работать увлеченно и неуязвимо... и только так окажетесь наготове, когда Время придет... а оно придет!

Пока же будем рады, что нам удался синий том*, хоть и не без огрехов он, но многое туда вошло <...>»



Последние годы жизни Ариадны Сергеевны Таруса не баловала летом. «Лето нынче было настолько не-лето, и тем самым — настолько неудачным сезоном, что такового и не упомяну, — писала она 4 сентября 1973-го. — ...холодно, сыро, пасмурно, и «на воле» грязь такая, что крутобокой Тарусе и не свойственна: просто Пинские болота какие-то. От этого (и от этого!) настроение самое унылое, вернее, такой унылый упадок настроения вообще, что тоже такового — и столь долгоиграющего — и не упомяну. Ничего у меня не клеится и не ладится, не работается мне, а вместе с тем — устаётся донельзя и донельзя не отдыхается... В общем, не живётся и не можется, а только ёжится». «...За отсутствием весны воспоследовало отсутствие лета, — писала Ариадна Сергеевна в июле следующего года. — По утрам у нас — тяжелые, влажные туманы, осенние паутины цепляются за лицо. Днем — ливни (бурные) сменяются дождями (мелкими), последние — истерическими просветами ненадежной синевы, и опять всё сначала. Ока, говорят, коричневого цвета, и весьма, для своих утлых здешних возможностей, полноводна».

* Марина Цветаева. Избранные произведения. М.; Л. 1965. «Библиотека поэта».

Самые ужасные слова в этом письме: «Ока, говорят...» и т. д. Страшные боли в ногах обездвижили Ариадну Сергеевну; пройдя пятнадцать — двадцать шагов, она должна была останавливаться, чтобы прийти в себя. О том, чтобы дойти до Оки, и речи не было. Лишь один раз, пишет она, удалось попасть в лес — благодаря соседям с машиной... собирали «кнопочки лисичек» и утопавшую в воде землянику. Последний тарусский лес Ариадны Эфрон...



Весною 1975 года Ариадна Сергеевна заболела. Несмотря на сильные боли в руке и в спине, кардиограмма ничего не показала (либо не сумели прочесть). Она рвалась, конечно, в Тарусу; «Инфаркта нет», — успокоилась она. В конце мая они с А. А. Шкодиной переехали. Написала из Тарусы Ариадна Сергеевна не сразу. «...Простите за долгое молчание, болезни и боли тому виной, одолевающие и передышки не дающие хотя бы чтоб оглядеться и порадоваться. Погода тут пестрая, тьфу-тьфу, чуть теплее московской, и соловьишки поют... Из-за моей (надеюсь, временной) инвалидности все мужицкие работы навалились на А. А., я только по домашности шевелюсь еле-еле, что немало меня угнетает наравне со всем прочим» (2 июня 1975 г.). Через неделю: «Погодка тут продолжает скакать и подпрыгивать от и до, в лесу, говорят, земляника в разгаре и появились лисички... Чувствую себя чуть полегче, боли,

слава Богу, пожиже, не такой густоты и плотности». Спустя почти месяц, 4 июля: «Пишу более, чем кратко, ибо изнываю от своих «корешковых» болей в позвоночнике... М.б., в отпуск свой захотите приехать на старое тарусское пепелище...»

Вскоре Ариадне Сергеевне стало хуже, она попала в тарусскую больницу, где не подумали даже снять кардиограмму; сама она все твердила о «корешковых болях». Вот и лечили ее от этого... массажами. А боли были — инфарктные, и массажи были — убийственные. Московские друзья Ариадны Сереевны были подняты на ноги в поисках пантопона и прочих болеутоляющих лекарств; в какой-то мере они, вероятно, приглушили боли, и Ариадну Сергеевну выписали из больницы.

И вот — последнее ее письмо: ответ на мое, от 12 июля. Я сообщала, что в бесплодных поисках лекарства «было вовлечено масса народу», но никто не в силах его достать: только в больницах, да и то на руки не дадут... А еще я писала о том, что видела шестой номер журнала «Звезда» со второй частью «Страниц былого»; что теперь Ариадна Сергеевна должна сделать книгу, написать третью часть — «Франция», а также расширить некоторые места, не «спрессовывать»; предлагала свою редакторскую помощь — не подозревая, как тяжело она больна...

«17 июля 1975»

Милая Анечка, история с бесплодными поисками пантопона, с привлечением большого количе-

ства народа, напоминает игру в испорченный телефон, увы! Уже и до Вас добрались неуправляемые звонки, и от Вас распространились... Ке фэр, иной раз в горной местности слабый чих рождает могучий, многоголосый и в небытии растворяющийся отклик! Бог с ними, с пантофонами и голосами, Вам же за участие спасибо!

С тех пор требовались еще иные лекарства, и они рассасывались — то ли в моем организме*, то в космосе, как повезет, или не рассасывались... Я прошла десятидневный курс лечения этих самых позвоночных болей (массаж, инъекция, всяческие лекарства) — девять дней лечения прошли «ничего себе», а на десятый боли возобновились за здорово живешь. И будет ли конец этому царствию — в смысле царствия нестерпимых болей во мне (впрочем, они, тьфу-тьфу! не непрерывны!) — и каков их истинный источник — пока неясно. Ясно лишь, что снимая боль инъекцией новокаина, вызвали у меня этой же инъекцией бронхиальную астму, о к-ой и ранее понятия не имела; это — ужас, что такое. Удушье, в смысле. И такое протяженное во времени... Уйдет ли оно также, как пришло, или схватит за глотку до конца дней? Какая же я была счастливая еще несколько дней тому назад, когда всех этих страстей не было на мою шею, т. е. когда был воздух на земле и на мою долю.

* Так иногда в шутку Ариадна Сергеевна произносила это слово.

Всё в больнице (тарусской) было очень странно, такое изобилие смертей рядом, бок-о-бок, в такие мирные и солнечные дни, и такие сплошные страдания, и этот запах горького пота, крови, хлорки и аммиака — и много, много чего еще. Все эти сутки просидела на койке — ложиться не могла из-за удушья и поэтому почти не спала; есть не могла, глуши-мая медикаментами. Но всё еще что-то виделось и думалось и почти бредилось.

Вышла я «на волю» не в лучшем виде, как легко догадаться, и в полной ненадежности. Устала от *истеричности* собственного дыхания и от болевых вспышек. Но, конечно, рада, что вернулась «домой» и могу дышать чем-то, действительно напоминающим *воздух*... Ну, а что завтра будет? или — через час, через минуту? «Дышу» рывками, т. е. практически — задыхаюсь.

Журнала со своими воспоминаниями не видела (кажется, я одна!). Несмотря на *трехкратную* просьбу о присылке 10 экз. в Тарусу, «Звезда» не прислала ни одного. Выцарапывать чегой-то из них нет сил. Я совсем больна.

Относительно того, что «страницы» слишком компактны и читаются с трудом, я отлично знаю; произведенные в последний момент сокращения («видимость» ред. работы) не улучшили их, это я тоже знаю. Особенно нуждается в воздухе пастернаковская тема — но, дал бы Бог еще дыхания, я на-

деялась к ней вернуться, не зная, что как раз дышаньице-то на волоске!

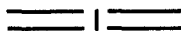
О «каше» из подобных жмыхов и не помышляю, книги пишутся иначе и не из «журнальных вариантов» создаются и лепятся, уж тут *Вы мне* поверьте! За желание же редактировать несбыточности — спасибо... У Вас это переходит в хобби — обратно же к фэр! Дай нам Бог!

Сюда Вас *пока* не зову из-за своих расцветших и заколосившихся хвороб — но Вы всё понимаете и не обидитесь. Маме сердечный привет — и пирожных... Вас обнимаю, А. А. приветствует.

Ваша А. Э.»



Спустя девять дней, 26 июля, Ариадна Сергеевна Эфрон умерла в тарусской больнице от очередного инфаркта. И когда я — в который раз? — перечитываю это письмо, написанное *буквально* на смертном одре, я все больше и больше дивлюсь воле и силе духа Ариадны Сергеевны, таланту ее души, ее бессмертному юмору (передавая привет моей маме, Ариадна Сергеевна вспомнила ее сестру, которую шуточно называла «тетка-пирожное» — из-за молодой, яркой внешности).



Да, ее жизнь была трагична, и смерть трагична, и роковым образом предопределена: Ариадна Сергеевна словно сама «накликала» ее...

И я задаю себе вопрос: состоялась ли, получилась ли ее жизнь? Как прошли последние двадцать лет после освобождения, из коих я застала пятнадцать? Была ли это полноценная жизнь, озаренная деятельностью и смыслом? Или же происходило медленное умирание, усыхание, угасание в бессмысленной суете вокруг материнского архива (страх, чтобы тексты Цветаевой не просочились на Запад), — словом, печальное доживание отпущенных лет?

На второй вопрос, навеянный пристрастным и, на мой взгляд, искаженным мнением некоторых любивших Ариадну Сергеевну друзей, — что тем более странно, — я отвечаю категорическим «нет!» Речь идет, конечно, не о старении, болезнях, неизбежных печальных раздумьях. Речь — о ЖИЗНИ.

Всё, в конце концов зависит, по верному слову Марины Цветаевой, от того, *откуда смотреть*. Если — изнутри того, о ком рассказываешь, пишешь, вспоминаешь, — то придешь к неизбежной *правде*. Если же — с собственной «колокольни», то любую судьбу (не свою) можно превратить в *литературу*, то есть, в конечном счете — в вымысел.

Утверждаю: жизнь Ариадны Эфрон состоялась. Об этом свидетельствую я, очевидец последнего периода отмеренного ей века. Ибо у этой удивительной женщины был стрезень, центральная идея, мечта.

Прежде всего: издать Марину Цветаеву в России (и издала!). Написать о матери — и написала воспоминания, равных которым о поэте не написал и не напишет уже никто. Мало, скажут? А кто, спрошу я, успел свершить *всё* задуманное? Да еще подцензурно? Но каждая «отвоеванная» цветаевская строка была победой над подлым временем и временщиками, а главное — драгоценным даром людям. И, конечно, радостью для нее, Ариадны, «Али», дочери Поэта.

А ее замечательные переводы: французов, Петrarки, других поэтов... Верлена и Бодлера она перевела, можно сказать, на истинно «материнском» уровне. Когда бывала удовлетворена, любила читать вслух...

А письма, писавшиеся многим десяткам корреспондентов, — что это, как не потребность *творчества!* — И какие были среди них шедевры: письма к Пастернаку, Антокольскому — и не только к ним. «Я встречался с ней редко, но мы интенсивно переписывались, и таким, может быть, окольным путем я все же достаточно узнал ее, — достаточно, чтобы судить о цельности и оригинальности ее натуры, о богатстве ее личности. Кстати, все письма ее я сохранил (чего обычно не делаю) — настолько они хороши, и не только как «человеческие документы», но и как нечто относящееся уже к литературе». Так писал мне после кончины Ариадны Сергеевны Владимир Николаевич Орлов.

11 августа 1975

Дорогая Агечка,

спасибо за подробное письмо, — кое-что я уже знал из письма Ады Александровны. Да, безусловно там и Аня и Сергей. — Я встречался с ней редко, но мы практически переставали — и так и, может быть, охотнее бы я все же достаточно узнал ее, — достаточно, чтобы судить о ее таланте и организаторских ее качествах, о богатстве ее личности. Конечно, все письма ее я сохранил (это отличие не двояко) — конечно они хорошие, и не только как „демографические документы“, но и как нечто, относящееся уже к литературе.

Письмо В. Н. Орлова после кончины Ариадны Сергеевны.

Да, трудный быт; да, все меньше сил; да, советско-конъюнктурные удары по творчеству (материнскому и ее собственному). Но, несмотря ни на что, последние годы Ариадны Эфрон прошли в *созидании*, будь то публикация материнского наследства, страница воспоминаний или строка перевода... Прибавим к этому радость, которую неизменно дарила природа — отсюда бесконечные «пейзажи» в письмах. «Сплошной Тургенев», — сострил однажды знакомый. Не хуже, — смею заметить.

А как не сказать об уменье, даже таланте Ариадны Сергеевны радоваться праздникам! Ей всегда хотелось принять друзей, угостить чем-нибудь особенным; индейку с каштанами — экзотика в те дикие годы! — она, по традиции, не раз устраивала под Рождество. И вручала подарки: маленькие сувенирчики, игрушки, фигурки, — всякий раз вкладывая в подарок шуточный смысл, намек на что-то, о чем знал тот, кто получал ее дар. (Сколько сохранилось у меня ее сувениров — целая выставка!) Разве не говорит все это о радости бытия, *вкусе существования*, о жизнеутверждающем характере?

И думается мне, что к Ариадне Сергеевне Эфрон подошли бы знаменитые слова Александра Блока:

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!

— только произносить их надо сдержанно...

Юмор Ариадны

Я готова повторять бесконечно, что юмор был для Ариадны Сергеевны спасением в самые тяжелые моменты жизни. «Я ведь еще очень веселая... узнав много горя, я все равно не разучилась смеяться и даже радоваться», — писала родным Ариадна Эфрон из лагеря (Коми) в 1943 году. И позже, уже при мне, Ада Александровна Шкодина не раз говорила: «Аля в Туруханске была очень веселая». В роковые минуты она умела призвать смех, где только ни ухитряясь заметить что-нибудь забавное, комическое. В этом свойстве заключалось, на мой взгляд, ее жизнелюбие; общение с Ариадной Сергеевной всегда было для меня — как и для всех, не сомневаюсь, — истинной радостью.



В первые годы нашего знакомства Ариадна Сергеевна частенько вспоминала разные курьезные случаи из туруханской жизни; рассказывала так, что слушатели хохотали, будто речь шла о веселой комедии, а не о драме сломленной судьбы. Несколько эпизодов она пересказывала со слов старика Афони, который во времена оны был приставлен к сосланному в Курейку Сталину в качестве «охраны» («дядьки»), чтобы не сбежал. Афоня без всякого страха вспоминал «Иоську Талина», его жадность и ничтожество, — и этот образ, так же,

как и имя, — иначе не называли, — сохранился в памяти туруханских стариков, несмотря ни на что. Жаль, что сегодня я не в силах привести подробно эти рассказы. Лучше всех мне запомнился совсем другой сюжет.

Речь об одной бойкой туруханской девчонке, которая участвовала в самодеятельности дома культуры. В этом клубе — доме культуры — работала Ариадна Сергеевна, не щадя себя: и уборщицей, и художником-оформителем, и постановщиком номеров во время праздников; готовила костюмы, репетировала, расписывала «декорации»... Девчонка эта — лет ей было, кажется, семнадцать-восемнадцать, — должна была читать на вечере Пушкина: «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» У нее было старое издание Пушкина: по старой орфографии. И, несмотря на старания Ариадны Сергеевны, злополучная «актриса» никак не могла справиться со строкой в последней строфе: «И пусть у гробового входа...»; она произносила эту строку «по-написанному»: «у гробогáга входа». Наконец, после долгих усилий, с грехом пополам исполнительница освоила злополучную строку. Но Ариадну Сергеевну тревога не покидала, и она с волнением ожидала вечера и пушкинского номера. И вот настали эти минуты: выходит чтица, звучит стихотворение... последняя строфа (Ариадна Сергеевна обмирает от ужаса) — и раздастся звонкое, ликующее:

— И пусть у *гробогáга* входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять!—

Ариадна Сергеевна великолепно изобразила эту интонацию.

И с того дня, как я услышала эту историю, у нас вошла в обиход присказка: «Ну, это — до *гробогáга* входа» — то есть никогда, не дождешься...



Кстати: в Туруханске Ариадна Сергеевна сочиняла, по воспоминаниям А. А. Шкодиной, чуть ли не весь эстрадный стихотворный репертуар для самодетельности. Этот дар она, дочь великого поэта и сама изумительный стихотворный переводчик, сохранила до конца дней. Сколько строк сложила она буквально «на ходу», во время наших тарусских прогулок; записать было нечем, а память на доносила до дома... Разве что двустипшия, например:

— Я женщина простая,
Да черестур толста́ я...

— Это вы сами сочинили? — глупо спрашивала я в таких случаях.

— Да, прям' с'час с'чинила, — насмешливо отвечала она, подражая моему произношению.

Иногда, впрочем, удавалось запомнить и побольше. Вот еще один экспромт «на ходу» (вероятно,

начало 60-х, после того, как Хрущев громил деятелей культуры). Эти строки Ариадна Сергеевна спела на мотив песни «Раскинулось море широко» (слух у нее был прекрасный):

К душе подкатил истерический ком,
Нахлынули черные думы...
-----* Хрущев с рушником
С высокой народной трибуны.

Напрасно старушка ждет сына домой,
Напрасно похлебка готова.
Стоит на трибуне народный герой,
И льется свободное слово.

«Долой Эренбурга! — воскликнул Хрущев. —
Ничтожны его мемуары!
Пусть лучше напишет их нам Грибачев,
К тому ж не еврей и не старый.

Некрасов нам нужен другой: реалист, —
Который писал про холопов,
И вовсе не нужен нам тот стрекулист,
Что лижет Хущева ...у».

Или стихи, высмеивающие нашу работу над комментариями к Цветаевскому тому «Библиотеки поэта»; конкретно — к драме «Тезей» («Ариадна»):

Армянин Саакянц и еврей Эфрон
Тезея мусолят со всех сторон,
В тщетных потугах вылезая из шкуры
До повышения температуры.

* Начало строки не помню.

Работы не видно, здоровье разбито,
Душит соавторов гнев Афродиты.
Где-то вдали, поджидая улов,
Зевсовой птицей витает Орлов...

Еще, — тоже во время прогулки:

— Эпоха едет в Комарово! — возвещаю я, имея в виду Анну Андреевну Ахматову, которую мы за глаза величали «Эпохой».

— Прощай, Эпоха, будь здорова! — тут же радостно отзывается Ариадна Сергеевна. Потом, чуть подумав:

— Туда же едет и Орлов.
Прощай, Володя, будь здоров!

— Впрочем, это уже бездарно, — замечает она. — Так можно до бесконечности...

А вот истинный шедевр: пародия на Андрея Вознесенского, — и тоже мгновенно, «играючи»:

Я — Гойя!
Тело мое — нагое.
Пишу я — левой ногою.
Кончаю — пишу другою...

С Вознесенским был связан у нас целый эпизод, о котором расскажу позже. Пока же мне хочется показать, как Ариадна Сергеевна сочиняла «по заказу», то есть «в письменном виде».

«24 ноября 1961. Нельзя ли попросить Вас взглянуть в рифмовник и посмотреть там рифмы на:

Ищá,
пищá,
хрущá,
трепещá — и т. д.

— Сочиняю длинную поэму, девять пар рифм уже есть (на — щá), надо еще четыре...» (Из моего письма Ариадне Сергеевне).

Ответ из Тарусы пришел немедленно: от 27 ноября (в те годы письма шли быстро):

«Сожравши макароны и порцию борща,
Сижу я над Скарроном, зубами скрежеща,
Сжигая папиросы и семечки луца,
Решаю я вопросы, душою трепеща:
Нужны ли сочиненья в честь шпаги и плаща
При свете выступлений великого Хруща?
Нужны ль народу темы про даму и хлыща?
В век атомной проблемы нужна ли нам праща?
Проходят по страницам, подолом полоща,
Испанские девицы, любовников ища;
Та — толстая как бочка, а эта — как моща,
Толкаются по строчкам, болтая и пища,
Одна другой милее — но всё ж, не клеветца,
Ведь каждая глупее свинячьего хряща!
А юноши, не краше на заднице прыща,
Не сеют и не пашут, по принципу клеща...
Но их существованье, достойное хвоща,
Расходится в изданиях, хоть и по швам треща.
«Искусства» и «Гослитъ», свой опыт обобща,
Пускают в свет пиятов, всю прозу истоща...
Всё это наш читатель приемлет не роппа,

Театра почитатель сидит рукоплещая,
 Любуясь, как на сценах среди лилий и плюща
 купаются в изменах актеры сообща...
 Гряди скорей, Софронов, комедию таща,
 Гони взащей { Скарронов, — на них нужна вожжа!
 Эфронов
 ... Итак, Анетке рыжей (пусть примет, не взыща!)
 Нажив на этом грыжу, шлю тридцать рифм на «ща».

«(И одну на «жжа!»)» — прибавила она. (На самом деле — не тридцать, а пятьдесят шесть, ибо главное чудо — во *внутренней* рифме...

Для полноты картины — еще пример. В один ненастный день мы вчетвером: Ариадна Сергеевна, Ада Александровна Шкодина, одна знакомая и я — играли в буриме: нужно было написать двустипшие на готовые рифмы. Бездарность наших рифм Ариадну Сергеевну не смущала. Вот некоторые ее «решения», сохранившиеся у меня:

— Я вас люблю, мой генерал, —
 Сказал сержант, а сам наврал.

— Ушла в бардак моя невеста, —
 Сказал жених, а сам ни с места.

Шелк на тебе, или рогожа —
 Всё та же харя, та же рожка.

Кто снял портки, надевши фрак —
 Тому приятней свет, чем мрак.

Ариадна Сергеевна при своем изумительном чувстве языка, улавливала слуховые и смысловые курьезы. У меня сохранился один ее блокнотик с такими записями:

«— Ты что обвязалась — ай разохлась?

Очень бойко (скользко).

Особых декольтезов там не было, а гречневую кашу давали каждый день.

Сдавала маскулатуру в Заготсырье.

Как самоцветные камни, переливается поэзия А. Прокофьева всеми оттенками чувств. (Радиопередача).

Доведен до белого колена.

«Неуважение к коню» (заголовок в тарусском «Октябре»).

Литература не призваний, а поступков. Такой-то хотел быть композитором — стал трактористом. Такая-то стремилась стать врачом — стала птичницей.

Разговор школьников (2—3 кл.) в Москве: «Взял в библиотеке «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя. Ну и заливает же! Читать невозможно!»

Космодей (вместо «Асмодей»).

Писсажик (пейзаж).

Мясо, непригодное к пище (тарусская газета).

Траурный картёж (вместо кортеж. — «Последние известия» — радио)».

Ей нравилось непере译имое чешское слово: *хцип-лый* (уже по звуку понятно, что оно вбирает в себя и слабость, и лень, и вялость, и «малахольность» — тоже не имеющее точных синонимов русское слово). *Хциплость, хциплота, охциплёла* — этими «производными» Ариадна Сергеевна пользовалась и устно, и в письмах довольно часто, так же, как и:

От немецкого: *зер занудлих* (скучно, нудно);

и еще, совсем вольно: *Нихт гетрессен* — образованное из глагола «треснуть». «Ничего, не треснете», — любила повторять она, когда мне очень не хотелось, вернее я ленилась делать что-либо, не слишком интересное и увлекательное.

Было у Ариадны Сергеевны несколько специфических, часто ею употребляемых поговорок, словечек, которыми она играла, «шалила» (как в случае с пуш-

кинским «у гробогага входа»). «*Будет ли жить-то?*» — говорила она о человеке, которого чрезмерно захваливали. Одно из ее «присловий» родилось так.

Ариадна Сергеевна переписывалась с Александрой Захаровной Туржанской, крестной Мура, жившей во Франции, была очень привязана к ней и звала по-родственному: Шуринька. И с той, и с другой стороны приходилось объясняться порою «подцензурно». И вот однажды Ариадна Сергеевна показала мне письмо от Александры Захаровны, кончавшееся загадочным: «Х. тебя Б.», что означало: «Храни тебя Бог». Невольно (по ассоциации с лагерным жаргоном) она рассмеялась над почти неприличным созвучием; оно, разумеется, пополнило наш шуточный лексикон.

Не только в разговоре, но и в письмах она любила употреблять так называемые «простонародности»: *Утрёсса, третьёвось, бóзнять, чегой-то, двистительно* — и т. д.

Несколько оборотов, взятых Ариадной Сергеевной из чужого, чуждого обихода:

оптом и в розницу (о непрошенных, незваных «гостях», рвущихся поглядеть на «дочь Цветаевой»);

шедевр мирозданья (иронически, о какой-нибудь ерунде);

очень даже свободно (о некоей маячившей впереди неприятности);

как без блох (обойтись без чего-либо как приятного, так и неприятного);

с большевистской прямотой;
кровопотливо; банда кретинов (об «официальной» глупости).

И еще одно, часто употребляемое Ариадной Сергеевной выражение, — ко мне, во всяком случае: *верблюжья харя*. «Уберите верблюжью харю», — требовала она, когда видела на моей физиономии выражение неудовольствия. В связи с этим вспоминаю нашу с нею поездку летом 1963 года в Палангу. Приехали мы туда на сутки или двое из Лиенаи (Либавы), куда она решила свозить меня после нашего тяжелого трудного лета работы над цветаевским томом «Библиотеки поэта». В Паланге жила Анастасия Ивановна Цветаева с внучкой Ритой. Паланга, после тихой Либавы, показалась мне отвратительным скоплением снобов, разряженных и амбициозных, важно разгуливающих по главной улице; скопления людей я никогда не выносила, — отсюда — «верблюжья харя» и слова Ариадны Сергеевны. Не могу отказать себе в удовольствии привести слова из письма Ариадны Сергеевны к Елизавете Яковлевне Эфрон, где описывается быт Анастасии Ивановны в Паланге:

«Живут в боковом отсеке чердака, платят 2 р. в сутки, как и за приличное помещение (но на чердаке уютнее и за беспорядок спросу нет!) — в одном углу иконостас, в другом — 40 грязных бутылок из-под кефира, всё, как обычно. Через каждые полчаса принимают гомеопатию, самозабвенно купа-

ются в очень холодном (+15!) море, после чего пьют кефир, после чего складывают немывтые бутылки в угол, после чего молятся; изъясняются, кроме молитвы, только по франц. и по англ.» (22 августа).

Раз уж я отвлеклась на письма Ариадны Сергеевны, позволю себе процитировать еще несколько юмористических отрывков:

«Не то, что писать, но и читать ничего не в состоянии, кроме тарусской газеты, успокоительно действующей на мою тонкую (где тонко, там и рвется) психику. В гагаринские дни в газетке этой было, например, помещено стихотворение, начинавшееся строками:

«Когда над землей наш майор пролетал,
Здесь, на земле, струдилась *рать* его».

Ведь, не правда ли, свежо и непосредственно?»
(Весна 1961 г.)

Она терпеть не могла тех, кто рвался в Тарусу сенсации ради: посмотреть на цветаевские места и увидеть «саму дочь». Иной раз она встречала таких «сенсационеров», что называется «мордой об стол», прекрасно зная всему этому цену. Равно не терпела так называемую советскую «элиту»,числящую себя в «интеллигенции», делающую вид, что смыслит в искусстве и т. п.

«Недавно навалилась экскурсия каких-то нетрезвых дипломатов с женами — посмотреть «дом Цветаевой». Один из них все твердил: «Неужели здесь жила гениальная женщина, написавшая «Бабушку»? — и спотыкался; второй, начавший дипкарьеру еще при Николае II, целовал мне ручки, заявлял, что хочет остаться здесь навсегда, ибо жена у него — пантера. Пантера смотрела недобрым глазом... Развелась, — продолжает Ариадна Сергеевна, — уйма подающих надежды художников, и была даже выставка в тарусском доме культуры всякой мазни. Бомонд присутствовал в полном составе и раздавал оценки...» (письмо от 11 августа 1961 г.). (Под «бомондом» Ариадна Сергеевна подразумевала семейство Н. Отгена и Е. Голышевой с их гостями, а также Н. Я. Мандельштам, к которой относилась вполне иронически, а в письмах ко мне именовала: «Штампа».)

Еще о художниках (во время поездки по Волге):

«Сейчас стоим в некоем Семигорье, с поэтическим названием, но, между нами говоря, ни в какое сравнение в смысле живописности не идущем ни с Туруханском, ни с Тарусой. Художники искажают пейзажи, как вчера и третьеводнесь искажали городские виды. Во главе художников стоит некий Калиостро и жестоко командует ими — а многим хотелось бы просто пописать то, что они видят!

Среди молодежи мелькают иной раз и весьма пожилые рыла; и все трудятся, не покладая рук — отрадное зрелище! Целый корабль, груженный формалистами, руководимыми абстракционистом же!» (1968).

А вот совсем иной сюжет: «В Тарусе объявились два бандита, укравшие в конторе соседнего колхоза 6 пар часов, предназначенных для премирования ударников, и взломавшие ларек на нашей улице. Там изъяли водку. Пошли на пляж, пили водку, закусывали часами; посланный вдогонку милиционер был ими (бандитами в смысле) избит и обезоружен. Теперь на ночь население спускает собак, а мы — кошку» (14 июня 1968).

(Это насмешливое, но добродушное описание свидетельствует, по-моему, о несколько преувеличенном, усиленном, повышенном (?), увы, не могу подобрать точного слова, — чувстве юмора Ариадны Сергеевны, когда я, признаюсь, не могла разделить его полностью. И в связи с этим должна упомянуть о том, что она, преклоняясь перед гением и масштабом Александра Солженицына, все же не принимала его до конца, — и по одной-единственной причине: «У него нет чувства юмора». Отсутствие юмора, считала она, выражается в его абсолютной и непримиримой ненависти к «блатным». Этого отношения Ариадна Сергеевна никак не могла раз-

делиться: ее собственный опыт общения с уголовниками в лагере свидетельствовал о том, что это — люди, которые помнят добро и т. п.).

Иногда Ариадна Сергеевна в письмах просто «резвилась», не жалея для «красного словца» добрых знакомых.

«Вчера была у меня (и сидела 5 часов подряд), — пишет она мне 7 февраля 1969 г., — Гуллакянша (С. А. Гуллакян, подруга моей армянской подруги Натальи Гончар. — А. С.), слава Богу, жизнерадостная, толстая и без комплексов; привезла в подарок юбилейный армянский календарь, который я сгораю желанием передать Вашему папе, причем не обижусь, если он (папа) передаст его (календарь) дяде Апету. А тому никто не возбраняет переслать его, ну, скажем, католикошу Вазгену 35-му. Гуллакянша, любя, ругала Гончаршу за то, что та, умненькая и способненькая, ленится работать по большому счету; я, любя, поругивала Вас за то же. Время пролетело незаметно... А Шушка, желая произвести выгодное впечатление на Гуллакяншу, все время непринужденно вскакивала на накрытый стол и трясла хвостом над вареньем».

О Шушке, любимой кошке, до того умной, что она вздрагивала, когда по радио произносили название «Шушенское», Ариадна Сергеевна, наверное, могла бы написать целую книгу...

— Шущ, нянька приехала! — возглашала она при моих появлениях в Тарусе, ибо я пестовала первых котят еще в далеком 61-м и фотографировала их.

...Она бесподобно умела поддразнивать, заставить врасплох, разыгрывать друзей. Вот тарусская сценка. Пасмурно, идет дождь, сидим дома. Внезапно Ариадна Сергеевна встает и начинает смотреть в окно — оно выходит на узкую дорожку, ведущую к калитке. Меняется в лице, и упавшим голосом:

— Идут!

Мы с А. А. Шкодиной в испуге вскакиваем, ожидая увидеть на тропинке по меньшей мере вереницу поклонников Марины Цветаевой. Но никого нет. «Аля!» — укоризненно восклицает Ада Александровна. А та веселится, прекрасно понимая, что и через пять минут мы вновь поверим очередному розыгрышу...

Идем как-то по лугу вдоль Оки. Ариадна Сергеевна вдруг начинает усиленно принюхиваться к чему-то. Я вопросительно гляжу на нее.

— Пахнет, — говорит она, произнося «п», как бы выдувая воздух: так она передразнивала меня.

Дело шло к осени, благоуханного цветения не было, да и на обоняние я не жалуюсь. Но Ариадна Сергеевна повторяет, серьезно, даже значительно:

— Пахнет. Лопух зацвел.

Разве можно ей не верить? Лопуха поблизости не оказалось, и я, разумеется, стала по дороге его

искать. Вскоре увидела красные колючки (неизменно вспомнился «Хаджи-Мурат») и, конечно, начала нюхать его. И услышала за спиной:

— Лопух нюхает лопух...

— Смешная... — неожиданно произносила время от времени Ариадна Сергеевна. Или:

— Смешная! — сказал отец Александр...

Для меня это — повод, чтобы вспомнить Александра Александровича Туринцева. Давний, еще с Чехии, знакомый семьи Марины Ивановны, в молодости — поэт и критик, он пережил трагедию: смерть жены, и это перевернуло его жизнь: он сделался священником. Летом 1968 года Александр Александрович приезжал в Москву, и Ариадна Сергеевна меня с ним познакомила; ему было тогда семьдесят два года. Она звала его «светским батей»; отец Александр сохранил свое преклонение перед Поэзией, и в Москве проявлял живой интерес к нашей литературной жизни. Он бесподобно рассказал мне однажды о своих встречах с самыми популярными в то время поэтами, сообщив о некоторых, по тем временам рискованных подробностях. Его непосредственность, чувство юмора и обаяние совершенно покорили меня... И вот, в одну из наших встреч (всего их было две или три), в ответ на какие-то мои слова (совершенно не помню, о чем шла речь, да и это не важно), он вдруг, вложив в свой голос все мыслимые модуляции и интонации, которыми повелевал безукоризненно, с чув-

ством восхищения и даже какого-то ликования — произнес:

— Душенька моя, какая вы... (И, не найдя другого слова): — смешная!

Думаю, Ариадне Сергеевне это слово показалось близким. Ей, с высоты ее судьбы, я и мне подобные, — ничего, в сущности, не испытывавшие, не видевшие, — казались порою смешными детьми, и наша с нею двадцатилетняя (всего-то!) разница в возрасте ощущалась, как пропасть между разными эпохами. Зато тем сильнее было ее участие в моих проблемах, которые она воспринимала не просто близко к сердцу, а — пропуская сквозь собственное сердце. Об одном таком случае я хочу рассказать.

В январе далекого 1962 года со мной произошла беда. Под моей редакцией вышел том стихотворений Пушкина — с жуткой ошибкой: стихотворение «Лицинию» было напечатано без середины: середина (кажется, 44 строки) выпала при расклейке, когда книга готовилась в набор, а в корректурах ни я, ни корректор этого не заметили (да и не читала я корректуру). В смятении отправилась я к директору и «донесла» на себя, взяв, конечно, всю вину.

Меня не уволили, хотя и грозили, — а лишь понизили в должности. Главное же, однако, состояло в том, что именно в это время я собиралась в Дом творчества в Комарово и считала дни, мечтая увидеться там с Анной Ахматовой. Из-за всех волнений и хлопот я опоздала в Комарово на целые сутки, что было главным огорчением.

Ариадна Сергеевна переживала случившееся гораздо сильнее меня. «Если бы Вы знали, *какая это все чушь!*» — заклинала она. Но вот я наконец прибыла в Дом творчества, и чуть ли не на следующий день пришло письмо. Открываю конверт. Внутри — открытка: гравюра с портрета Пушкина. На обратной стороне — стихи (по старой орфографии):

«Подъезжая подъ Либаву
И збвая без конца,
Я вспомнилъ про забавы
Милаго Саакянца...
Всѣ вспомнивъ, всѣ прощаю
Я тебѣ, мой друг Аннетъ,
Объ одномъ лишь умоляю:
Не губи во цвѣтѣ лѣт!
Не нацель движеньемъ длани
На меня перо — копьѣ,
Не поставь подъ ликомъ *няни*
Ты фамилие моѣ!

(Шуточное посланіе А. С. Пушкина къ декабристу гр. А. А. Саакянцу, сосланному в Гослитиздатскую область — фондъ баронессы фонъ-Ахматовой) руку приложилъ архивариусъ Еврезфронъ де Скарронъ.»

И в другой раз Ариадна Сергеевна так же неожиданно ответила мне — только уже не от имени Пушкина. Но здесь необходима более подробная предыстория.

В 1967 году «Литературка» (№ 43) напечатала главы из поэмы А. Вознесенского «Зарев»; слово это обозначало, сообщала газета, «старославянское

Творческая погр либаву
 И зывав безь конца,
 Я воспоминия про забаву
 Милого Саакянца ...
 Все воспоминивъ, все проваляю
 Я тебе, мой другъ Алексей,
 Обь одномъ лишь умоляю:
 Не губи во цвѣтѣхъ лѣтъ!
 Не камиль двинекъвѣиъ глами
 На лѣтѣхъ перо-келье,
 Не простиавъ погръ либовъ
 Тыхъ драммихъ моехъ!

(Шутливое послание
 А. С. Пушкина къ декаб-
 ристу гр. А. Д. Соакянцу,
 сосланному въ Големитин-
 датекую область — фондъ
 баронессы фонъ-Ихмаровой)
 рукою приписана архиве-
 рией Евразской де Скарри

Шутливое послание А. С. Эфрон на открытке с портретом А. С. Пушкина.



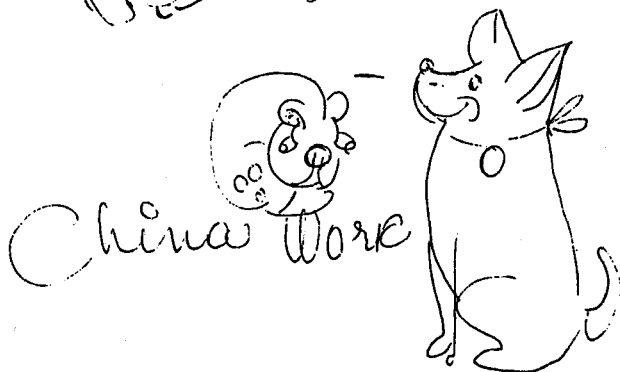
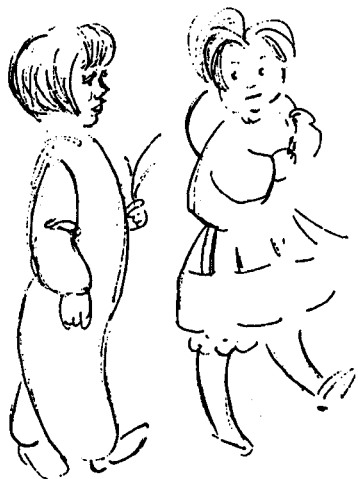
Рисунки А. С. Эфрон.



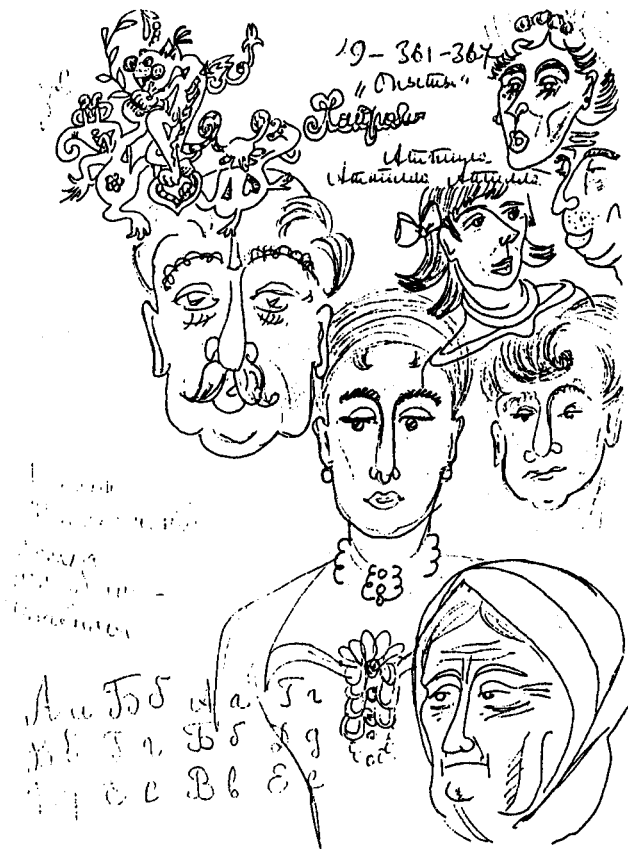
Рисунки А. С. Эфрон.



Рисунки А. С. Эфрон.



Рисунки А. С. Эфрон.



Рисунки А. С. Эфрон.

название августа, месяца осеннего рёва зверей». В духе этого «рёва» и была, как нам с Ариадной Сергеевной показалось, написана поэма, вернее, некоторые ее строки, возмутившие наши естественные представления о поэтическом. К сожалению, нельзя обойтись без примеров, ибо иначе будет непонятен финал этой истории.

Сначала поэт заклинает свою Музу *развязать ему язык*: «Развяжи мне язык от коросты прононсов, от стандартных вязиг, и не так, как коллег от ка-сторки проносит, развяжи мне язык...» Еще пуще: «Как у девки отчаянной, были трубы мои перевязаны, разреши меня словом. Развяжи мне язык», и т. д., и т. п. Этим «развязанным» языком автор бичует желтый Запад, с его провокаторами, пытающимися «прощупать» советского поэта; упоминаются продажные «писаки», а также некий субъект, «гладковыбритый, как писсуар», и вообще этот сосуд назван не однажды, как и те, кто в нем нуждается. Это — «оптимист в меховых штиблетах», а вот «зябко писает пессимист». («Созвучия смыслов», как у Цветаевой, однако не получилось...»).

В общем, возмутились мы с Ариадной Сергеевной этим «непотребством» (притом так называемую «идею» поэмы, естественно, проигнорировали вовсе). И написала я Вознесенскому письмо, где называла жанр его творения «анально-гинекологическим». «...неужели великий Париж запал в Ваше сознание... писсуарами и творимыми в них

немудрящими ритуалами? — изопрялась я в остроумии. — Но, как говорится, каждому свое...» Писала об «урологических корчах», о «публицистическом ёрничестве», — словом, постаралась. Впрочем, не сомневалась в том, что ответа не получу...

И вдруг он пришел, ответ! На конверте — почерком с завитушками — был написан и обратный адрес.

Вскрываю. Читаю:

«О Анна! Прочтя послание,
Я весь задрожал, как лист...
Спасибо Вам за внимание!
(Но это, конечно, свист!)
Мне, право, до Вашей лапочки,
Писавшей злые слова,
Не более, чем до лампочки
В сортире Толстого Льва!
Поймите! Я чист хрустально —
Как ватер* кремлевский, чист.
И писаю оптимально,
Как писает оптимист!

А. Вознесенский.

* (клозет).

Нужно ли объяснять, кто был на самом деле автором сих строк? Уже при виде конверта стало ясно, что это — проделка Ариадны Сергеевны. «Проделка»? Беспощадная сатира.

...Ариадна Сергеевна могла имитировать, пародировать любой стихотворный жанр и стиль.

В 1965 году ей заказали переводы из Мольера; я переписала для нее в библиотеке несколько стихотворений из старинных мольеровских изданий. В благодарность получила послание по-французски, стилизованное под французского классика. А также на русском:

Прелестный Саакянц! Я сражена
Сим проявленьем дружбы без примера.
Вам самому не более нужна
Поэзия великого Мольера,
Чем фижмы — волку, соловью — тромбон,
Чем талье — прибавление в объеме!
Но если терпит бедствие Эфрон,
Наш верный Саакянц уже на стрёме.
Сколь дивно встретить на своем пути
Соратника, соавтора, собрата,
Который добр, как ангел во плоти,
Хоть носит кличку «Тигр Гослитиздата»!

(Так прозвал меня, за дерзости, В. Н. Орлов.)

И вновь, восхищаясь жизнеутверждающим, артистическим (в старинном смысле этого слова) талантом Ариадны Сергеевны, вспоминаю, вспоминаю...

Подарила она мне как-то красивую расческу, а в придачу — «экспромт», подшутив над моими пристрастиями, симпатиями — в данном случае речь шла о П. Г. Антокольском и И. Л. Андроникове: «Для Пáшечки, Ирáшечки//Чеши свои кудряшечки,//Но осторожно, кисанька://Не то проступит лысинка,//Как у твоих соколиков://Ирáшек, Антоко́ликов!»

Прозвища, которые она придумывала, были бесподобны. Геракл, выпедший из лона Андрона — Ираклий Андроников; Бандаранайки (по имени тогдашних государственных деятелей Цейлона) — Бондаренки, семья знакомых — скульптора и художницы; наконец, я сама — овцезмей, змэа (змея) и т. д.

А ее замечательные карикатуры, шутливые зарисовки во время работы над Цветаевой или над переводами, — им не было числа, и лишь немного удалось спасти, чтобы не выбросила...



Завершаю финальными словами Марины Цветаевой из очерка «Наталья Гончарова», изменив лишь имя:

«Кончить с <Ариадной Эфрон> — пресечь.
Пресекаю».

Ариадна Эфрон

Письма разных лет

16 апреля 1961

Анечка, не знаю, как и благодарить Вас за «Гончарову»¹. Это для меня просто огромная радость. Никакой «истеричности» нигде не заметила, а просто мне кажется, что мы чудесно встретились в жизни, полюбили друг друга — я также беспокоюсь, когда умолкаете Вы... Я надеюсь и верю, что мы с Вами хорошо поработаем вместе над тем, что нам дорого обоем. Я недоверчиво отношусь, — как это ни странно — к тем, кто «любит Цв.» — для меня это настолько ко многому обязывающее понятие! Но вот мне думается, что Вы любите так, как надо — и ей, и мне. И у Вас есть абсолютный на нее слух, т. е. та одаренность именно к ней, без которой невозможна абсолютная к ней любовь. Надеюсь, разберетесь в этом открыточном косноязычии. Срок сдачи Лопе² неопределенно отодвинулся на осень, также неожиданно снизили почтовую плату на 3 р. — немало! Сейчас начинаю бешеную уборку всей

зимней грязи, к к-ой не притрагивалась, а Лопе пока побоку. *Не увлекайтесь О.*³, не посылайте слишком много, очень понемногу посылайте, поверьте мне! Портрет в клетч. платье⁴ не из лучших, испорчен ретушью. Дня через 2 напишу как следует (?)

М. б., в мае приедете? Спишемся. Целую. Ваша А. Э.

Как Тагор?⁵ Нет ли денег? Лопе подвел...

¹ Я переписала в библиотеке из журнала «Воля России» для Ариадны Сергеевны очерк М. Цветаевой «Наталья Гончарова» и послала ей в Тарусу.

² Ариадна Сергеевна работала над переводом пьес Лопе де Вега.

³ Речь о В. Н. Орлове, составителе первого посмертного сборника М. Цветаевой.

⁴ Ариадна Сергеевна имеет в виду фотографию М. Цветаевой (Чехия, 1924 год).

⁵ Ариадна Сергеевна ждала гонорара за переводы Р. Тагора.

⟨Май 1961⟩

Анечка, воистину два слова, т. к. разболелась рука (застудила). Вы знаете, любовь — к человеку, к поэту — одним словом — любовь, это такая же тайна и такой же дар Божий, как талант, и что тут можно объяснить. Стихов я тоже не только не люблю — не выношу! и никогда не читаю (стихов «вообще»). Люблю трех-четырёх поэтов во всей их совокупности, что ли (поэтов со стихами вместе). — На маму я совсем не похожа, я совсем другой породы (отцовской) и не лучший ее представитель.

Но печать свою мать на меня поставила, как в Песни Песней. Она бы очень любила Вас, больше того, именно в Вас она нуждалась. Откуда я знаю? Да дело в том, что (без всякой мистики, я к этому не склонна!) она мне многое в жизни говорит, м. б., больше, чем при жизни. Горько, что Вы с ней не встретились, хорошо, что встретились со мной. Я многое Вам расскажу и доверю.

А. А.¹ приедет завтра, я ей рада. О Вашем приезде спешимся, очень хочется, чтобы была хорошая погода, и Вы увидели бы Тарусу — колыбель маминого творчества, — во всей ее красе. Кроме того, через забор продемонстрирую Вам мамину старшую сестру Валерию, старую чертовку, истинную ведьму, *стоит посмотреть*. Ужасная подлюга.

Спасибо за Тагора², купите еще парочку, если не трудно — пошлю в США «за Челюскинцев»³. Эти мои переводы так разругали, что я больше и носу не кажу в Вост. ред. и к последующим изданиям не имею уже отношения. Из-за робости и гордости обнищала и отощала и вообще, кажется перехожу на пенсию... Ады Ал. Скоро напишу.

Пока целую.

Ваша А. Э.

¹ Ада Александровна Шкодина.

² Сборник поэзии Р. Тагора с переводами А. С. Эфрон.

³ Ариадна Сергеевна очень хотела вставить в книжку Цветаевой стихотворение «Челюскинцы»; в архиве она обнаружила

лишь его отрывки. Стихотворение было напечатано посмертно в 1946 г. в газете «Советский патриот»; его текст прислала А. З. Туржанская (крестная Мура) из США; Ариадна Сергеевна послала ей в благодарность за «Челоскинцев» стихи Р. Тагора.

16 мая 1961

Милая Анечка, только вчера отправила Вам какую-то сомнительную открытку — то ли писала Вам, то ли не писала в ответ на рецензию Твардовского¹ — плодом этих горестных раздумий и явилась открытка, а сегодня получила следующую Вашу весточку, и опять надо утомленному лентяю браться за перо. Чем мне семь верст киселя хлебать — учитывая, что опять дождик — до почты, где прямая связь с Москвой только что-то около двух неудобнейших часов в сутки, а остальное время надо пытаться «связаться» через Калугу, м. б., проще будет Вам послать мне телеграмму? Хорошо было бы, чтобы Вы ее дали, узнав у Орла, до какого числа он будет в Москве и вообще желает ли меня лицезреть в этот заезд. Он мне писал, что будет в Москве в июне. Отменяет ли его майский — возможно, скоропалительный заезд в Москву июньскую поездку? Мне ведь отсюда выбраться не так быстро и нужно было приехать ближе к концу месяца, и если Орлов приедет на 2—3 дня, мы рискуем с ним разминуться. А вообще-то я, конечно, рада буду его повидать, он много сделал для маминой книжки и многое принял близко к сердцу, что не так-то часто встречается у людей пожилых и многоопытных!

Насчет «живописань»²: я Вам дала все сведения по этой строке — черновые и беловые варианты (беловой Вы, по-моему, сами видели), с Вас и спрос. Макаровские же и Орловские соображения по этому поводу мало меня интересуют. Только на моей памяти (Вас еще тогда на свете не было) одного из Гослитовских редакторов сняли-таки с работы за замену пушкинской «птички божьей» (не знающей ни заботы, ни труда) «птичкой вольной». Дело было году в 23-м, фамилия пострадавшего — Калашников (и Пушкин).

Относительно Вашего приезда: разбивайтесь в лепешку, но не откладываете — вдруг что-то помешает Вам или мне! Надо непременно застать хоть хвостик ранней весны, соловьев, цветение сирени, разнообразие оттенков молодой листвы, пока она не смешалась еще в одну сплошную, общую и ничью, зелень. И меня надо Вам застать, пока я еще несомненно жива, и прогрессирующий идиотизм не завладел мною окончательно.

Увы, после маминой смерти, и более близкой по времени и пространству (когда мама умерла я ведь сама была «по ту сторону») — смерти Б. Л.³, я твердо убедилась в том, что и сама непременно умру. Раньше, даже на самом краешке жизни я не задумывалась о том, что и мои дни сочтены. А теперь знаю, что прожито уже много-много, осталось мало-мало, и надо торопиться. Торопиться же что-то не хочется.

Сейчас дивно цветут вишни, сливы, черемуха. Я уже несколько раз навещала домик маминого

детства — и очень хорошо, т. к. «отдыхающие» еще не наехали (домик на территории дома отдыха) и было пустынно и тихо. Вокруг дома растут четыре высоченных ели, когда-то посаженные дедом в честь четверых его детей.

Побывала и на могиле Борисова-Мусатова (он умер в этом же цветаевском доме и похоронен неподалеку). Там чудная скульптура Матвеева — и какой вид на Оку!

Целую.

Ваши А. Э.

¹ Имеется в виду внутренняя рецензия на рукопись первого посмертного сборника М. Цветаевой.

² Речь о стихотворении М. Цветаевой «Стол»: «Квиты: вами я объедена, // Мною — живописаны» (вместо «живописаны» В. Н. Орлов упрямо предлагал читать «Мною ж вы описаны»). «ЖВЫЮПИСАНЫ!» — часто шутила Ариадна Сергеевна, повторяя этот «неологизм».

³ Б. Л. Пастернака.

26 июля 1961

Милая Анечка, сперва, по велению сердца, о Тарусе, потом о делах. Таруса: переменная облачность, временами осадки, ветер слабый; дни короче, утра и вечера прохладней; малина, вишни, черная смородина превращены в варенье; огурцы съедены нами и частично слизняками и не засолены, и то слава Богу, выбрасывать меньше; А. А. уехала на неделю в Москву (до понедельника), мы с Шушкой¹ вдвоем; утром бегу на пляж, купаюсь,

«общаюсь» с полуголым бомондом и обратно. Мика Голышев² появился на след. день после Вашего отъезда; общается с «сюрреалистами» и какими-то, одетыми не больше, чем в раю, блондинками — художницами из ВГИКа; последнее обстоятельство делает улыбку его мамаша несколько натянутой.

Мандельштамихин салон работает на полную мощность — вниманию публики предлагается дирижер Лео Гинзбург (открыватель и извлекатель из Ташкента Керера³) — с дочкой и «Победой», множество околотитературных и околоживописных; устраиваются Мандельштамовские чтения; у конкурирующего Оттеновского салона — Цветаевские чтения. О проникновении в суть читаемого поведает Вам следующий эпизод: Елена Мих. и Н. Д. на пляже мне: «Вчера собрался у нас кое-какой народ... Мы им читали Цветаеву и нашли такую, уж такую грубую опечатку — а печатали-то Вы, А. С.! Вместо «Грязь брызгает из-под колес» Вы напечатали «Грязь брезгует из-под колес»⁴ — ха-ха-ха! Я в ответ тоже «ха-ха-ха», как можете себе представить!

А вот с Лопе никак дело не движется; застряла на рифме «свадьбы», а на нее есть только «усадьбы» и «наsr... бы»...

О делах: документы на прием⁵ (анкета, сведения о лит. работах (!), заявление и автобиография уже отосланы на предмет рекомендации бюро. Пока что

без личного знакомства с секретарем секции — это приложится. Рекомендация бюро как будто бы обеспечена, т. к. одну из рекоменд. для вступления давал мне как раз Маршак, а Звягинцева⁶ знала меня маленькой и трогательной, авось не устоит. Вот только с фотографиями не вышло: местный фотограф по имени Серафим, несмотря на имя, закатил мне такую харю, что из шкурных соображений не решилась присовокупить ее в требуемом кол-ве экз.: посмотрят — откажут, как пить дать.

Книжки, сказали мне, потребуются неск. позже, видимо, не для бюро, а для комиссии приемной; впрочем, кому они вообще нужны?

Сов. Кит. поэзия, пьесы Франции и Варналис у меня есть по 1 экз., старого Тагора и Незвала нет, но Незвал и не нужен, я даже в списках его не указала, так же, как и неведомую мне самой и неизвестно где вышедшую некую антологию чешской ли, словацкой ли поэзии. Ищи их, тащи их, а там переводов-то с гулькин нос.

Хорошие переводы у меня: Гоффштейн (хотя и мало); Варналис (почти вся книжечка) и Арагон, этих хотелось бы собрать по 3, а остальные — «как Господи».

Писульку Владыкину⁷ прилагаю, м. б., ее можно (скорее) подать просто в издательстве без промежуточной почты, если неудобно почему-либо, вложите в конверт, напечатайте адрес, хорошо?

Орел в августе недосыгаем и для меня; а в сент. он мне не нужен, т. к. девать его некуда — в мезонинчике замерзнет к черту — не класть же его, простите за вульгарность, с собой спать внизу — слишком столычная штука для нас, простых советских людей, но там видно будет — м. б., и положим!

Великодушные редакции с Орловской фамилией (подготовка текста)⁸ меня просто потрясло. Угрызаться-то будет не он — а я, причем всю свою жизнь, что там не моя фамилия стоит. Редкий для меня случай тщеславия (в данном случае не «тще» (и не «славия»). Очень мне дорога и очень мною выстрадана именно эта, первая посмертная книжечка. И дорого мне далась «подготовка текста» и «составление» — мне, только что вернувшейся из ссылки, последними слезами плакавшей над сундучком с разрозненными остатками архива — жизни. Не простая это была подготовка, и в данном случае Орловская фамилия вместо моей, дочерней — издевательство «великодушной», а главное — «дальнозоркой» редакции. Лично к Вам это, конечно, не относится, что до издевательства — отношу его к *роковому* (в малом и большом) тяготеющему над семьей. Которой уже нет.

Пока писала Вам и солнце встало, и туман рассеялся — да будет так и в нашей жизни! Обнимаю Вас, люблю, спасибо за все.

Ваши А. Э.

Будьте здоровы и веселы.

¹ Кошкой Ариадны Сергеевны.

² Виктор Петрович Голышев, сын В. М. Голышевой, переводчик.

³ Рудольф Керер — известный в 60-е гг. пианист.

⁴ Речь идет о стихотворении М. Цветаевой из цикла «Поэты»: «Есть в мире лишние, добавочные...». Елена Михайловна Голышева — жена Николая Давыдовича Оттена; «Мандельштамский салон» и т. д. — Ариадна Сергеевна иронически относилась к Н. Я. Мандельштаму и к ее «Воспоминаниям», считая, что та не вправе требовать от людей то, на что был вправе поэт.

⁵ Речь идет о приеме А. С. Эфрон в Союз писателей (секция переводчиков).

⁶ В. К. Звягинцева — поэт и переводчица.

⁷ Г. А. Владыкин — в то время директор Гослитиздата.

⁸ Я написала Ариадне Сергеевне, что Орлов хотел отказаться от указания его имени в подготовке текста «Избранного» Цветаевой (который фактически готовили мы с Ариадной Сергеевной). Но «великодушная» редакция на это не пошла, по причине своей «дальнозоркости»: избегая (якобы) в будущем каких-либо «фокусов» со стороны Орлова. Всю эту чушь я изложила в письме к Ариадне Сергеевне; ситуация глубоко огорчила и оскорбила ее. Подробнее см. об этом в очерке «Как мы готовили издания Марины Цветаевой».

4 сентября 1961

<...> Сажу на крылечке, ловлю солнечные просветы между облаками. На меня глядят во все лепестки последние цветы — огромные, до предела распутившиеся розы, дымчато-красные гладиолусы, лохматые георгины. Сегодня ночью должны быть заморозки, и завтра утром все это великолепие превратится в обвисшие бесцветные лоскутки. Жаль и не верится. А Шупка сидит у моих ног и приводит

в порядок шубейку. Шкурка такая чистенькая, что на солнце отливает радугой.

Скаррона¹ перевела 1-ое действие той пьесы, что Вы переписывали; два дня как взялась за редактирование Лопы, и у меня сейчас же ум за разум зашел. Как бы жаль ни было, а торопиться надо куда активнее, а главное — продуктивнее, чем это у меня получается. Беру в основном усидчивостью, но «оно» не берется. Поэтому сегодня на рассвете тайком на цыпочках удрала в лес, якобы по грибы, а на самом деле по солнечное утро, по природу, по одиночество, по разговоры с самой собой, к-ые только и получаются вне четырех стен, как бы милы эти стены ни были. Разговоры, собственно, не с самой собой, а с другими — с мамой, и с Вами, и с Б. Л. и с еще немногими, независимо от того, можно ли с ними говорить в живой жизни, или уже, или еще нельзя. Когда говорю с живыми — мне это до такой степени заменяет все реальные виды общения, что, выговорившись лесу, месяцами могу помалкивать, и писем не писать, и слыть хамкой — мне все равно. Вот и сегодня уже рассказала Вам все на свете в шестом часу утра, когда Вы спали, впрочем, это не помешало Вам отвечать мне, самой того не зная; ибо мои разговоры никогда не моно, всегда диалоги.

Посмотрела верстку книги Б. Л.² — столько пейзажа, что почти Левитан. Как ни хорошо, а сильно недостает других стихов. Тем не менее и на том

спасибо. Сегодня во сне видела брата, мальчиком лет девяти, шли с ним за руку, говорили глупости, проснулась с ощущением его горячей лапки в своей ладони, и полоснуло по сердцу. *Это ведь забывается.* Зрительная память — и память сердца — сопутствуют тебе всю жизнь, а память *ладони* проходит. И только сон — морока из морок — иногда вдруг воскрешает осязание. Странно ведь...

Переписала свою автобиографию³ еще более бездарно, чем в первый раз написала. Если бы в союз принимали кретинов, то меня приняли бы зажмурясь, и я давно была бы членом правления. Но поскольку эти люди мыслящие и даже в большинстве своем грамотные...

Еще раз спасибо за присланное, дружочек, и за Вас саму спасибо; а что до «Благодарности»⁴, то мама была наиболее благодарнейшим из людей — только чаще всего ей некого и не за что было благодарить. О чем она и написала.

Целую Вас — пишите о своих делах и делишках; что Польша?⁵ Не приостановит ли Вам поездку берлинская рапсодия?

Ваша А. Э.

А. А. целует Вас. От Шушки привет.

Только что получила Ваше письмецо с карточными терминами⁶ и плохим настроением. За первые обратно же спасибо, дивное изобретение Ларусс⁷ — и Вы с ним! а второе — ну его к черту, что это еще за штучки? Не вешать длинного носа, не хмурить пестрых бровей — смотрите у меня!

«Кукументики» для СП уже (?), по теории вероятности, отбыли, конечно же, с Оттенем, но сам он ажиотажа создавать не будет, ибо устал. Я против его ажиотажа — настолько инертная масса, что ему неинтересно. Агитирует он за меня уже два года, а теперь увял, разочаровавшись, ибо я абсолютно неподвластна его шарму и категорически не украшаю собой их «салон». Теперь они делают ставку не на дочь, а на мать — и совершенно правы, давно бы так, а не с Орловым вместе.

Это что, книжка еще до сих пор не подписана к печати?⁸ Тут с неделю назад приезжал Сима Маркиш⁹ и «видел своими глазами», что подписана. Ах, «сколько их, сколько их ест из рук — белых и сизых!»

Целую Вас — улыбнитесь мне! Вот так. Теперь я Вас узнаю.

⟨Приписка на полях:⟩

С Н. Д.¹⁰ получилось смешно — он написал несколько страничек о маме для альманаха¹¹ и перестраховки ради просил подписать Маршака, Чуковского и еще кого-то именитого (забыла!) — подписали все, трое, он в ужасе! Вспомнила — В. Иванов третий!¹²

¹ Ариадна Сергеевна после Лопе де Вега срочно начала переводить пьесу Скаррона.

² Речь о сборнике стихов Б. Пастернака (вышла осенью 1961 года).

³ Для вступления в Союз писателей.

⁴ Очерк М. Цветаевой, который я прислала Ариадне Сергеевне.

⁵ Я собиралась в туристическую поездку в Польшу и Чехословакию.

⁶ Для пьесы Скаррона.

⁷ Знаменитый французский словарь.

⁸ О гослитовской книжке Цветаевой я писала Ариадне Сергеевне 8 сентября: «Книга ушла в печать... подписал цензор, — тупой, глупый и т. п. человек... Он держал ее несколько дней... ничего, пронесло, и тут-то вам помог наш Орлов: цензор прочел демагогическую вступит. статью, пространный комментарий к стихотворению «Маяковскому» и гениальный в своей глупости комментарий к «Стихам к сыну»... И... представьте себе, проникся сознанием необходимости издать данного поэта и даже не стал читать стихов, что, откровенно говоря, и спасло книжку. Теперь, в самом худшем случае, книжка выйдет в октябре». (Книжка вышла в сентябре.)

⁹ С. П. Маркиш в то время — редактор Гослитиздата.

¹⁰ Оттенком.

¹¹ «Тарусские страницы» (вышли осенью 1961 г.). См. также очерк «Священная ревность».

¹² Всеволод Иванов. Статья за его подписью о М. Цветаевой в «Тарусских страницах» очень не понравилась Ариадне Сергеевне.

20 сентября 1961

Милая Анечка, рада была видеть Вашу милую, уже несколько отвыкшую от меня и несколько одичавшую морд (у, очку, апку — на выбор!) — и рыжую прядку, а того более рада буду повидать Вас в осенней Тарусе. Только вот погода капризничает; а Вы не любите «моего» климата... Ну ничего, потерпите! Когда ехала в Москву, все еще было зелено, а на обратном пути лес уже «загорелся» — березы, осины; и вся земля усыпана желтым листом. Иннины!¹

астры стоят у меня на столе, доехали благополучно; лохматые, как современные модницы. В Болшеве у теток² было очень славно, я в первый раз за все лето побыла у них как следует, и поспраждновали тихо и уютно наш общий день. Ел. Як. очень слабенькая, для нее подвиг дойти до калитки и обратно, но весела и радостна и любопытна ко всему по-прежнему. Мне подарили серебряную ложечку и такую деревянную штуку, чтобы письма туда совать, и еще почему-то аиста; последний подарок меня несколько смутил — ведь эта птичка во всем цивилизованном мире занимается поставкой грудных младенцев — а при чем тут я?

Большую радость доставил мне «Старый Пимен»³ — перечитала как бы впервые. Замечательно. И Вы у меня замечательный дружок, милый, все понимающий и чующий, гордый, заносчивый, робкий рыжик, молча одаривающий меня самым — для меня и для нас обеих — бесценным. Спасибо. Как ужасно, что ваше поколение — десятка два людей из него! разминулись с моей матерью — *только* из-за возраста, только возрастом разминулись. Ужасно и непоправимо, как все то, во что *время* вмешивается. Не то, что вас несколько, но Вы одна сумели бы маму удержать в жизни, ибо для Вас (вас) она и писала, Вам (вам) она близка — *Вы* ее настоящие современники. Ее же поколение отставало от нее, говорило с ней на разных языках, — на языках «отцов и детей», самых между собой не договаривающихся.

Да и говорило ли, слышало ли глухонемое время — и племя?

Таруса облепила меня письмами «архивных девушек»⁴. Сепаратно и секретно расспрашивают они меня об одном и том же, а я взываю к их сознательности лозунгами «единого фронта». И вообще они мне (между нами, конечно!) уже осточертели — нездоровая спешка, ажиотаж какой-то. Нет уж, в этот ЦГАЛИ я не ринусь, очертя голову, слишком уж гостеприимны их объятия; как бы не обошли в чем-нб. меня, сиротинушку!

Да, Анечка, еще две просьбы к Вам, одна маленькая, одна побольше — начинаю с маленькой: привезите мне, пожалуйста, баночку клея конторского, только не силикатного, а такого белого (казеинового). Второе: если не трудно — и если трудно — спросите, пожалуйста, у ваших испанцев, как по-испански звучат имена Luis (Людовик), don Pedro de *Cespedo Zamorin* (последние два — не имена, а фамилии). Дело в том, что у Скаррона часть действующих лиц зовется на испанский манер, часть — на французский, а их всех надо привести к одному испанскому знаменателю. *Cespedo*, верно, будет Кеспедо, а вот таинственный *Zamorin*? Что у него может быть в конце — «и», «о», «а»?

И еще одна сверх-просьба — приедете — не везите никакой «кратвы», помимо той, о к-ой специально просит А. А., и никаких подарков. Нам нужны наши две летние девочки⁵, а не волы, волхвы и ослы —

ослы, груженные дарами, волхвы, груженные волами (?) — а такая «тенденция» у Вас есть. (Тенденцию беру в кавычки, прочтя в газете предложение одного читателя выкинуть из программы Коммунистической партии Советского Союза все слова нерусского происхождения.) Что себе думает сей читатель, в частности о словах «программа КП»?

Обнимаю Вас

Ваша А. Э.

¹ И. З. Малинкович.

² У Е. Я. Эфрон и З. М. Ширкевич.

³ «Дом у Старого Пимена» М. Цветаевой я переписала из журнала и отправила Ариадне Сергеевне в Тарусу. (Многого из цветаевской прозы в ее архиве не было).

⁴ Ариадну Сергеевну одолевали письмами сотрудницы ЦГАЛИ, желая получить архив Марины Цветаевой.

⁵ Не помню, с кем собиралась я ехать в Тарусу.

15 декабря 1961

Милая Анечка, о деловом: очень хорошо, что Орел Вас знает, с Вами увидится, и с Вами будет «утрясать состав»¹. До заключения договора всё «слова, слова, слова», и пусть они и будут пока словами, какими угодно. Поймите, что разговор с Вами *одной*, как и со мной *одной*, это разговор не по-существу, ибо нас *двое*. Разговор же с *обеими* до заключения договора будет носить характер уже некоего неписанного *обязательства* с нашей стороны. Когда же договор будет заключен, то командовать парадом будем *мы*, и надо во что бы

то ни стало избежать серьезного делового разговора *втроем* до подписания, чтобы не дать Орлу сесть нам на шею. Вообще же думаю, что *серьезных* разногласий по составу между нами и им не должно быть. Кое в чем у него «не наш» вкус, но в конце концов это не так страшно. Однако считаю необходимым оставить до подписания именно эту лазейку — *несогласованности* — его и Вашей — *со мной*. Понимаете? Договор желательно заключить без различия функций, т. е. чтобы каждая из нас была и составителем, и комментатором, чтобы Орел не смог «разделять и властвовать», навязывая свои желания каждой из нас в отдельности. Если у Вас с ним пойдет об этом разговор, то такое пожелание можно легко и реально обосновать «техническими» причинами; составление — у меня есть то, чего у Вас нет; комментарии без «моего» архива немислимы — с другой стороны, у меня нет физической возможности ходить в библиотечку или рыться в энциклопедиях. Т. ч. без страха подвергайтесь «обработке» — с к-ой я потом буду иметь право (м. б.) частично не согласиться... У Орла трудный характер, и он любит действовать *сепаратно*, нажимая то на одну, то на другую педаль. Для начала предоставим ему эту возможность, чтобы ни в чем не отпугнуть. Договора-то ведь еще нет. И еще: не слишком показывайте наши *дружеские* отношения, чтобы он поелику возможно считал их только хорошим *деловым* контактом. — Относительно «боится». Боится он

вовсе не меня, меня не зная, а того, что я — дочь своей матери и могу быть (не в отношении творчества, конечно!) похожа на нее, т. е. вносить сумятицы и бури и всяческое *не комильфо* в дела и отношения, к-ые должны идти в строгих рамках корректности. Не говоря уж о том, что само творчество цветаевское абсолютно лишено Ленинградской (Петербургской) комильфотности, присущей, скажем, Блоку даже в самых его мятежных вещах. В общем, все это неважно... Да еще в последнее время я совсем отравила Орла сообщениями об Оттене, коронным номером к-го оказалось проникновение в цветаевскую комиссию². Рядом с тем же Орлом. Номер!

О Розе³: все это, конечно, очень мило, обработка Сосинского и Морковина⁴ — но ведь Роза не работает больше в ЦГАЛИ — вот в чем закавыка. Кто контролирует Розу? Никто. Кто *из нас* ее знает? Никто. Все пущено на самотек ее энтузиазма (?) Меня Роза, например, не ставила в известность об уходе из ЦГАЛИ, а все продолжает фигурировать как их сотрудник. Нельзя сказать, чтобы этот маневр внушал доверие. Мне Розу посвящать не во что, а вот Сосинские уже посвящают и будут посвящать (также, кстати, не зная, что Роза — уже частное лицо, и считая, что «общаются» с ЦГАЛИ) — Вы же читали ее письмо, что они предлагают свои услуги «по загранице» именно *ей*? Господи! Господи! Все эти околоцветаевские сложности... Из-за известия об Оттене в комиссии совершенно не могу днем работать, а ночью спать,

ко всему прочему еще Скаррон возьмет за глотку, ибо сам не делается, и я не в состоянии. Кстати — не сердитесь, но я потеряла, кажется, в эпистолярных своих завалах то, что верный Рыжий выискивал для меня в Ларуссе (что-то о картах). Отдала перепечатать переведенное и увидела, что те пробелы остались незаполненными. Придется еще раз просить Вас нырнуть в Ларусс. Думаю, что прогляжу следующую пьесу (там масса всяких фехтовальных терминов) и попрошу Вас посмотреть одним чохом. Побывайте у А. А.⁵, я ей написала об Оттене, пусть погорчаётся возле Вас. Она, верно, будет Вам звонить.

Бумага. Бумага (отсутствие оной) бедствие всенародное, а на миру и смерть красна⁶. Ничего, как-нибудь. <...> Кроме того, ежели Вас высадят временно, то месячишко передохнете, а потом будет договор с Орлом и некий аванс, к-ый поможет просуществовать и сразу же солидно поработать над книгой. Ведь одних перепечаток сколько будет, не говоря о более сложном. Над архивом, Бог даст, поработаем вместе. А там видно будет <...>

Обнимаю. «Будьте здоровь», как говорит Орлов, хоть никто и не чихает!

Ваша А. Э.

Орлову пока *не давайте* того, что у него нет цветаевского. Обещайте. Будет договор — подберем.

¹ В. Н. Орлов собирался заключить с нами договор на издание Цветаевой в Большой серии «Библиотека поэта».

² Н. Д. Оттен хотел попасть в Комиссию по литературному наследию М. Цветаевой, чему Ариадна Сергеевна воспротивилась.

³ Р. Н. Федулова, в прошлом — сотрудница ЦГАЛИ (РГАЛИ); единственная из одолевших ее работников архива, кому Ариадна Сергеевна ответила. Она помогала нам: сделала несколько фотокопий цветаевских материалов, хранящихся там, и т. д.

⁴ Мы с Р. Федуловой ездили к В. Б. Сосинскому. Впоследствии Ариадна Сергеевна начисто отмела свои подозрения насчет нее. О Морковине см. с. 197—199.

⁵ Ады Александровны Шкодиной.

⁶ Над Гослитиздатом, где я тогда работала, периодически нависала опасность сильной нехватки бумаги, а над сотрудниками — увольнения по сокращению штатов.

3.01.62

Милая Анечка, Шупка тронута Мишкиным¹ вниманием и посланием, и непременно ответит, когда проснется. Она еще не то, что он думает — лень, но погода, собственно подходящая (0°), для того, чтобы *заняться деловыми беседами* (см. письмо Орла, при сем прилагаемое).

Новый год встречали под Оттеповской сенью, в общем, довольно мило — была пестроватая компания, помесь французского с нижегородским, для шипу пустили магнитофонную запись некоей кантаты Баха («к-ой ни у кого нет»), и все минут сорок сидели с одухотворенными лицами и не смели жевать, а кто уже разжевал, тот не смел проглотить и так и сидел с флюсом и очи горе («кроме

меня — кроме меня» — я-то дорвавшись до бесплатного, не стесняла своего здорового аппетита даже Бахом на слова Лютера). Среди прочих была и Наташа Столярова²), отчаянная, приехавшая в 35-ти гр. мороз в «туалете» и в последнем, битком набитом автобусе. Простудилась ужасно и встречала Н. год с темп. 38,7. Жалко ее было. Восседала за столом и Мандельштамша в невероятной клетчатой юбке с двумя аграмадными, с патефонную пластинку, пуговицами на заду, по одной на каждое полушарие, в грязном свитере и розовых тапочках. Наташа мне рассказала (верно, от Мандельштамши узнала), что Оттен, после объяснения со мной, вернулся «черный, как земля, и три дня не мог разговаривать о поэзии. И слышать о Цветаевой.» — Погода сумасшедшая, за 2 дня опустилась до сорока и поднялась до нуля. Замерзли водопр. колонки, а потом оттаяли, и везде наводнения. Даже на нашей Первой Дачной, а про Оттенов и говорить нечего, им всегда больше других надо, так там во дворе целое море. Впрочем — им оно по колено.

Очень прошу еще узнать произношение и ударение *don de Gaspard de Radiffe*, неожиданно возникшего в пьесе. Пожалуйста!

Обнимаем Вас обе, адресат шлет своей чернобурый привет. Она стала очень пушистая и милая.

Ваша А. Э.

¹ Мишкой звали моего кота.

² Н. И. Столярова, секретарь И. Г. Эренбурга.

29 ноября 1962

Милая Анечка! По порядку Вашего письма: жаль, что из тел. разг. Вы поняли в основном, что К. Г.¹ уезжает (уехал во вторник — с женой и Галей²) — это как раз не так уж важно. Я говорила Вам о том, что посвященный Мандельшт(аму) цикл «Проводы» был, по маминой записи судя, опублик. в «Русской мысли» в 1916 г.³ Это важно было бы разыскать, т. к. какие-то стихи, скажем — «целую Вас через сотни», а м. б., и еще — у нас пойдут. Дальше: судя по маминому предв. плану книги 1940 года, в Тагеровском списке⁴ могут быть *стихи*, у меня сохр. лишь в черновиках (очевидно, во время войны пропала беловая тетрабочка посл. стихов, где должен быть, в частности, стих «Марфа и Мария»). Кроме того, просила Вас узнать — м. б., это можно сделать прямо в изд-ве? даты двух последних выступлений чтений Блока в Москве: во Дворце Искусств и в Политехн. музее. О перепечатке текстов после 1916 я Вам говорила, что не важно, *откуда* печатать, а важно, с *чем* сличать перепечатку, а это — дальнейшая наша задача. До сих пор мы брали за эталон рукописи, более ранние, чем изданное, ибо даже не перебелённое носит следы *позднейшей* правки (очевидно, тоже 1939 г.). Помните?

О примечаниях: не думаю, чтобы за них пришлось так уж сильно драться; считаю, что в любом случае Орлов будет держать нашу руку — *он не дурак*. Портить с нами отношения в самом начале,

так сказать Цв-ской «карьеры» он не будет, не станет и общипывать в «свою» пользу, разве уж так, немножко. С матерьялами для статьи я ему помогу (в весьма разумных пределах), ибо мне на руку, чтобы статья была прилична и достаточно «оснащена» и чтобы в *данном* случае писал ее *он*, т. к. он будет лично заинтересован в издании. Ведь книга стоит в плане выпуска 1965 — а он может ее «ускорить» — да и еще многое может, как мне кажется. Так или иначе, согласна с Вами в том, что *драться*, коли придется, будем за каждую (*разумную*) пядь комментариев (если речь пойдет не о разумных сокращ.). *Мое* желание (о коммент.) — дать возможно больше *авторского* материала в них (т. е. — планы рабочие, замыслы, мысли по поводу, существенные варианты и т. д.) — м. б., в *примечаниях* кое-где протащить *толкование* темных мест, напр. «лакированный нуль» из Оды пещ. ходу — «автомобиль», и т. д. «Вступления»: — в тех случаях, когда возможно будет, т. е. будет *достоверный* материал, а не собств. мысли по поводу — дать в них историю создания той или иной вещи, цикла; опять же кое-что разъяснить *смыслово*. Все, что удастся — возможно *компактнее* «Лестницу» хочется и надо дать, но пока по ней *никакого* подсобного материала не обнаружено. Как комментировать такую вещь?? — Об объеме примечаний: конечно же, не дадим тютелька в тютельку, от пол-листа до листа можно и нужно увеличить. — О Госл<итовских> делах

всезнающий Оттен сказал, что Влад(ыкин) будет зам. Фурцевой по изд-вам и полиграфии, т. е. если были у вас «начальством», то теперь станет вашим царем и богом! и что Пуз(иков)⁵ останется *постоянно*, так якобы обещал Влад., прощаясь с руководителями изд-ва. Будущее покажет. — Андр(еева)⁶ конечно дождусь, буду поить-кормить-принимать и т. д. Уехать удастся *не раньше 7-го*, т. е. возня с домом, к-ый в посл. раз остается на Аришу⁷ — больше сторожить не соглашается — очень жаль, и очень все затрудняет.

Не думаете ли дать «Масляницу» из «Рем(есла)»? Перечтите, подумайте! Вообще с 1922 г. оч. трудно. О билетах⁸: посылаю Вам список необходимости, *не подчеркнуты* желательные, но в кр. случае «обходимые», да и еще резерв в неск. штук нужен бы, на последние пожарные случаи. *Если* я опоздаю, т. е. если приеду 7-го, а встретимся 8-го, и это уже поздно для рассылки, то, м. б., разошлете сами, коли дадут нужное количество билетов. — Не считите хамством!

О Морковине⁹: я предупреждала Вас о некоторых его качествах — он торопится продемонстрировать их и Вам... Анечка, *не советую* слишком увлекаться взаимными с ним услугами — увязнете. Вы ведь не частное лицо, а член цв. комиссии, не забывайте. Орлову в его просьбе (насчет комиссии) *ничего* сообщать не следует, т. к. Морк. обращается не с официальным письмом в комиссию, а лично

к Вам, лично и решайте, и отвечайте. Не забудьте: цель комиссии — собрать (и уже собраны) люди, способные «проталкивать» Цв. произведения в печать (а не морковинские, и не о ней, пока, а *ее самое!*).

2. Пополнять *советский* Цв. архив. Комиссия *не* группирует людей по принципу их работы над Цв. темой, или их «взносов» в архив (тесковские письма!) — о Цв. пишут очень и очень многие, здесь и на Западе, архив пополняют тоже многие.

Комиссия собирает (в идеале) людей, *полезных Ц-вой*, реальному делу *издания*, а не тех, кому Ц-ва может оказаться полезной — то, что явно нужно Морк. («протащить», «облегчить поездки» и т. д.). *Ему надо*: получить доступ к нашему архиву: закончить свой «монтаж», издать его в СССР — сделать карьеру. Нам надо: получить доступ ко всем разрозненным цв(етаевским) материалам; издавать *ее*, а не монтажи.

3) не забудьте, что он — *не* сов. подданный; будь он *чехом* — другой разговор; но он русский, принявший чешек. подданство, вернуться сюда не желающий и предпочитающий «ностальгию». Это — чисто *мое* субъективное: я не люблю «туристов» русск. происх. типа Морк. (есть и другие, хорошие) — осторожных снимателей пенек: сам в Чехии, а шумовка — здесь. За тех, кто *здесь* корку черную глодал — пусть и пенки им. Я — за тех, кто *там* остался, п. ч. здешнее *не* подходит; не надо им ни корок наших, ни сливок. Невыносимо мне аккуратное

сиденье между двух стульев... но все это — дело десятое. Напишите ему, что задачи ком(иссии) — такие-то; группирует она людей по такому-то принц. Что людей, собир. цветаевск. материалы и пишущих о ней — очень много, и что комиссия *не* ставит своей задачей группировать их; пошлите его к чертовой матери или ко мне — одно и то же. Повторяю — не стоит о нем писать Орлову: письмо *личное*, а не официальное (Морковинское — Вам.)

Целую Вас! До скорой встречи

Ваша А. Э.

¹ К. Г. Паустовский.

² Падчерица К. Г. Паустовского.

³ На самом деле — в 1923 году.

⁴ Речь об автографах, подаренных Цветаевой Б. В. Тагеру в 1940 году.

⁵ А. И. Пузиков — главный редактор Гослитиздата.

⁶ Андреев Вадим Леонидович, сын Л. Андреева; жил за границей. Осенью 1961 года приезжал в Москву; я виделась с ним в издательстве, и он просил, чтобы Ариадна Сергеевна дождалась его в Тарусе.

⁷ Тарусская соседка.

⁸ На цветаевский вечер в ЦДЛ, с трудом разрешенный секретариатом Союза писателей.

⁹ С Вадимом Викторовичем Морковиным (1906—1973) я, по просьбе Ариадны Сергеевны, встретила в Праге в октябре 1962 года. Он хотел попасть в Комиссию по литературному наследию М. Цветаевой; занимался ее творчеством и постоянно просил меня прислать ему те или иные цветаевские материалы, в свою очередь обещая прислать (в оригиналах либо в копиях) письма Цветаевой к А. Тесковой, которыми в то время занимался, готовя их к печати, и которые так никогда и не послал в Москву. Их отношения с А. С. Эфрон были натянутыми.

19 января 1963

Анечка, нижеследующее — к комментариям о Блоке¹. По сохранившимся записям, мама была на вечерах Блока дважды — в 1920-м году.

1) «Аля: о Блоке и лаве: красном отсвете, принимаемом за жизнь (26 апреля, когда он читал)».

2) Моя запись о Блоке датирована «1-ое русское мая. 26 апр. ст. ст.—9 мая н. ст. (дата чтения в полит <ехническом>. муз.). «1-ое русское мая» — 14 мая н. ст. (чтение во Дворце Искусств.)

Мамины стихи к Блоку были переданы ему 14 мая н. ст. во Дворце Искусств: «...Становилось темно, и А. Блок с большими расстановками читал. Наверно от темноты. Через несколько минут все кончилось. Марина приказала Х. провести меня к Блоку. Я, когда вошла в комнату, сделала вид, что просто гуляю. Потом подошла к Блоку. Осторожно и легко взяла его за рукав. Он обернулся. Я протягиваю ему письмо. Он улыбается и шепчет: «Спасибо». Я... глубоко кланяюсь. Он небрежно кланяется с легкой улыбкой. Ухожу».

(«Отрывок из Алиной записи «Вечер Блока 1920 г. 1-ое русское мая. Але 7 лет. МЦ») (любезно предоставлено Сосинским!)

Никаких записей о том, что и в 1921 мама слышала и видела Блока, нет нигде (из того, чем располагаю).

В «Истории одного посвящения» (1931, неопуб.) — запись: «Город Александров Влад. губ. <...>

1916 г. Лето. Пишу стихи к Блоку и впервые читаю Ахматову.»

Запись о том, как Блок *получил* мамины стихи²〈...〉

«После каждого выступления он получал, тут же на вечере, груды писем... Так было и в этот вечер. — «Ну, с какого же начнем?» Он: — Возьмем любое». И подает мне — как раз Ваше — в простом синем конверте. Вскрываю и начинаю читать, но у Вас ведь такой особенный почерк, сначала как будто легко, а потом... Да, еще и стихи... И он, очень серьезно, беря у меня из рук листы: — Нет, это я должен читать сам.

Прочел молча — читал долго — и потом такая до-олгая улыбка. Он ведь очень редко улыбался...» (запись декабря 1921 г.)

Цитата «Смерть Блока». Удивительно ...из письма к Ахматовой б/д, вскоре после см(ерти) Блока. (Кстати, не «оторвалось», а «оборвалось».) Можно и продолжить; после «жизнь, вообще, допустила», отточие и: «Смерть Блока я чувствую как вознесение. Человеческую боль свою глотаю: для него она кончена, не будем и мы думать о ней — (отождествлять его с нею)».

Еще запись, к-ую можно использовать: «Не потому сейчас нет Данте, Ариоста, Гёте, что дар словесный меньше — нет: есть мастера слова — большие. Но те были мастера *дела*, те *жили* свою жизнь, а эти

жизнью сделали писание стихов. Оттого так — над всеми — Блок. Больше, чем поэт: человек». (б/д., вскоре после смерти Блока).

О Волконском: я думаю, надо расширить; он был не только писателем, но одним из основателей «художеств. чтения и одним из первых его теоретиков и ...практиков». Директор имп. театров, величайший знаток — и глубочайший! — класс. балета и законодатель ритма, — пластики. И это, вероятно, не все.

Он был *внуком* декабриста и одинаково читил и декабрьское восстание и... близость ко Двору своего древнего рода... — «Объяснение» замысла «Ученика» — очень мне кажется «косноязычным» для *комментария*; такое объяснение само нуждается в подробном объяснении. Давать ли? Или, м. б., подсократить? Надо будет еще упомянуть о том, что дружба с С. М. длилась с 1921 всю жизнь; встречались и в Чехии, и во Франции, и переписывались. Кажется, С. М. умер в США. У мамы дата его рождения — 2 марта 1858 г.

Вот что в 1921 г. мама пишет (в зап. книжках) о Волк. «Немудрено в дневнике Гонкуров дать живых Гонкуров, в Исповеди Руссо — живого Руссо, но ведь Вы даёте себя — вопреки... О искус всего обратного мне! Искус преграды (барьера). Раскрываю книгу: Театр (чужд), Танец (обхожусь без — и как!), Балет (условно — люблю, и как раз Вы — не любите) ...Но книгу, к-ую я от Вас хочу — Вы ее не напишете. Ее мог бы написать только кто-нб. из Ваших

учеников, при котором Вы бы думали вслух. Гёте бы сам не написал Эккермана»... (1921, из письма к С. М.) «...Вы сделали доброе дело: показали мне человека на высокий лад».

...Быть мальчиком твоим светлоголовым... (1-го апр. 1921) (NB! — познакомилась с С. М. *раньше* апреля!)

...«Ведь это тот самый Волконский, внук того Волконского, и сразу 1821 — 1921 г. — и холод вдоль всего хребта: (судьба деда — судьба внука: Рок, тяготеющий над Родом...») (1921)

...«Когда князь занимается винными подвалами и лошадьми — прекрасно, ибо освящено традицией, если бы князь просто стал за прилавок — прекрасно меньше, но зато более радостно... но — художественное творчество, т. е. второе (нет, первое!) величие, второе княжество»... (говоря об отношении обывателя) — 1921.

...«Его жизнь, как я ее вижу — да впрочем его же слово о себе! — «История моей жизни? Да мне искренно кажется, что у меня ее совсем не было, что она только начинается — начнется. — Вы любите свое детство? — Не очень. Я вообще каждый свой день люблю больше предыдущего... Не знаю, когда это кончится... Этим, должно быть, и объясняется моя молодость.»

...«Учитель чего?—Жизни. Прекрасный бы учитель, если бы ему нужны были ученики. Вернее: читает систему Волконского (хонского, как он произносит, уясняя Волхонку)—когда мог читать—Жизнь».

Между этими записями поток «Ученика».

(Не для комм(ентария)!—«С. М.! Ваш отец застал февр. Революцию?»—Нет, только Государственную Думу (пауза). Но с него и этого было достаточно!»)

К сожалению, о цикле «Ученик» записей (подробных) нет. М. б., в другой тетради, но вряд ли.

Запись о богатых, для «Хвалы богатым», у нас есть; вот еще одна, равнозначущая, м. б., подойдет к тому же комментарию:

«Желая польстить царю, мы отмечаем в нем—дарование, свойство характера, удачное слово, т. е. духовное, т. е. наше.

Желая польстить *нам* цари хвалят: чашку, из к-ой мы их угощаем, копеечного петуха в руках у нашего ребенка, т. е. вещественное, т. е. *их*, то, чем *они* так сверх—богаты.

...Каждый до-неба превозносит в другом—*свое*, данное тому в размерах булавочной головки» (1921).

Эти листочки сберегите, т. к. копии нет. Что-нб. да пригодится.

У нас новостей нет (чего и Вам желаем) — окромя того, что Рюрик сбежал от культурши и поселился... у Казакова³, к-ый был очень удивлен. Больше того удивилась почтальонша, к-ую пес сбил с ног на казаковской территории (бывшей щербаковской). Конфликт быстро утрёсся. Холод все время стоял жуткий, сегодня, кажется, погода чуть смилостивилась и завтра «дую» на базар, чтобы оставить А. А. добрую память по себе в виде сметаны. Судя по всему Оттены про ваш визит не прознали (через Мандельштамшу, она, верно, забыла написать — или оказалась тоньше, чем я ожидала, да простит нас Господь...) Двистительно, мы с Солженицыным обменялись нотами по поводу ватных штанов И. Денис.⁴, но ничего интересного в этом нет... Что мне Гекуба?

Итак, до скорой встречи. Я ошеломлена кол-вом Ваших свободных дней — от пятницы до вторника... М. б., новый шеф Вас уже высадил из лона (Андрона?)⁵.

Целуем АСАА!

¹ К циклу «Стихи к Блоку». Мы с Ариадной Сергеевной работали над комментариями к цветаевскому сборнику (Большая серия «Библиотеки поэта»).

² Запись М. Цветаевой сделана со слов Н. А. Нолле-Коган; в ее квартире останавливался Блок, когда приезжал в Москву с выступлениями.

³ Речь об овчарке, принадлежавшей семье скульптора Бондаренко («культорша»); писатель Ю. Казаков в то время жил в Тарусе.

⁴ А. С. Эфрон написала А. И. Солженицыну письмо, в котором заметила неточность (я не помню подробности) в описании одежды Ивана Денисовича (к самой повести «Один день Ивана Денисовича» она отнеслась восторженно). Солженицын ответил ей запиской (от 9 января) и поблагодарил, согласившись с ее замечанием. Словечко «двистительно» — шутка Ариадны Сергеевны.

⁵ Шутка Ариадны Сергеевны: обыгрывание первой строки ее «эпиграммы» на Ираклия Андронникова, начинавшуюся строкой: «Выйдя из лона Андрона...»

14.6.65

Милая Соавтор, попросила Т. Л.¹ позвонить Вам завтра и передать, что Вам нужно будет позвонить 18-го утром К. Г.², чтобы сговориться, когда передать ему рукопись³, к к-ой он вновь обещал написать, pardon, врезку (?). Он сказал, что рукопись вернет быстро. На всякий случай повторяю тел. и адрес: Б 7-48-49, Котельническая наб., Высотный дом, кор. «Б», кв. 83. Боюсь, что мы неправильно поступаем, посылая в «Простор» собственную стряпню в виде монтажа; м. б., надо было им самим предоставить право кое-что выбросить по их усмотрению из трех подлинных вещей; не сомневаюсь, что *теперь* можно оставить больше, чем мы это сделали год или два тому назад. Попросить К. Г. написать два слова и о самом музее (это ведь Алма-Ата, не Москва!) Алма-Ата, кстати, в Казахстане, где тетя Ася⁴ проводит, как Прозерпина, 6 месяцев в году... в аду своих простынь.

Не миновать им печатать ее мемуары! (Не простыням — «Просторам»!) Целую, будьте здоровы, кушайте щавель! Сердечный привет родителям.

Ваша АЭ.

¹ Татьяна Леонидовна Бондаренко.

² К. Г. Паустовскому.

³ Монтаж из очерков М. Цветаевой об отце и Музее Александра III; эту публикацию предложила редакция алма-атинского журнала «Простор»; К. Г. Паустовский должен был написать вступление.

⁴ А. И. Цветаева.

12 сентября 1966

⟨...⟩ По поводу елабужских дел¹ послала императивную телеграмму Елинсону Литфондовскому, т. к. по тел. связаться с Москвой не было никакой возможности; неполадки на линии; кстати и электр. выключают на 10—12 ч. подряд; холодильник течет, керосинки коптят... Тут скульпторы; Гарик² отправлен в Эстонию «работать» — под присмотр и на шею тамошней приятельнице Т. Л. — Пауле, у к-ой и без того хлопот полон рот. П. И. болеет, Т. Л. копается на участке и скучает. Скоро уедут. Я ужасно устала от всеобщей сутолоки, Адиной нервозности (хотя очень *старается* быть терпеливой, и вообще старается, но и годы, и нервы, и голова — не те). — За все время удалось «отъединиться» лишь для ответа на неск. писем и перевела начерно 1 стих Верлена — 3 строфы ничего, 3 — никуда; даже *безвкусно*, что с моими переводами не так часто случается.

О Вашей заявке³: по-моему, столько уж было «ждать», что можно и еще подработать, п. ч. в таком виде — явно слишком коротко, явно слишком наспех, бегом. «Диссертации», конечно, не надо, но солидности и продуманности, а также объема (по крайней мере вдвое!) по-моему недостает. Написать ее за Вас я не могу, т. к. вообще не умею писать такие вещи, а кроме того, совсем не представляю себе, что, как и о чем именно *Вы* (из всего цвет. богатства) будете писать. Из нашего единственного разговора на эту тему ничего не вышло, т. к. я Вам навязывала себя, а Вы сами еще тогда для себя своего плана вещи, композиции и содержания — не выяснили.

Мне кажется (именно, «кажется» — я ничего не навязываю!) надо: 1) в начале сказать о том, что, мол, имя МЦ, еще десятилетие тому назад известное лишь немногим, теперь, благодаря вышедшим двум книгам и большому кол-ву публикаций в столичной и периферийной периодической печати стало известным широким кругам сов. читателей, и не только советских — а и читателей братских стран; сборник ее лирики вышел в Венгрии; к 25-летию со дня смерти выходит сборник в Чехословакии и готовится — в Польше; и там появляется много переводов ее произв. в период. печати. 2) Сказать о творчестве Цв. — сколь оно многообразно, многообразно, многожанрово (лирика любовная, лирика «политическая», философская, сатирическая; поэмы

(и разнообразие их тематики); пьесы — (от камерной романтики до глубинных трагедий человеческих страстей) — критические статьи; воспоминания; дневниковые записи; биографические рассказы; статьи-реквиемы (о писателях, собратях, друзьях) и, наконец, м. б., и — эпистолярное искусство, к-му уже (по опубликованному хотя бы) — можно отвести целый раздел?) 3) Сказать в общих чертах (самых общих) — о линии жизни и ее переплетении с линией творчества: от ее довольно внешнего открытия себя, своей юности, прелести, схожести с романтизированными образами — личностями Башкирцевой, Камераты, Жанны д'Арк и другими — в ранних стихах, в юношеских и др., до познания своей несхожести и глубинности — в дальнейшем, об отождествлении себя с Крысоловом и — Федрой; о переломе в творчестве после отъезда из СССР — после недавней щедрой раскрытости — зашифрованность его, отчасти объяснимая внезапно наступившим отсутствием читателей и подсознательным обращением к тому, умному, глубокому (вглубь проникающему) читателю, к-ый — уже понимавший Маяковского, уже пытавшийся всерьез постичь сложное и условное в искусстве — остался в России? (Или — дать зашифрованность в виде вопроса: почему?) 4) М. б., помняв местами 3 и 4? — после слов о творчестве, сказать о противоречивости его, о противоречиях в нем; о том, что это — не хаотичность или внутр. анархизм, а — поиски истинной, глубинной правды,

вечный спор с самой собой; «Лебед. стан» — и записи в тетр., свидетельствующие о *понимании* происходящего, о *революционной* любви к народу; «царь, вы были неправы» — и стихи к «Врагу» (Луначарскому?) и еще примеры, их достаточно; и, сказав — веско и продуманно — о сложности и противоречивости — сказать о насущной потребности нынешнего читателя в *расшифровке* этих противоречий и сложностей, в непредвзятом, объективном *анализе* этого творчества, не на основе скороспелых, поверхностных выводов из зачастую неверно прочитанного, неправильно понятого, а на основе глубокого *всестороннего* изучения всего — опублик. и неизданного — лит. наследия, биографических данных, скрытых причин, побудивших автора на создание тех или иных произведений; на основе *глубокого* проникновения в материалы творческие и биографические.

5) Сказав о том, что творч. МЦ будут, несомненно, посвящены еще многие и многие работы (создание к-ых сегодня еще, м. б., затруднено труднодоступностью многих существенных для правильного понимания не только творчества, но и важных биографических моментов материалов) — перейти к самой заявке на книгу МЦ, основываясь на том, что Вы работаете над творчеством и жизнью МЦ свыше десяти лет⁴; что, помимо изучения материалов в гос. хранилищах, с 1960 г. Вы работаете над цвет. архивом, находящимся у меня, и таким образом имеете доступ к неопубл. материалам, черновикам, пись-

мам, проливающим новый свет на многое, а также к новым поступлениям в архив из частных собраний в СССР и за границей; что в 1961 (?) Вы были избраны секретарем комиссии по лит. наследию МЦ; что Вы редактировали первую книгу и составляли (в содружестве с) вторую; что Вы являетесь автором таких-то публикаций (там-то, то-то) и вводных статей к ним; в соавторстве с—то-то то-то;—подготовка новых цв. изданий; не забыть! <...> Подписаться, м. б.—такая-то, ст. ред. ред-ции русской классики изд-ва Худ. лит. (?)—и, непременно, член союза журналистов.

М. б., следует все же набросать примерный план книги? Это зависит всецело и только от Вас, я ведь не знаю, за что именно Вы возьметесь? Если дать это в заявку, то *разделы* должны звучать привлекательно, интересно, **НОВО**.

НО: помните! Не договаривать и не раскрывать козырных карт до конца, чтобы «конкуренты», к-ые будут знакомиться, несомненно, с заявками, не раскрыли бы преждевременно глаза на кое-какие «аспекты», и не *обобрали* бы Вас. Люди, я любил Вас, будьте бдительны!

Что мне *не* нравится в Вашем проекте заявки: речь *об односторонности*—с этим я не согласна по отношению к маме; *верность себе* не есть односторонность; что же если *не?* не знаю сейчас, не думала; а то что — **НЕ**—уверена; *второе*: не нравится, как сказано о «контрреволюции»—не слишком ли много,

во-первых, в такой маленькой заявке? Тут надо опираться не на то, что, мол, в течение 3-х лет славила К/Р⁵, а на то, что славила *обреченность*, что стихи ее — не призыв к победе белых над красными, а опять же *реквием* (для старой России и т. д.) (в то время как реквием для (?) побежденной Чехии — *провозглашение* *утверждение* конечной победы!)

О «сознательной, активной эмиграции» и «отъезде к мужу» если и говорить, то не так любово — это же подарок «конкурентам»! М. б., *обещать* раскрыть причины отъезда МЦ — (в книге) и что они иные, чем принято считать... Говорить, что *давно работаете* над книгой, м. б., не стоит? М. б., сказать, что, давно работая над *темой*, Вы *сейчас* работаете над большой книгой, для к-ой собран у Вас огромный материал, а то, что Вы предлагаете изд-ву — так сказать *квинтэссенция*? Над этим надо подумать. Вы простите за сбивчивость, сумбур, белые пятна и проч., обстановка у меня сейчас до крайности рассредоточенная и дерганная; я думаю, что во всем этом разберетесь.

На днях получила письмо от А. Гладкова — просит «Повесть о Сонечке», т. к. готовит статью о драматургии МЦ и ему важны «источки»; вот результат, увы, наших расшифровок архива в прим. к тому «Биб. Поэта»! Приеду — посоветуемся, как и что ответить. Прислал вырезку из журнала «Театр. газета» (без указ. № и года) с публикацией, в разделе

«Наша эстрада», стиха «Сереже» — «Ты не мог смирить тоску свою» (из Веч. альб. или Волш. фонаря — не помню). Надо скорее Антокольскому пьесы!⁶ Я просила его написать Вам — что ему надо. Письмо это отправит (если не забудет) Евг. Мих., а я приеду — позвоню. Точная дата приезда Кати из Фр.⁷ еще неизвестна (до 15-го в Италии, потом, очевидно, к концу мес. — сюда. Там видно будет). Целую, привет от А. А.

Ваша АЭ.

¹ Ариадна Сергеевна хлопотала через Союз писателей о памятнике Марине Цветаевой на Елабужском кладбище.

² Гарик — сын Т. Л. и П. И. Бондаренко.

³ Я послала Ариадне Сергеевне текст моей заявки на книгу о М. Цветаевой, которую собиралась подать в издательство «Советский писатель». См. также очерк «Священная ревность».

⁴ На самом деле шесть лет.

⁵ Контрреволюцию.

⁶ Мы с Ариадной Сергеевной готовили для изд-ва «Искусство» том пьес Цветаевой; вступительную статью писал П. Антокольский; книга, под названием «Театр», вышла лишь в 1988 году.

⁷ Екатерина Николаевна Старова, давняя знакомая семьи Цветаевой, секретарь князя Ф. Ф. Юсупова; Ариадна Сергеевна познакомила меня с нею, когда та приезжала из Парижа в Москву.

22 сент. 1966

<...>Я прочла верстку¹ как могла пристально и кое-где поставила карандашные вопросы — м. б., чего-то недопоняла (т. к. в неспокое) — но Вы ведь будете сличать с текстом. Эпизод с сыном Пушкина куда-то делся — м. б., и вообще в другой вещи?

Головка-то у меня слабовата и обстоятельства не способствуют сосредоточению; сегодня провожаю А. А.², а 25-го уже навалится Евг. Мих.³ — и опять пой-корми и часами *слушай* — и помогай во всех ее новотарусских делах. К Верлену некогда и приклониться, а еще армянские дела⁴ повисли, а надо еще соображать насчет «памятника»⁵. Я думаю написать Твардовскому, как обстоят дела; посоветуюсь с П. И. Бондаренко — сколько может стоять и *как* (насколько) осуществим *новый скромный* памятник — стоячая плита или *глыба* с высеченным (углубленным) знаком креста и надписью; сколько может стоить транспортировка и установка; думаю — обойдемся без Литфонда, т. к. они, как черти, креста не терпят, а без креста — нельзя; мама была православная; думаю, что все это не должно стоять неосуществимо-дорого; пройдемся с шапкой по кругу и наберем. Такие вещи надо делать не торопясь и обдуманно. Конечно, *старый* купецкий или некупецкий, бывший в употреблении, монумент — недопустим именно в *данном случае*. Я бы допустила — как и мама — *только гробницу Наполеона!* Получив выписку из Литфондовского протокола, отвечу учтиво и «поблагодарю за внимание» — ибо они просто *не ведают, что творят* <...>»

¹ Речь о книге «Мой Пушкин» (вышла в 1967 году).

² Аду Александровну Шкодину.

³ Евгения Михайловна Цветаева — вдова Андрея Ивановича Цветаева, унаследовавшая дом Валерии Ивановны.

⁴ Ариадна Сергеевна писала для журнала «Литературная Армения» мемуары «Самофракийская победа».

⁵ Имеется в виду памятник М. Цветаевой на кладбище в Елабуге.

30 июля 1967

Анька, привет!¹ С приездом², Рыжик! Надеюсь, что прекрасно Вам поездилось и отдохнулось, хоть и невероятно мало, судя по тому, с какой феноменальной быстротой промелькнул именно этот месяц, такой летний. Впрочем, для Вас он, вероятно, протек медленней: там, где новые впечатления, время идет на цыпочках. А тут оно летело по накатанной дорожке. Как всегда, *сделать* успела из рук вон мало, зато устать сумела порядочно; надеюсь, что у Вас — наоборот (в смысле последней части). Конечно, приезжайте 5-го в Тарусу; к тому времени К. Б.³ с супругой отбудут и комнатка будет свободна, и мы, Бог даст, на месте, хоть и в обалделом состоянии. Поскольку Вы нас в ином виде и не видавали, Вас это не удивит. Увы, Верлена целиком добить мне не удалось; было много гостей, а также несколько хождений в оные, чего оказалось вполне достаточно, чтобы выбить меня из неглубокой моей рабочей колеи. Осталось одно стихотворение, ранее испорченное (моим же) переводом не в ключе, и одно (большое), к к-му еще не прикасалась. Из остальных половина сделана как следует, а половина еще требует дотяжек и доделок. Поскольку речь идет и вообще-то о 280 строках в целом, Вы поймете, в каком темпе я стала работать (над переводами)

вообще; на такое количество строк ухитрюсь угробливать *целое лето!* Пора, пора кончать эту лавочку.

К. Б. с супругой прибыли 28-го, конечно, сунули их в Останкино, это заведение на уровне той красноярской гостиницы, где мы останавливались, но хуже: номера без ванн, и сама гостиница так же далеко от Москвы, как вышеуказанный Красноярск, и, к тому же, гораздо больший бардак, чем там... Встретились мы бесконечно трогательно; К. Б. ужасно *плакал*, вспоминая папу и маму и для него, при всей мотыльковости его сущности (но при железобетонности судьбы) — единственно-настоящее, что было в жизни: встреча с этими двумя людьми: мама — *душа*, отец — *действие* и умение жертвовать собой. Пока что из всех встреченных мною их современников (друзей, знакомых) — он единственный, приблизившийся к *пониманию* их и *пониманию утраты*. Едем в Тарусу завтра, в понедельник; 5-го они должны быть в Москве. Собираю все силенки в кулак — эта встреча будет дорого стоить моей гипертонической хдишлости, учитывая, что присутствие Madame в данном случае абсолютно ни к чему, т. е. противопоказано. Ек. Ник. Ст.⁴ осталась довольна своей поездкой и благодарит Вас за Веру⁵, к-ая развлекала и просвещала ее, как могла. С К. Б. ей присланы какие-то вырезки о Бунине, возьмите их в Тарусе, и обещана книга, к-ую она не успела достать. Кстати, Галя, «чешка», оказалась Морковинской креатурой,

адрес К. Б. получила от Сосинского; все это — одна компания. К. Б. был на высоте.

О делах вкратце: книжечки МЦ⁶ в Лавку не поступали; Кира в отпуске, но договоренность о том, что заказ остается в силе, есть. Н. П.⁷ за всем следила пристально и обо всем договорилась. По Вашем возвращении из Тарусы надо будет взять у Н. П. деньги и звонить в Лавку самой, т. к. Гордоны получили паспорта и скоро отбудут во Францию. Оба абсолютно больны и на последней грани истощения нервного и вообще, — в таком состоянии, что за них страшно.

О получении «пенсионного» аванса из «Искусства»: Келлерман⁸ обо всем договорился с ред. и бухгалтерией, но нужно соблюсти некий политес и подать лично заявление некоему Шубу; не могли ли бы Вы до Тарусы узнать (у того же Маликова) что это за Шуб (зав. ред., или вообще работник изд-ва, как его имя-отч. и когда он бывает в изд-ве, чтобы приехать мне ради этого не впустую).

О памятнике в Елабуге: узнала у Орьева⁹ (он, наконец, на работе), что секретариат дал распоряжение Литфонду связаться с татарскими инстанциями по этому делу; выяснить, что сделал Литфонд, или узнать, к кому обращаться по этому вопросу, он обещал к субботе, но дозвониться до него в этот день не смогла (м. б., у них уже 2 выходных??) — его телефон Д 2-30-45 (Александр Иванович). Если можно, узнайте у него или у указанного им литфондовца, как дела (до приезда в Тарусу), чтобы

я могла написать Рафаэлю¹⁰ и чтобы он действовал со своей стороны. Довести все это до конца я не успела из-за субб.-воскр., а в понедельник с утра надо ехать. До скорой встречи! М. б., тарусская малина еще чуть-чуть дождется Вас! Обнимаю, сердечный привет родителям!

Ваша АЭ.

Привезите 10 пачек «Прибоя», если нетрудно!

¹ Ариадна Сергеевна шутливо передразнивает нашу общую знакомую, которая начинала телефонные разговоры со мной этими словами.

² Я приехала из Польши, где гостила у приятельницы.

³ Константин Болеславович Родзевич.

⁴ Екатерина Николаевна Старова (см. письмо от 12 сентября 1966 года).

⁵ Вера Семеновна Гречанинова, сотрудница Ленинской библиотеки, моя приятельница, которую я познакомила с Е. Н. Старовой.

⁶ «Мой Пушкин» М. Цветаевой, вышедший в изд-ве «Советский писатель», подготовленный Ариадной Сергеевной и мною.

⁷ Нина Павловна Гордон, подруга А. С. Эфрон.

⁸ Юрист в Союзе писателей.

⁹ Один из чиновников Литфонда.

¹⁰ Рафаэль Мустафин — татарский писатель, принимавший участие в хлопотах по поводу памятника М. Цветаевой в Елабуге.

15 февраля 1968

Ну вот, милый Рыжик, Вы и «на свободе»¹. Надеюсь, что Вам все хорошо — и комната, и погода, и кто-то из окружающих, и что отдыхаете во все лопатки. Тут все то же — те же хлопоты (тети

и не-тети); во дворе потеплело, -8° , -5° ; дело к весне движется.

Звонил Миндлин², он ездил в Ленинград по приглашению — читал свои воспоминания (Манд., Платонов, МЦ и др.) в 4-х местах, говорит — большой успех, большой интерес, только в Союзе пис. народу собралось маловато, и интерес был «на тормозах». Книгу его воспомин., принятую и 30 раз проверенную и 100 раз сокращенную, неожиданно затребовали «наверх» и — держат. Он волнуется. Я спрашиваю, мол — нет ли там воспоминаний о «Третьем Толстом»?³ — Есть. Ну вот и разгадка, не тревожьтесь, мол.

Говорила ли я Вам, что Асина книга⁴ получила в изд-ве резко отрицательную оценку (и рецензент был подобран соответствующий) — теперь Антоколь хлопочет перед Лесючевским о других, *иных* рецензентах — тот вроде бы обещал.

Получила письмо от М. С. — первой жены К. Б.⁵ — она делает «доклад» («на факультете в семинаре»?) о «Марине в быту» (!!!) и ...просит у меня сведений. «К сожалению, я ничего не записывала, а письма ее уничтожала — они были чисто бытовые», наивно добавляет она.

Наконец получила письмо и от своей Ируси⁶, кроме сообщения о смерти ее мужа неск. месяцев тому назад ничего не имела и очень за нее беспокоилась; она переехала в город Мехико (до этого жила в сотне килом. от столицы) — переезд, укладка,

раскладка и пр. были очень трудны. Да и сама жизнь, естественно, стала труднее и опустошеннее. Приложение — большое и свехидиотское письмо Вадима Морковина, ею полученное. Правда, в основном оно касается Каверина, к-ый во время поездки в Чехосл. что-то через кого-то у него узнавал — в то время как «должен» был обратиться лично и с соответствующим реверансом. Два дня подряд свободных — перевожу с утра до ночи, а сейчас бегу за хлебом насущным.

Целую!

Ваша АЭ.

¹ Я ездила в Комаровский дом творчества.

² Э. Л. Миндлин, писатель (ему посвящен цикл стихотворений М. Цветаевой «Ученик»); автор книги мемуаров «Необыкновенные собеседники».

³ То есть об А. Н. Толстом (по аналогии с воспоминаниями И. А. Бунина «Третий Толстой»). Воспоминания Э. Л. Миндлина «Необыкновенные собеседники» вышли осенью 1968 года.

⁴ Книга А. Цветаевой «Воспоминания» вышла в 1971 году.

⁵ Мария Сергеевна Булгакова, первая жена К. Б. Родзевича. На ее просьбу Ариадна Сергеевна откликнулась большим письмом, в котором, в частности, опровергала слова Булгаковой о том, что Цветаева якобы «третировала» своих друзей, помогавших ей.

⁶ Ирина Владимировна, дочь Владимира Ивановича и Марии Николаевны Лебедевых, друзей Цветаевой по эмиграции.

4 июня 1973

Милая Анечка, спасибо за прелестный подарок — Буняшу в верейской (не путать с еврейской!) одежке¹. Само собой разумеется, что комментарии

достойны автора (книги), а автор (книги) — комментатора. Вообще же — что за чудо Бунин; где только, на какой странице не распахни наугад — жизнь, живая жизнь, навсегда живая жизнь! До такой степени живая, что — оторвешься, глянешь на секунду машинально в окно, и сегодняшний день начала лета, во всем его цветении, отцветании, многолистье и многоптичье, во всей его, главное, сегодняшности, кажется плоской картинкой с календаря, и вообще *ничем* не кажется! Какой талант, Господи Боже ты мой, каким вместилищем таланта был этот маленький, сухонький, недобрый человек с пронзительным недобрим взглядом, которого привелось когда-то встретить, и (когда-то!) — осознать.

Живем тут тихо, майская тишина еще чуть длится, соседи (Цв.) еще не переехали насовсем, Бондаренки — тоже, и поэтому пока ни лишних шумов, ни вторжений. Правда, три дня гостила одна из приятельниц А. А., но от нее также не было ни стуку, ни дрюку, т. ч. А. А. даже несколько разочаровалась. Погода пока стоит прелестная, мне самой на зависть; но даже и не мечтаю куда-нб. хоть неподалеку выбраться, пока так болит нога. Особенно свирепствует она ночью, тем самым смещая и дни, когда воленс-ноленс досыпать приходится недоспавшее. Это, наверное, полиневрит какой-нб., т. к. боль все время перемещается от стопы до самых до окраин; иногда вдруг затихает — чтобы собраться с новыми силами. Но — твержу, как царь Соломон «и это пройдет», добавляя русское «авось».

Умерла бабаженина² сестра, та самая, к-ой Вы в Польшу посылали «звездочку» — явно не успевшую дойти. Овдовевший же супруг — поляк по национальности и по языку, т. ч. ему этот дар и вовсе ни к чему. Валентина Мих. была очаровательная женщина, и жаль, что нет ее больше...

«Звезда» прислала договор на продолжение³; только к нему надо присовокупить творческую заявку, а я заявлять не умею и поэтому все откладываю.

Целую Вас (мы обе) и еще раз спасибо за Буню. Сердечный привет родителям!

Ваша АЭ

¹ Я послала в Тарусу подготовленный и откомментированный мною одготомник И. А. Бунина («Художественная литература», 1972) с иллюстрациями и рисунками на суперобложке О. Верейского.

² Сестра Евгении Михайловны Цветаевой (последнюю Ариадна Сергеевна шутливо называла «Баба Женя»).

³ Речь идет о «Страницах былого», написанных Ариадной Сергеевной; первая их часть вышла в журнале «Звезда» в 1973 году, вторая — в 1975-м.

9 июля 1973

Милая Анечка, я тоже давненько Вам не писывала — и даже не ответила на предыдущее Ваше письмо, на которое только и могла (бы) ответить своим абсолютным несогласием на «символические» похороны МЦ на Ваганькове¹. Символики и так во всем этом и во многом еще — через край.

Единственное, что следует сделать, это восстановить на елабужском памятнике надпись «похоронена в этой стороне кладбища» — и надо всерьез подумать, как это осуществить; м. б., надо еще какое-то «постановление», т. е. как-то легализовать необходимую акцию? Или — надо добиться приемки памятника Литфондом, который как-никак его финансировал, и, при приемке, установив несоответствие оформления памятника и надписи с утвержденными, вынести решение о необходимых изменениях (дополнениях)? Боюсь, что если высекать надпись (и крестик) — так сказать «зайцем» — неприятностей местных не оберешься, так много «мельтешения» (о серьезном, настоящем, не говорю) вокруг данного кладбища и памятника. Дополнительные средства потребуются, по-видимому, небольшие, их можно будет (было бы) собрать просто среди коммиссии.

За время отсутствия А. А. и вообще всяческого присутствия за исключением неизбежных добрососедских посещений я начерно закончила переводы, с невероятным на этот раз трудом; помимо всего прочего я еще и переутомлена всячески и все время и во всяком действии превозмогаю и переламываю эту усталость и все сопутствующие хвори. Теперь дам переводам немного отдохнуть от себя и на (посвежевшую?) голову постараюсь домыть их (не мытьем, так катаньем) <...>

Рука (пока) прошла, нога еще напоминает о себе, одним словом — полиневрит...

Пока целую крепко, будьте здоровы, пусть все будет хорошо.

Сердечный привет всем родным и близким!

Ваша АЭ

¹ Отношение Ариадны Сергеевны к материнской могиле было весьма тяжелым и сложным. В Елабуге она никогда не была, хотя одно время говорила и писала, что, если начнутся поиски могилы и более или менее определится место захоронения, то она поедет «опознавать останки» — по смещенному шейному позвонку. Меня всегда удивляло и страшило это намерение: ведь пришлось бы трактором разрушать множество чужих останков; представить себе все это было невозможно. Не говоря уже о том, что уверенность в успехе была весьма гадательна... Как бы там ни было, тема перезахоронения всплыла в 1973 году, когда была создана новая комиссия по литературному наследию Марины Цветаевой. Тогда было решено хлопотать об изданиях Цветаевой, а также и о перенесении останков в Москву, на Ваганьково. По поводу этих дел мне пришлось очень много заниматься пустыми хлопотами и суетой, результаты от которой были «близкими к нулю», — как я сообщала Ариадне Сергеевне. Привожу свое письмо от 2 июня 1973 г., на которое она мне и отвечает:

«Постепенно собираются подписи (все нынче очень «теучи», и то один уползает из Москвы, то другой)*. Итак, Алигер, Огнев и Данин пойманы (троих еще нет в Москве, а Катаев в больнице, и Орлов сказал, что придется без его подписи обойтись). Алигер настроена вообще против всякого перенесения и поисков. Огнев и Данин, не сговариваясь, предлагают одно и то же: устроить символическое перезахоронение (земли с Елабужского кладбища), провести «митинг», а Данин предлагает тогда перевезти и памятник, — изменив, естественно, надпись на нем. Бумагу о перезахоронении все подписывают, она может понадобиться.

Кроме того, я пыталась узнать у людей, которые больше меня понимают в таких делах, — и вот, оказывается, что

* Члены комиссии.

за 30 с лишним лет могло *ничего* не сохраниться (даже через 15—20 лет)—это зависит от почвы, да еще она и в глубине как-то смещается; люди по прошествии 15 лет после смерти родственника имеют право хоронить в одну могилу с ним; и было так, что *ничего* не было—или переместилось или, скорее всего, превратилось в землю. Насчет же земли (Данин считает, что ее следует поместить в урну) нужно подумать. Может быть, так и сделать? И в этом-то Симонов и поможет? Ведь все равно надо через Литфонд делать то же самое, что и при перезахоронении. Я была бы за, так как из двух «зол» (а первое зло—то, что до сих пор в Елабуге) нужно *выбирать* наименьшее.

У всех, к кому еще пойду, я спрошу (не навязывая),— все расскажу. Огнев и Данин еще считают, что поиски на таком пространстве нереальны* и что дело не в деньгах, которые они бы собрали (!)

Из-за резкой позиции Ариадны Сергеевны всякие разговоры об условном захоронении в Москве, разумеется, были окончены.

Поэтому у меня так и остался первый экземпляр—оригинал!—ходатайства Комиссии в Союз писателей, со всеми почти подписями. Ведь эта бумага была состряпана еще в марте, затем последовал долгий сбор всех подписей и, наконец,—«вето» Ариадны Сергеевны. Так документ стал «историческим».

В СЕКРЕТАРИАТ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Комиссия по литературному наследству Марины Цветаевой на заседании 2 апреля 1973 года рассмотрела вопрос о состоянии места захоронения поэта.

Как известно, М. И. Цветаева была захоронена на кладбище г. Елабуга, причем место захоронения было затеряно.

* Помнится, речь тогда шла о площади приблизительно восемь на восемь квадратных метров (примеч. 1997 г.).

В настоящее время, в результате произведенных тщательных разысканий, местонахождение могилы установлено совершенно точно.

В связи с этим комиссия считает необходимым перезахоронить прах М. И. Цветаевой с Елабужского кладбища в Москву, на Ваганьковское кладбище, где находятся могилы ее родных, в частности — ее отца, профессора И. В. Цветаева, выдающегося русского ученого, основателя Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Просим поручить Литературному фонду СССР предпринять соответствующие меры по перенесению праха М. И. Цветаевой на Ваганьковское кладбище, захоронению ее рядом с могилой отца и установке на новом месте надгробного памятника.

Председатель комиссии

Члены комиссии:

(В. Н. Орлов)
 (М. И. Алигер)
 (П. Г. Антокольский)
 (Д. С. Данин)
 (А. Л. Дымшиц)
 (В. П. Катаев)
 (Л. Л. Лавлинский)
 (А. А. Михайлов)
 (В. Ф. Огнев)
 (Б. А. Слуцкий)
 (А. С. Эфрон)
 (А. А. Саакянц)

Секретарь комиссии

(Май 1973)

19 июля 1973

Милая Анечка, получила письмо от Саломей¹, в котором она пишет о книге писем, только что (т. е. в начале этого месяца) прочтенной ею, и, по ее словам, совсем недавно выпущенной². Издана книжка YMCA-PRESS (молодежная христианская [американская] ассоциация) — в Париже;

составители — Глеб Струве и его племянник Никита Струве же. Письма: Л. Эллису, В. Розанову, А. Ахматовой, О. Черновой, В. Сосинскому, Л. Пастернаку, Б. Пастернаку, В. Буниной — с приложениями. Так что взяты они в основном — кроме Муромцевских³, у нас же, в Сов. Союзе, в госуд. архивах, в списках и пр., при участии всяких окололитературных воришек <...> и около же лит. ротозеев <...> Такие дела. Постарайтесь созвониться с Марг<аритой> Иосиф<овной> (если она в пределах досягаемости) и узнайте, не собирается ли она сама к дочке или дочка — к ней⁴, на предмет безрисковой доставки этой книжки от Саломей, к-ая ее предлагает; но не посылать же по почте! В общем, нужна верная оказия — чтобы кто-то сумел провезти через таможду — и чтобы к перевозящим рукам не прилипла (книжка).

Я тоже еще раскину мозгами («в этом направлении»), а пока напишу С. Н.⁵, чтобы она держала книжку у себя, до востребования <...> Я живу помаленьку; жаль, что лето — уже под откос. Удастся ли Вам что-либо стоящее с отпуском?

Целую

Ваша АЭ

Сердечный-пресердечный привет родителям и Пирожным!⁶

¹ С. Н. Андроникова-Гальперн, знакомая Цветаевой, много помогавшая ей материально.

² Книга вышла в 1972 году под названием «Неизданные письма». См. очерк «Священная ревность».

³ Т. е. В. Н. Муромцевой-Буниной.

⁴ Дочь М. И. Алигер Мария жила в то время в Лондоне, как и С. Н. Андроникова-Гальперн.

⁵ Саломее Николаевне Андрониковой-Гальперн.

⁶ Шутливое прозвище, которое Ариадна Сергеевна дала моей тетке.

1 июня 1974

Милая Анечка, ну что у Вас слышно, как папино здоровье, самочувствие, подтвердился ли диагноз?¹ Представляю себе Ваши волнения и тревоги, столько их пришлось пережить самой, что это — единственная материя, в которой «разбираюсь». Дай Бог, чтобы пронесло тучу мороком и чтобы всё обошлось благополучно. Добралась с приключениями², т. к. в момент отъезда небезызвестная Вам Шушка сбежала по пожарной лестнице на балкон 9-го этажа, и обнаружилась лишь после часовых поисков на пределе утлых сил... Несостоявшаяся весна запоздала неслыханно, все окружающее — как в 1-й декаде мая, сирень выглядит гречневой крупой, пионы и нарциссы (много вымерзло) только собираются цвести, яблони еще придерживаются. На огороде — сплошная отсталость и недоразвитость.

Целуем, напишите словечко!

Ваша АЭ

¹ В мае мой отец перенес второй инфаркт.

² В Тарусу.

4 июля 1975

Милая Анечка, спасибо за весточку. Пишу более, чем кратко, т. к. изнываю от своих «корешковых» болей в позвоночнике, на господа Бога и на преднизолон уповая — что, мол, помогут¹. Если Вам не противно², то, м. б., в отпуск свой захотите приехать на старое тарусское пепелище дня на 3—5, покупаться, погулять, грибков пошарить. «Сервиса» не обещаю прежнего, не та стала, но авось голодать не придется... Если надумаете, позвоните 9-19-16, договоримся точнее. Пока целуем, маме³ сердечный привет от «обех».

АЭ.

В одном из ближайших № «Москвы» должна быть А. И. Цв<етаева> с Иловайским и Адединой Патти!

¹ См. очерк «Тарусский закат».

² Не помню, кто именно из знакомых так выражался; мы часто шутливо употребляли эти слова.

³ Папа умер 7 октября 1974 г.

Это — предпоследнее письмо, написанное мне Ариадной Сергеевной.

«С открытым сердцем к человеку»

(В. Б. Сосинский)

Познакомилась я с Владимиром Брониславовичем Сосинским* осенью 1961 года.



Экслибрис «Из книг В.Б. Сосинского»

* В печати он выступал под именем *Бронислав Сосинский*.

Но вначале — предыстория.

1960 год. В. Б. Сосинский с женой и сыном (старший уже учился в Москве) собирается возвращаться на родину из Соединенных Штатов, где в течение нескольких лет работал в ООН.

Перед отъездом он встречается во Франции с К. Б. Родзевичем. Константин Болеславович вручает ему письма Марины Цветаевой — самое дорогое, что у него есть, — и взволнованно просит немедленно передать их из рук в руки Ариадне Эфрон.

В начале лета 1960-го Сосинский уже в Москве; он извещает Ариадну Сергеевну, что привез письма.

«...встреча с К. Б. — чудо! — пишет она 5 июня. — Чудо из чудес, то, что он сохранил письма. Спасибо вам обоим, «собратьям» этих чудес! Я немного приду в себя после этих непоправимых дней (кончина Б. Л. Пастернака — А. С.), и тогда мы встретимся». (Жила Ариадна Сергеевна тогда постоянно в Тарусе, а Сосинские поначалу — под Москвой, на станции Отдых.)

В конце июня они послали Ариадне Сергеевне телеграмму о встрече; она ответила, что уезжает на месяц в Латвию, «...из Латвии я напишу вам подробнее, а пока берегите мои сокровища, за которые я вам *несказанно* благодарна».

Однако и в ноябре она все не могла найти время для встречи: «...тысячи причин моему затворничеству», — писала Ариадна Сергеевна.

В январе следующего, 1961 года, она сообщает, что не может встретиться, что до середины мая страшно занята.

Почему она не торопилась? Потому что была убеждена: письма в надежных руках, а сама она заглядывать в них не собиралась: не могла, и никогда не прочла.

Иначе относился к этому Владимир Брониславович. Горячий почитатель Цветаевой еще смолоду, когда в 1926 году писал своей юной невесте Ариадне Черновой: «После Блока одна у нас — здесь — Цветаева!» — разве мог он устоять перед соблазном? Конечно, он прочитал письма, а прочитав, не удержался и начал потихоньку их переписывать. Успел переписать одно целиком и отрывок из другого, а потом извлек из пакета Родзевича групповую фотографию, на которой были Марина Ивановна и Константин Болеславович, переснял ее, на обратной стороне переписал фразу из цветаевского письма и передал через посредника... Анне Ахматовой.

Не помню точно, каким образом узнала об этом Ариадна Эфрон, — только 30 января 1961 года к Солинскому пришло ее письмо:

«Милый Володя, мне неожиданно попала в руки мамина фотография, подаренная Вами Ахматовой (очевидно, переснятая со снимка, пересланного мне К(онстантином) Б(олеславовичем) через Вас — кусочек групповой фотографии пражского периода). На той стороне — Вашей рукой цитата (Вы, верно, ее помните,

т(ак) ч(то) не повторяю) — датированная 9.XI.1923. Не будете ли Вы так добры написать мне, откуда эта цитата? Буду Вам очень благодарна».

После чего встреча, разумеется, состоялась мгновенно, и письма были отданы Ариадне Сергеевне, и та немедленно наглухо их запечатала... Они и сейчас никому не известны, — за исключением того, что переписал Сосинский и что мы узнали после кончины Ариадны Эфрон.

Суть этой истории она рассказала мне в самом начале нашего знакомства, весной 1961-го. Ариадна Сергеевна хотела, чтобы я встретилась с В. Б. Сосинским, — и осенью для этого представился удачный случай.

В конце сентября 1961 года вышел первый посмертный поэтический сборник Марины Цветаевой — маленькая книжка. Сосинский попросил Ариадну Сергеевну достать ему эту книжку, в ответ на что она переадресовала его ко мне.

И вот 30 октября мы в первый раз встретились. Владимир Брониславович приехал в Гослитиздат, где я тогда работала. Был очень оживлен, даже весел; запомнился его щегольской вид, который ему придавал ярко-красный шарф. Держался с необычной, непривычной свободой и какой-то наивной непосредственностью; говорил громко, хорошо поставленным баритональным тенором; в его превосходной русской речи едва заметно улавливались интонации, неизбежно приобретенные человеком,

долго жившим на Западе. За те десять — не больше — минут, что проговорили, вернее, говорил он, — Владимир Брониславович успел рассказать о привезенном им драгоценном архиве, часть которого была отобраана на таможне, о записи маленькой Али, которая на вечере Блока в Москве чуть ли не тянула поэта за руку, чтобы познакомить с Мариной Ивановной... Затем стремительно удалился, взяв с меня слово, что я приеду в Отдых через два дня.

Симпатию к нему я почувствовала сразу. Его легкомысленный поступок с цветаевскими письмами, с моей точки зрения, не имел значения. Ибо человека либо принимаешь сразу, либо — нет. Главным в Владимире Брониславовиче для меня раз и навсегда стало его доброе, жизнеутверждающее начало и искренняя расположенность к людям.

2 ноября я ездила в Отдых, и этот первый визит длился целый день. Хозяева встретили меня чрезвычайно радушно; пылкость Владимира Брониславовича «уравновешивалась» сдержанностью жены его Ариадны Викторовны, — однако искренность обоих не вызывала никаких сомнений. Первые часы (именно часы!) прошли в рассказах (Владимира Брониславовича) и расспросах (Ариадны Викторовны). Потом мне показали цветаевские рукописи, надписи на книгах, перепечатки ее стихов и прозы. Я поражалась и умилялась аккуратности и любви, с какой все это было собрано, скопировано. Сразу же,

не дожидаясь моей просьбы, перепечатали на машинке неизвестное мне цветаевское эссе «Родина не есть условность территории...» (ответ на анкету журнала «Своими путями») и подарили. (Забегая вперед, скажу, что за долгие годы нашего знакомства я никогда ничего не просила у Владимира Брониславовича, он всегда радостно дарил сам.)

Еще показали огромную роскошную книгу А. Ремизова, написанную ремизовской «ввязью» и диковинно им же разрисованную. И потрясающий альбом фотографий знаменитого Шумова (у него в молодости работал одно время Владимир Брониславович) с множеством изумительных портретов — от Виктора Чернова до Огюста Родена. Там же — фотографии Марины Цветаевой — три или четыре. С тех пор, то есть с 1926 года, художественных фотопортретов Цветаевой больше не было. Рассказали, что у матери Ариадны Викторовны, Ольги Елисеевны Колбасиной-Черновой, много писем Цветаевой, ей адресованных, что она собирается переезжать в Москву. Я, выполняя желание Ариадны Сергеевны, посоветовала снять фотокопии с рукописей, а оригиналы отдать в московский цветаевский архив, — и вообще весь архив Цветаевой собрать в Москве; советы мои были, как мне показалось, восприняты с полным пониманием.

Впереди предстояло еще много интересного; Сосинские приглашали послушать голоса Ремизова и Ахматовой, показать то, что не успели

в первый мой приезд. Настойчиво звали приезжать «запросто», отправив предварительно открытку, в какой день.

Второй раз я, вместе с Р. Н. Федуловой, приехала в Отдых недели через три, — и в тот день впервые увидела письма Марины Цветаевой к юной Ариадне Черновой, шестнадцати-семнадцатилетней «Аденьке». И книгу «Ремесло», надписанную еще в 1924 году: «Ариадне Черновой — полу-дочери и полу-сестре». Помню, какое огромное впечатление произвели на меня цветаевские письма, и особенно одно, от 1 апреля 1925 года, где Марина Ивановна доверяет корреспондентке, которую считала самой даровитой и умной из всех девушек-подростков, свои заветные мысли о невозможности жить «на-яву», вне мечты о том, что всякая жизнь — *тесна́*. И особенно пронзила фраза: «В жизни, Аденька, ни-че-го нельзя, — *Nichts — gehen*». Прямолинейно перенеся эти слова на окружающую действительность в целом, я не уставала повторять их чуть ли не всем, хотя редко находила отклик. Упоминаю об этом для того, чтобы подчеркнуть, что знакомство с Со-синскими и их сокровищами было некоей вехой в моем самообразовании.

Их любовь к Цветаевой, преданность ее семье чувствовались в каждом слове. Я не записывала наши беседы; однако ныне могу «компенсировать» этот пробел, процитировав отрывки из переписки «Володи» и «Ади» 1926 года, когда они были жени-

хом и невестой. Эти отрывки много позже мне подарил Владимир Брониславович, пожелав, чтобы я использовала их по своему усмотрению.

«8 февраля. В этот вечер, в этой тишине можно писать только Тебе, Аля. Самая прекрасная книга, самое дорогое перо выпадут из рук, если они не о Тебе. Промчался за окном поезд — и снова тихо, — тише, чем было. Ольга Елисеевна спит, Марина Ивановна и Сергей Яковлевич у Шестова. Аля, после занятий со мною по арифметике и первой после Твоего отъезда игрой в английского дурака, — плывет с Муром из шестого в седьмой сон...

Тишина и мое одиночество — исчезли от стука дверей: вернулись М<арина> И<вановна> и С<ергей> Я<ковлевич>.

9 февраля. М<арина> И<вановна> пишет замечательное об Адамовиче, после ее статьи — Адамовича перестанут печатать.

15 февраля. Ближе всех ко мне, после О<льги> Е<лисеевны>, С<ергей> Я<ковлевич>. Удивительный, прекрасный — большой человек. И такой милый, что мне до сих пор иногда стыдно с ним. Аля по-прежнему безумно мечтает о кинематографе — после Твоего отъезда ее ни разу не пустили туда. Больно за нее: целые дни, недели с Муром — и ни одной радости, ни одной награды за это. Каждый день встречает меня возгласом: «Володя, вы согласитесь пойти со мною в кинематограф?» — «Конечно, Аля». Но приходит 8 1/2 часов, Аля изобретает тысячи способов вымолить, умолить... Все бесплодно: парк, письма, хорошее поведение, обман, прилежание к арифметике и т. д. В первый же раз, когда ей разрешат — свезу ее в лучший кинематограф Парижа — на Дугласа — «Дон Х».

24 февраля. Я с Алей занимался арифметикой: ширина и длина одеяла столько-то, сколько пойдет материи (ширина

50 сантиметров)) на подкладку. Выяснили—но одеяла так и не сшили...

Февраль 1926. Вчера вечером—в первом часу, когда я читал перед сном Достоевского в постели, вошла М(арина) И(вановна) (целый день ее не видел). До этого в комнате О(льги) Е(лисеевны) слышал ее голос: «Где Володя?» Помню—ласково и как будто виновато (виноватость относилась к О(льге) Е(лисеевне), но как-то по инерции и ко мне), улыбаясь, пожелала мне спокойной ночи. И, уходя, не могла закрыть дверь, не заходила задвижка. Чтобы не заставить меня подняться с постели, она старательно прикрывала ее. Я, конечно, помог—но вот эта одна минутка мне сказала страшно много. Милая М(арина) И(вановна).

Апрель 1926. ...к 10-ти часам вечера заехал в Клуб Молодых—на концерт. Хотелось послушать новые стихи М(арины) И(вановны). ...Читали многие... И вот—вошла М(арина) И(вановна). И с первого слова—у меня в душе: вот поэт, единственный поэт, которого я слышал. Каждое слово—слово; во всем значительность—и по контрасту с предыдущей мелочью—я воспринимал всё с большой радостью. Всё запомнилось—как запоминается исторический час—...стриженные волосы, опущенные глаза. И когда сходила с эстрады, боязливо остановилась перед лестницей—близорукость.

...Пишу... наспех: поздний час—и моя часовая стрелка уже на цифре 1. М(арина) И(вановна) в такой час все еще что-то делает на кухне. По-видимому, все время писала, а перед сном решила приготовить Муру на утро. Мне думается об этом с жалостью. Нет, не такая простая вещь быть для М(арины) И(вановны). Тяжелые шаги по лестнице: С(ергей) Я(ковлевич).

Апрель 1926 (отъезд М. Цветаевой в Вандею. — А. С.).
...Объездил все русские книжные магазины по просьбе С(ергея) Я(ковлевича)—нигде не было «Ремесла»: все распродано.

М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩ уже укладывалась: я привез ей на дорогу много шоколада, Але — кинематографические журналы и открытки. Шутили, смеялись... С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ с одним своим знакомым и вещами уехали раньше. Марина Ивановна, Аля, Мур и я — в половине восьмого. ...Рассказывал М⟨арине⟩ И⟨вановне⟩ о всех тех местах, о которых что-нибудь знал. Говорили о многом другом — хорошо, полно. На вокзале я невольно взял на себя роль активного распорядителя... Вагон № 25 — на Sables — gare Monparnasse — плакаты 47 и 48. На 48-м оказались чемоданы — кто-то занял и исчез. Я разыскал кондуктора, потом разыскивали вдвоем исчезнувшего — в конце концов водворили на 48 — Алю. И вот прощание. Мур — дивный: смотрел большими глазами, спокойно — проступало величавое сознание пассажира. М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩ — вспоминаю это радостно — крепко поцеловала меня. Аля — тихая, улыбающаяся. Я побежал купить подушку М⟨арине⟩ И⟨вановне⟩. Она выгоняла из вагона — боясь отхода. Когда пошел к выходу — вагоны уже оказались закрытыми. Я опустил окно — открыл с внешней стороны. Тронул поезд, и вот последнее: окно: три лица: Мур руками разводит по стеклу; Аля внизу: видны только глаза; М⟨арина⟩ И⟨вановна⟩ — стоя; мы — четверо «мужчины» — идем вдоль поезда.

С⟨ергей⟩ Я⟨ковлевич⟩ был очень грустен. Решили зайти в «Ротонду»...

1926 (?) Я слушал только раз «Поэму Горь». Признаюсь, глупый — ухватил немного — ударили только те места, которые уж слишком ударяют. И вот только вчера — по корректуре — прочел сам... Аля, милая — ведь «Поэма Горь» — гениальна! Это лучшее, что у М⟨арины⟩ И⟨вановны⟩ — нет больше, — после «Двенадцати» — ни у кого подобного не было! Как я рад, что это, наконец, открылось мне. Я хочу написать об этой поэме...

Май 1926. Для М⟨арины⟩ И⟨вановны⟩ в руках у С⟨ергея⟩ Я⟨ковлевича⟩ — такая радость, что трудно ее себе представить.

Сегодня эта радость мчится экспрессом к ней. Вчера утром — приносят посылку и письмо: M-lle M. Czwetaeff. С(ергей) Я(ковлевич), недоумевая, вскрывает: две дивно изданные книги Рильке — на книгах надписи: по-русски: Марине Ивановне Цветаевой — по-немецки дивный стих о далекой встрече двух поэтов. Подпись — Рильке. Как Рильке, живущий сейчас в Швейцарии, узнал адрес, отчество — все — даже «m-lle». Вот радость для М(арины) И(вановны).

Я не знаю — отчего против М(арины) И(вановны) открывается целая травля. Шлю Тебе предел гнусности.

6 мая. Вчера в «Возрождении» была статья Струве о М(арине) И(вановне) — не такая все же гнусная, как Яблоновского. Какой вздох от всей этой для М(арины) И(вановны) — книги Рильке!»

Юная Ариадна Чернова отвечает:

«Статья Яблоновского — такая чудовищная, сверхъестественная гадость, что об этом даже противно читать! Неужели никто из вас не найдется, как на это ответить? М(арине) И(вановне) на подобную дрянь обращать внимания не стоит. Но что-нибудь должны сделать ее близкие... Радуюсь за М(арину) И(вановну) книгам Рильке! Как уведет это ее от глупости Осоргина и гадости Яблоновского. Ты удивляешься, почему так все возмутились на М(арину) И(вановну) — «моя проза всех возмущает, стихи — как вещь не важную — мне прощают» (слова М(арины) И(вановны)) и, кроме того, у многих после вечера самая простая зависть — это не удивительно».

(Сама Ариадна Чернова, в свои шестнадцать (!) лет, написала блестящую, проникновенную рецензию на поэму Цветаевой «Молодец», посрамив тем

самым «маститого» Ю. Айхенвальда, который писал о трудности восприятия этой поэмы и о том, что в ней нет логики смысла...)

Еще несколько выдержек из писем Ади Черновой: апрель — май 1926 г.:

«Будет ли готова у Шумова фотография Марины Ивановны? Когда я прочла описание отъезда М(арины) И(вановны), мне стало страшно грустно, что долго-долго не увижу ее. Хочу хоть иметь ее фотографию...

Получила твое письмо и фотографию М(арины) И(вановны).

У Марины Ивановны, больше чем у всех других, окаменевает лицо у фотографа, но все смягчающая, сравнивающая под одно и прикрашивающая ретушь ей не идет, и карточка поневоле неудачна. Жаль, что карточка черна: одна из выдающихся прелестей М(арины) И(вановны) — светлые глаза и волосы при смуглом лице — исчезает. Прекрасная рука с перстнями. Весь день карточка стояла у меня на постели и стерегла меня, когда мама и Наташа уходили.

Недавно мы с мамой, заговорив о баснях Крылова, вспомнили, как в Праге была у нас книга его басен, которой очень увлекалась Марина Ивановна. Среди всех хорошо всем знакомых басен, всех зверей, забытых прекрасных вещей, оборотов чистейшего русского языка — всего, что помнят все о Крылове, М(арина) И(вановна) отыскивала дивные и дикие, лишённые всякого смысла вещи. Вероятно, это басни с намеком на злобу дня, теперь непонятном и диком.

Мы стали гадать по басням. Помню, маме досталась известная басня о мужике, приютившем ужа, от которого отвернулись, боясь змеи, все старые друзья. М(арина) И(вановна) пришла

в восторг — смеясь, что это о них — действительно, после знакомства с семьей Эфронов все знакомые, возмущенные маминым выбором друзей, сердились и устраивали маме сцены, некоторые почти не бывали у нас. Не помню, что досталось М(арине) И(вановне), но перелистывая книгу, она воскликнула: «Вот это прямо ко мне». Я совсем позабыла эту басню — дело вот в чем: жила однажды змея, которая наделена была таким дивным голосом и пела о вещах столь возвышенных и прекрасных, что все люди сбегались ее слушать и соловьи смолкали, чтобы ее слушать, все славословили и хвалили ее. И однажды змея запела так изумительно, что все люди плакали в умилении. Тогда с открытой душой, полной счастья и любви, змея приблизилась к ним, но люди от нее отпрянули и объяснили ей, что хоть пение слушать рады и она прекрасна, но все же пусть лучше держится от них подале!

Марина Ивановна с горечью сказала, что так все ее друзья, особенно мужчины (женщины великодушной). Они все восхищаются ею, любят с ней говорить, ее слушать, но если дело касается их дома или ее жизни, тут — лучше подале... Словно буквально из басни — существо для услады других, но права на свою жизнь и на приближение к людям не смеет иметь!»

Поразительно, что эти слова совпадают с записью Марины Цветаевой, относящейся к ноябрю 1923 года, о которой Ариадна Чернова, понятно, знать не могла:

ИЗ КРЫЛОВА

Нам страшно вместе быть с тобой;
Итак, скажу тебе не для досады:
Твоих мы песен слушать рады —
Да только ты от нас — подале пой!
(Басня Крылова, «Змея»)

(М<ожет> б<ыть>), разгадка к загадочным исчезновениям из моей жизни всех — было приближившихся...)»

Это написано в тяжелый момент жизни: вскоре после разрыва с К. Б. Родзевичем.



Дружественность и понимание — вот что неизменно видела Марина Ивановна со стороны молодой пары (поженятся Володя и Адя в 1929 году). Владимиру Сосинскому, впрочем, не всегда было легко принимать Цветаеву целиком; порою он обижался на нее:

«М<арина> И<вановна> нас совсем забывает: после вечера она страшно занята Святополк-Мирским, Сувчинским и Шаховским. Мне это не обидно, но О<льге> Е<лисеевне> — вы сами понимаете. В сущности все по-прежнему — при встречах хоть и редких — все прежнее. Читает Святополку и др<угим>, в отдельной комнате, никогда не приглашая нас. Все гости тоже врозь. Я очень недоволен собою, что пишу это вам. Но мне больно за О<льгу> Е<лисеевну>. Вы не говорите ей, что я написал вам об этом. Образ М<арины> И<вановны> по-прежнему в нас — такой же большой и любимый. О<льга> Е<лисеевна> все прощает...» (письмо без даты).

Но он боролся с негативными чувствами, старался быть на высоте, и, не без влияния Ариадны Черновой, ему это удавалось.

«Два моих письма последних — были гнусные, прегнусные... Обида на М<арину> И<вановну> — временная, конечно... Ты бы

одна сумела увидеть и решить, что с М(ариной) И(ванов-ной)... Мы такие же, как были, чувство к М(арине) И(вановне) такое же, как было, если не больше». «Ты права, Адя, в своем письме о М(арине) И(вановне)... В Твоем письме — то большое, то высокое — от чего мне становится больно и стыдно за себя. Да, не сумел, не в силах был. И что еще постыднее: не хотел. Ты счастлива: М(арина) И(вановна) открылась Тебе той, которую я сумел уловить только в ее стихах и ее рассказах (т. е. беседах) — но не в ней самой... Может быть, когда-нибудь — через Тебя — я сумею поднять себя до человека (М(арины) И(вановны))». (*Февральское и мартовское письма*).

Что до Ариадны Черновой, то она с врожденным умом и тактом принимала Цветаеву такой, какой она была, и горячо защищала ее от всех. Замечательны ее слова:

«В жизни самое главное не всеобщее удовольствие и счастье (тогда лучше всего было бы быть мостками у богатых господ), а пониманье и проникновенье. Поэтому права я, когда в отношении к М(арине) И(вановне) думаю об этом не до конца, понимаю всю тяжесть и разрешение, или стараюсь разрешить, в чем вина и несчастье» (*из письма от 19 марта 1926 г.*).

Напомню, что, приехав во Францию в ноябре 1925 года, Цветаева с семьей без малого полгода жила в парижской квартире у Ольги Елисеевны Колбасиной-Черновой и вынуждена была «сосуществовать» с хозяевами. У Ариадны было две сестры,

и не все до конца принимали Марину Ивановну, — да и сама она была конфликтна, порою, на иной взгляд — и бесцеремонна. Но ни Ольга Елисеевна, ни Ариадна Чернова не придавали значения мелким недоразумениям. Впоследствии, когда жизнь неизбежно всех развела, Цветаева тем не менее всегда знала, что к «Володе» Сосинскому она в любой момент может обратиться с просьбой, и просьба будет неукоснительно выполнена. Много лет спустя Владимир Брониславович продемонстрировал друзьям поистине царский подарок Марины Ивановны: ее рукопись поэмы «С моря» с надписью:

«Дорогому Володе Сосинскому — попытка благодарности за действительность и неутомимость в дружбе — и еще за Мура*. Марина Цветаева, Medon, 11 сент〈ября〉 1927 — переписано одним махом».

Последняя просьба Марины Ивановны была перед ее отъездом на родину: нарисовать русские буквы для памятника родителям и брату Сергея Эфрона на Монмартрском кладбище...



Вскоре Сосинские получили квартиру в Измайлове, на 13-й Парковой улице. Я несколько раз была там, неизменно встречая радужные и живейшие

* Сосинский фотографировал Мура.

В Париже, в 1965 г. (см. картинку), впервые выходи за мной замуж, Ты еще ничто не знала о Госпитиздате - и была совершенной Дочкой Ликии...

Всем (кроме, конечно, мне)

Meilleurs Vœux
pour Noël 1965

кто домогался Дашей любовью,
Ты отбегала по телефону:

- До тебя мне дела были нет, *
Позвони мне через триста лет.

Ура пятсот прости, и у меня
теперь свой телефон: Е4-93-08

Позвоните, пожалуйста... Прихо-
дите на свидание любовь в этом

* / А. Гордовский.

Автограф письма В. Б. Сосинского

вопросы о том, что делается в нашей литературе. «Аденька, — говорил Владимир Брониславович, — ты слышишь, что говорит (такой-то)? Мы должны непременно это прочесть». Или: «Помнишь, когда мы читали (то-то и то-то)? «Мы» — означало: вместе, вдвоем, одновременно. Такая слиянность, неразрывность, единомыслие восхищали меня безмерно.

Ольга Елисеевна успела, к счастью, приехать в Москву и пожить в измайловской квартире — правда, недолго: осенью 1964 года она умерла. Через некоторое время Владимир Брониславович разрешил кому-то из знакомых перепечатать письма Цветаевой и Али к Ольге Елисеевне, Аде Черновой и к нему самому, а оригиналы, исполняя желание Ариадны Эфрон, сдал в госархив. Но у писем оказался свой путь: без ведома Сосинского они попали на Запад, где и были опубликованы (к сожалению, с ошибками) в книге: Марина Цветаева. Неизданные письма (Париж: YMCA-PRESS, 1972). Нужно ли говорить о бесценности этих писем, по которым подробно прочерчивался очень важный отрезок жизни: *быта* и *бытия* Марины Цветаевой?..

С Владимиром Брониславовичем мы виделись нечасто, — я была загружена и не справлялась с временем. Но мы постоянно «перекликались», поздравляя друг друга с праздниками и «датами». Поздравления Владимира Брониславовича отличались чрезвычайной элегантностью и посылались

обычно на красивых открытках с различными видами и рисунками, а текст, как правило, был шутлив и остроумен. Однажды, в начале нашего знакомства, занимаясь в Спецхране библиотеки, я обнаружила в эмигрантском журнале «Благонамеренный») рассказ Бронислава Сосинского «Последний экзамен», написанный в 1925 году*. Героиню рассказа звали, как меня: Анна. Я его переписала и подарила Владимиру Брониславовичу с соответствующим «комментарием». Подхватив шутку, он не расставался с нею все последующие годы. Почти в каждом своем послании он так или иначе упоминал наш древний, тянущийся много десятилетий, «роман», а знакомя меня с очередным новым гостем, — их было несметное количество, — неизменно прибавлял: «Нашему роману уже пятьдесят (шестьдесят) лет». Гость поначалу терялся, а Владимир Брониславович радовался, как ребенок... Получала же я такие, к примеру, открытки:

«Почему? Почему? А почему любезная Анна вспоминает о своем возлюбленном 1925 года только тогда, когда его имя возникает перед нею печатными буквами из книги или журнала?.. Так было с «Последним экзаменом», и так, я уже вижу, будет и впредь!» (1965 г.)

«Всегда помню о Вас вот уже скоро 60 лет!» (1977 г.)

«...Я полюбил Вас еще тогда, когда Вас не было на свете — и с тех пор Вы прошли, — дыша духами и туманами, — по всем моим рассказам!» (1977 г.)

* См. с. 268.

Мне так нравится эта тема в посланиях Владимира Брониславовича, что не удержусь привести еще одну его записку:

«...Мне ужасно хочется Вас, мое полувековое божество — видеть — и выпить за нашу первую встречу в Париже...

в 1925 году.

Непростительно, что мы забыли с Вами два года тому назад отпраздновать нашу золотую свадьбу. Ну что ж — буду терпеливо ждать бриллиантовую!» (7 декабря 1977 г.)

А вот открытка от 10 октября 1979 года:

«Посылаю Вам <...> этот отрывок из «Рассказа, написанного через десять лет», посвященного Вам, времен Парижа.

«Я вел одинокую жизнь, сторонился женщин, был верен Анне и каждый день, каждый час был готов для встречи с нею. По ночам я вынимал из ее шкафика — серебряное венчалное платье и, разложив его на диване, садился рядом и тосковал... Она не пришла... Уезжая из Парижа в Россию, — я опустил шторы в своем купе, потушил раздражавший меня свет и, уткнувшись в жесткие подушки дивана, замер на долгие часы» (1929, декабрь)».

А однажды Владимир Брониславович подарил мне оригинал письма А. Ремизова. Оно относится к тому времени, когда Сосинский работал в журнале «Воля России». Вот оно:

«25.11.27 Paris

Дорогой Бронислав Брониславович,

Я получил от В. И. Лебедева письмо, где он пишет: прислать ли для В<оли> Р<оссии> ч<то>-н<ибудь> из XVII года, поскорее. Поскорее из «жизни» у меня никак не выйдет, и то, что пишу опять-таки к XVII году, есть, но очень

Ирина Ивановна Фронова

25. 11. 27
Paris

Я получил от В. И. Лебедева письмо, где он пишет: прислать
улы В. Б. т.б. из XVII 1099. Лескорск. Поняв из письма
у меня никак не выйдет и по той причине опять-таки из XVII 1099
есть, но оба улето. Я вам писал, что у меня тоже рассказ,
перепечатанный местами раз:

«Т.б. в Василии»
который в саденьВам в 500/10
за. т.р. 1997»

Я писал, не произойдет ли незоразумение; Я вам писал о 7497°
а В. И. А. Ждет XVII 1097.

А писать к жоду вам во время | Шведц
заказ. бант.

Сделайте распоряжение, чтобы мой ¹⁰⁹⁹ В. Р. XX, я слышно вы, что вы
вероятно

и когда будут деньги, отчитываете,
сколько вы платите за Кристина tomorrow
и мне его пересдайте

Классный Вещь Сержанца

Александр Ремизов

Автограф А. М. Ремизова, подаренный мне В. Б. Сосинским.

далеко. Я вам писал, что у меня готов рассказ, переписанный несчетно раз:

«Чудо о Василии»,

который я и оцениваю в 500 г. за «труд».

Я боюсь, не произойдет ли недоразумения: я Вам пошлю «Чудо», а В(ладимир) И(ванович) Л(ебедев) ждет XVII год. А послать я могу вам во всякое время заказн(ую) банд(ероль).
Известите.

Сделайте распоряжение, чтобы мне послали 2 экз. В(оли) Р(оссии), я сохраню ему, когда он вернется и когда будут деньги, отсчитайте, сколько полагается за *Кристика, гонорар и мне его передайте.*

Кланяюсь всей редакции

Алексей Ремизов

Другой бесценный подарок Владимира Брониславовича — открытка конца 20-х годов с фотографией знаменитого Чарльза Линдберга и его «Спирит оф Сан Луи», на котором отважный американский воздухоплаватель впервые пересек Атлантический океан в мае 1927-го. Так ожили для меня «дни Линдберга», когда была написана цветаевская «Поэма Воздуха».

Подарил мне Владимир Брониславович несколько книг: стихотворения Ходасевича, Одоевцевой... И еще — маленькую книжку «Герои Олерона», изданную в Минске в 1965 году. Одна глава в ней принадлежит ему, однако лишь по слабым намекам можно догадаться о героическом прошлом автора. А оно было действительно героическим: Сосинский дрался с немцами в Иностранном легионе, был тя-

жело ранен, попал в плен, участвовал в Сопротивлении на острове Олерон... «Не знаю, почему посылаю: все равно читать не будете... Але Эфрон стыдно посылать: халтура», — писал он. Потому что почти ничего *по сути* в этой подцензурной книжке не было...

Да, Владимир Брониславович был храбрым и решительным человеком, способным без раздумья, импульсивно встать на защиту, — как, например, в далеком 1926 году, когда он дал публичную пощечину и вызвал на дуэль одного из редакторов журнала «Новый дом», так как, по его мнению, этот человек осмелился подборкой цитат из «Поэмы Конца» представить Цветаеву чуть ли не женщиной легкого поведения. «Я защищал Перекоп с *другой стороны*», — любил повторять он, несколько не беспокоясь о «составе аудитории», а также частенько бывал не прочь крепко выразиться по явно прослушивавшемуся телефону. Я имею в виду телефон новой квартиры Сосинских на Ленинском проспекте; переехала семья туда в конце шестидесятых. Из двух комнат большая по размеру служила гостиной; вдоль стен стояли низкие стеллажи с диковинными художественными изданиями — главным образом, знаменитого Альбера Скира, с которым Сосинский был знаком и о котором потом написал воспоминания; там же было выставлено множество фотографий знакомых и друзей — из прошлой и настоящей жизни. Эмигрантским изданиям не было

числа; постепенно они редели — и не только из-за щедрости раздаривавшего их хозяина...

В 1973 году Владимиру Брониславовичу и Ариадне Викторовне удалось съездить к родным во Францию месяца на три. «...Посмотрите на все и вся немного и моими глазами, немного и за меня, — писала им Ариадна Сергеевна. — ...Ибо мне в тех краях уже не бывать. Основное: если кто что вспомнит — в разговоре — конкретное — о маме, папе — запишите вкратце... Мы все в неоплатном долгу перед будущим за прошлое, постараемся же, хоть по мелочам, кто как может, но — расплачиваться. А чтобы много воскресло — найдите немного времени, побывайте на *Villette*, на *canal de l'Ouigo*; *не тени, а живые, живое* обступит вас. М<ожет> б<ыть>, удастся и сфотографировать тот дом — и кусочек канала, вдоль которого мы с мамой прогуливали Мура...»

Сосинский постарался выполнить просьбу Ариадны Эфрон. Парижские снимки были сделаны. (Один попал ко мне через десять лет с такою надписью:

«— Господи! Когда же мы наконец там будем? — вздохнули Вы, глядя на этот снимок Парижа... Господи — скажу я — неужели Вы уже забыли *Rue Rouvet*, *Porte de la Villette* — всех Цветаевых — и наши безумные ночи. Вл. Сосинский. 22 Августа 1983 (мне стукнуло 83 и 1 день)».

Свидетельств же современников, по-видимому, собрать не удалось. Позже Сосинский напишет очерк-воспоминания: «А был ли другой Сергей Яковлевич?», прочитав подаренную ему в Париже книгу

жены Андре Мальро, — книгу, побудившую его кое-что вспомнить и осмыслить. Эту вещь о Сергее Эфроне он в 1979 году посвятит мне и запретит печатать в течение двадцати пяти лет: она слишком прямолинейна и непримирима...

Я мало пишу об Ариадне Викторовне, потому что редко ее видела: она много болела, и к гостям выходила нечасто... А в июле 1974 года она умерла; без малого полвека они с Владимиром Брониславовичем были вместе.

«Только память приходит на помощь, — писала Ариадна Эфрон Сосинскому, — память, в которой все живы, живые и ушедшие, все живо, ушедшее и неповторимое; с ней и живем, с ней и уйдем сами. В нее и уйдем. Помню Адю, подросточком, загорелой девочкой с большой косой, в синем полотняном платьице... старшую подругу, умницу и ребячливую; помню Адю на rue Rouvet, Адю в одной рубашонке, плачущую от — над родительским разрывом, и я, как теперь, слов не нахожу, а только обнимаю ее, что-то бормоча». И в другом письме: «Всю вашу совместную жизнь вы прожили рука об руку, всегда чувствуя ладонь другого в своей ладони, никогда не разнимая рук... И в твоих объятиях она умерла. Ведь это не смерть, а настоящий апофеоз прожитой жизни; не конец ее, а наивысшая точка, шпиль кафедрального собора, уходящий в небо».

Я тоже отправила Владимиру Брониславовичу письмо с неловкими словами соболезнования — как трудно писать такие письма! — а, узнав, что он

перепечатывал и раздавал близким друзьям не только письмо Ариадны Эфрон, но и мое, тщеславно радовалась. «Таких людей, как Володя, в горе спасает любовь к коллекционерству», — заметила как-то Ариадна Сергеевна.

Нет, не коллекционерство, а писательство. Бронислав (Владимир) Сосинский был писателем, и только им. Остальное шло, я бы сказала, от подробностей его живой и артистической натуры. Так вот, после смерти горячо любимой жены его спасло писательство.

«Москва, 27.02.75

Милая Анна Александровна!

Пишу Вам из больницы (25-ый день!), куда попал за многочисленные грехи свои «по сердечным делам»: пароксизмальная тахикардия и начало блокады, которую они уже здесь ликвидировали.

Мыкал свое горе по окраинам России: месяц на берегу Балтийского моря (Эстония) и три месяца в Средней Азии: Ташкент (помните восьмистишие Минаева, которое кончается так: «И в один колоссальный Ташкент обратится отечество наше», 1881?), кишлак Дурмент у подножия Тянь-Шаня, дача писателей, Самарканд — где у меня впервые дрогнуло сердце и началась эта самая тахикардия.

Осоргина Т. А. (Бакунина) мне пишет из Парижа: «Вы говорите: сто дней и легче не стало. И не будет легче, дорогой Володя. Для меня 32 года, а я все кручусь на том же самом месте». В устном виде мне то же самое сказала Антонина Николаевна Пирожкова-Бабель.

Как это Вам хорошо известно из Ваших литературоведческих изысканий (Вы даже прислали мне мой первый рассказ), —

Вы были героиней моих юношеских грез. Сегодня я решил завершить круг (змея кусает свой хвост!) и довести до сведения моей любимой Анны Александровны, что мой «последний рассказ» называется «О том, чего еще не было».

Вновь и вновь перечитываю я этот удивительный рассказ — о том, чего еще не было, но непременно будет — с каждым. О последнем собственном земном пути: о похоронах. Простота и изысканность, драматизм и юмор. «Автор», лежащий в гробу, прячет улыбку, чтобы не обидеть присутствующих, беспокоится, что небрит... Он наблюдает за происходящим вокруг и одновременно вспоминает... слова, сказанные «в одном из сегодняшних писем»: «Вы все равно счастливее многих и многих людей, Вы с ним прожили удивительную жизнь; и потому еще счастливее, что редко у кого была такая слитность, как у Вас с ним». Да ведь это слова из моего письма после кончины Ариадны Викторовны, только «женские» местоимения заменены на «мужские»...

В памяти лежащего в гробу возникают разные видения, воспоминания. Вот он, французский пленный в Потсдаме, просит немецкого капитана проводить его во дворец Сан-суси, чтобы увидеть там «мрамор любимой женщины Тезея» — статую Ариадны, тезки обожаемой жены, с которой разлучен уже три года. А вот некая прекрасная незнакомка, плача, склоняется над гробом и кладет на грудь умершего (!) орхидею. А погребальный обряд — последний путь — продолжается, и герой все видит, все слышит,

все замечает — и всему удивляется, впервые наблюдая «быт коммунального бытового обслуживания». И, наконец, финал, который привожу целиком, — так он хорош:

«И вот тут произошло самое страшное, что было в эти два дня: я оказался внутри печи, где было жарко — да еще при этом мой гроб мгновенно охватило синее пламя, похожее на то, что мы привыкли видеть в газовых плитах — но во много раз более мощное. Чистые и холодные капли на моем лице, оставленные Прекрасной Незнакомкой, тотчас же испарились.

Передо мной возникли огнедышащие раскаленные танки Гудериана в Арденнах, которые я впервые увидел в мае 1940 года. Они погнали нас, легионеров и славных сенегальцев, всю армию Корапа до самой деревни Домреми, где родилась Жанна д'Арк. Мой пулеметчик, сменивший черноморского матроса Кудрявцева, убитого под Сан-Менеульдом — капрал Керн из Сорбонны стрелял из пулемета FM великолепной модели 1934 года. По горизонту шли к нам танки Гудериана. Никто из нас за секунду до этого не предполагал, что все вокруг засияет огнем, что разорвавшийся снаряд убьет Керна и несколько легионеров, из которых только я один, правда, изрядно израненный десятками осколков, останусь в живых — и что гордость нашего взвода FM превратится в комок смятого железа. Пламя охватило нас, и мы горели...

Жанна, Жанна, Святая Дева — разве не лучше благородное дерево, связка пахучего хвороста, чем этот удушливый газ... Который вызывает еще одно видение — самое страшное в долгой моей жизни — страшнее битвы за Францию, страшнее Арденн, страшнее Домреми и страшнее тех часов, когда я ждал высшей меры наказания в Люкенвальде — вскоре после воскресной прогулки в Sanssouci и Турецких валов у Перекопа: весь в лихорадке, покрытый потом, тяжело дыша, в сарае у Старой мельницы, где в годы второй мировой войны встречались советские и французские партизаны острова Олерона — ржавой непослушной лопатой — под грохот рвущихся вокруг бомб, сбрасываемых английскими воздушными крепостями — я рою яму, куда этой ночью должен быть зарыт убитый нами предатель.

И вслед за этим видением встает что-то еще, но я уже не могу успеть рассказать, — слово за словом, которыми я только что владел, они сгорают, их остается все меньше... Я буду гореть еще долго, час-полтора — но уже без мыслей, без слов, без чувств. От меня, когда в решете просыпется пыль, остается лишь несколько твердых комочков костей и один небольшой золотой шарик, в который перелется забытое на безымянном пальце обручальное кольцо».

В 1976 году Владимиру Брониславовичу, к счастью, удалось еще раз побывать во Франции. Будучи

человеком необычайно внимательным к друзьям, он спросил меня, чем он мог бы быть мне полезен в смысле парижских библиотек, а также встреч, справок и т. п. Я, с увлечением занимавшаяся тогда творчеством И. А. Бунина, попросила Владимира Брониславовича связаться с Галиной Кузнецовой (возможно, достать ее адрес, — сейчас не помню). И вот ко мне пришло письмо от Сосинского:

«Сашап, 29 февраля 1976 года. Воскресение.

Дорогая Анна Александровна! Еще не успел Вам написать первую эпистолу из Парижа — на 16-й день (из коих половина была отдана свирепому гриппу), — как многое изменилось в моей жизни и жизни старых моих друзей и соответственно этому весьма изменилось содержание этой эпistolы!

Во-первых, 8 февраля (а я прилетел в Париж днем 14-го — пять дней спустя) в Мюнхене тихо скончалась Г. Н. Кузнецова. Итак, первое обещание Вам не может быть выполнено...»

Далее Владимир Брониславович сообщает о новых изданиях: публикациях писем Бунина в «Новом журнале», пьесе Цветаевой «Червонный Валет», выходе книги З. Шаховской «Отражения» и т. д. Он не стал откладывать эту информацию до возвращения в Москву: хотел исполнить свое обещание сразу же...

Он очень полюбил Михайловское и ездил туда несколько дней подряд, посылая «Пушкинско-цветаевский привет» со Святых Гор; это место он называл «одним из самых очаровательных мест Велико-россии». Прислал однажды и газету «Пушкинский

край» от 31 мая 1980 г.; выпуск, целиком посвященный Михайловскому.

В семидесятые годы мы стали видеться чаще; увеличился и круг общения Владимира Брониславовича. Приехать к нему и не застать никого, кроме хозяина, было вещью невысказанной; чем больше народу толпилось у него в доме, тем он, казалось, был жизнерадостнее. *Ни разу* — при мне, по крайней мере, — не выказывал он неудовольствия, раздражения кем-то, собственного дурного настроения, — старая школа воспитания! Его интересовал любой человек: от библиофила-коллекционера до начинающего актера, показавшегося ему талантливым. На иной взгляд (на мой, в частности), он был не всегда разборчив, гостеприимно распахивая двери чуть не каждому (и потому, случалось, его элементарно обкрадывали, — тем более, что под конец жизни он и видеть стал плохо). Но при его доброте, живейшем интересе и любви к жизни и людям иначе быть не могло...

А сколько он раздарил бесценных вещей: редчайших и недоступных в то время эмигрантских изданий поэзии, автографов, фотографий. Если б его бесчисленные подарки собрать вместе, — получился бы маленький музей.

Его любили все, кто встречался с ним, — от «книголюбов» (это слово ушло теперь в прошлое) до скромных незаметных женщин, помогавших ему

в его холостяцком быту и самоотверженно перепечатававших на машинке его труды. А писать под старость он стал особенно много; творчество было его отдушиной. «Конурка», «Я сызнова живу» — так назывались его воспоминания, очерки о современниках, обильно оснащенные документами, письмами. Документы были лучшими его «помощниками», — и как я понимаю его сейчас...

Он написал эссе о Сергее Эфроне (о чем шла речь выше), а затем — воспоминания о Марине Цветаевой. Хочу привести оттуда ненапечатанный отрывок:

«Когда в 1960 году я впервые читал письма Марины Цветаевой к Константину Родзевичу, которые он передал мне в Париже для Али Эфрон, я сделал из них несколько выписок (<...>»

Родзевич не любил ее стихов, т. е. главного в Цветаевой. В письмах она умоляла полюбить ее стихи, объясняла Пастернака и Рильке, читала ему прозу Волконского, с которой тогда носилась, книгу «Быт и бытие». Мы все, любящие Цветаеву, не взлюбили Родзевича. Мы считали его хоть внешне благообразным, даже красивым, *ничтожеством*. Но прошли годы — немало лет. В начале 1960 года в уютном особняке Натальи Викторовны Резниковой в Кашане, в одном из очаровательных предместий, которыми так богат Париж и где когда-то к королевским прачкам съезжались Ронсар и все поэты «Плеяды», — против меня сидел человек, который был так дорог Марине Ивановне. Да, конечно, время отложило на нем свой безжалостный отпечаток, и все-таки он был по-прежнему красив, и седина даже украшала его.

Это был новый, незнакомый мне человек — но, может быть, именно его увидела тогда наша волшебница — чародейка

ВОСПОМИНАНИЯ

М
О
МАРИНЕ
ЦВЕТАЕВОЙ

МОСКВА
1982

Титульный лист, нарисованный В. Б. Сосинским к его воспоминаниям о Марине Цветаевой.

и разгадала его подлинную сущность сорок лет тому назад? *Может ли давняя любовь великого человека через многие годы пересоздать другого человека?* Какая значительность в лице, в словах, в манере держать себя. Передо мною был настоящий большой человек, именно такой, каким задумала его М(арина) И(вановна). Это не был Родзевич, это был легендарный Кордэ, сражавшийся против фашистов в Испании, он кажется командовал батальоном в Интернациональной бригаде. Свою борьбу он продолжал и во французском подполье в дни оккупации, эту борьбу он продолжал и в концлагере, куда был загнан нацистами, не простившими ему испанской эпопеи. Все страдания, все муки впитались в него неизгладимой печалью. Он принес мне в Кашан для Москвы драгоценные рукописи поэм, посвященные ему, и примерно сорок ее писем*.

Об этой моей встрече на берегу реки королевских прачек и «Плеяды» я подробно рассказал Але Эфрон в Москве. И меня очень порадовало, что это мое мнение о новом Родзевиче отразилось в ее замечательных воспоминаниях о матери<...>—лучшее, что до сих пор, по-моему, было напечатано о Марине Ивановне и в прозе и в стихах».

В те годы Владимир Брониславович полюбил выступать на литературных вечерах, где читал свои мемуарные очерки. Все началось, кажется, с вечера 18 декабря 1978 года в Таганской районной библиотеке: «Марина Цветаева в воспоминаниях современников». Билет хранится у меня и по сей день, так же, как и билет на «персональный» вечер Сосинского

* Много раз В. Б. Сосинский повторял мне: «Вы должны непременно написать о Родзевиче — самой сильной в жизни любви Марины Ивановны!»

...Ровесник века, он мечтал дожить до 1980 года, — до Олимпийских игр в Москве и до собственного юбилея. Дожил, и 21 августа юбилей состоялся.

В гостиной набилось невероятное количество народу; женщины толпились в узкой кухне, хлопоча с «фуршетным» угощением; к самому же герою торжеств пробиться было невозможно. Он был очень радостен и бодр, невзирая на духоту и шум. Мне показалось, что он не столько придавал значение своему юбилею, сколько ликовал оттого, что приехал его тогдашний кумир — Ю. Нагибин с женой. Держался именитый гость весьма спесиво и реагировал на восторженное радушие хозяина, как на должное. Впрочем, рано удалился, к всеобщему удовольствию...

А теперь мне хочется сказать о Владимире Брониславовиче словами человека, перед которым он преклонялся всю жизнь:

«Бронислава Сосинского знаю 25 лет.

В 1939-м году добровольцем угнали его на войну, попался в плен, пленником терпел до освобождения и только в 1944-м мы снова встретились.

До войны Сосинский помогал мне в моих работах. Более образцового секретаря не умею кого назвать, а корпю я над буквой считай полвека: сметка, точность и дотошность; быстро и легко без проволоочки, я не повторял, задавая урок — разжевка в делах последнее дело, и никогда не оборву: «не так».

Чем я ему за его труд платил? Да моей работой: мое словесное — его страсть, стало быть, никакой и самой благородной валютой не покрывается.

Конечно, можно выпотрошиться зараз и за день перевернуться, а у меня на годы глаз—проверка: сколько поворотов! О Сосинском я говорю: в моих глазах рыцарь—человек с открытым сердцем к человеку, к его породе и его вере.

Вот мой сказ в ответ.

18 июня 1952

Париж.

Алексей Ремизов».

Владимир Брониславович Сосинский умер 13 сентября 1987 года.

«20.9.87

Дорогие Алеша, Сережа, Дима!

Примите мое—к сожалению, запоздалое—соболезнование. Никогда не забуду Владислава Брониславовича—да и кто, его знавший, может его забыть? Самый молодой из всех его окружавших, самый щедрый, широкий, великодушный—таких людей просто нет.

И самый жизнелюбивый! Помню первую встречу с ним в Отдыхе (1961 год), а последнюю, увы, не помню. Я не могла, не в состоянии была видеть его последние два года,—наверное, плохо, что это я вам говорю—но я была очень привязана к Владимиру Брониславовичу, и не хотела видеть, как он угасал,—ему же, как мне передавали, все стало более или менее безразлично. Простите мне эти слова, пожалуйста. Скорблю вместе с вами,—несмотря ни на что, весть оказалась неожиданной.

Всегда буду помнить и любить Владимира Брониславовича,—а если обстоятельства позволят,—как можно загадывать вперед!—напишу о нем.

Ваша А. Саакянц».

Бронислав Сосинский

Последний экзамен

...кроме крутины надлежит опасаться и того, чтоб с раскату о дерево не удариться, что часто с крайнею опасностью жизни приключается.

(С. Крашенинников «Описание земли Камчатки». В Санкт-Петербурге 1755 г.).

Человек, от которого кто-то ушел и которому после этого не к кому пойти, — волею-неволею, как это ни скучно, уходит в себя. Из города же, в котором кто-то ушел от человека, обычно уезжают. Так бывает в книгах и так бывает в жизни. В книгах это довольно интересно, в жизни же — очень тяжело и скучно.

Когда я был в четвертом классе реального училища и Надя меня разлюбила, я сначала очень хотел застрелиться, но потом просто забросил под парту учебники, всю свою жизнь и уехал с первой парты — далеко — на Камчатку, откуда сумрачно молчал на все вопросы географа о столице Франции. И осенью — на экзаменах — я провалился...

Теперь, когда масштаб моей жизни увеличился на несколько миллиметров, а рост мой — на полметра, я делаю все в более значительном масштабе, — и когда ты ушла от меня с кем-то, я перекочевал уже не с первой парты, а из Парижа, и не на последнюю парту, а сюда, в столицу льдов, на 160-й градус великой долготы. И осенью — у меня экзамен.

Я не знаю твоего нового адреса, Анна (да и не хочу его знать!) и поэтому пишу тебе через журнал, — в надежде, что никто другой не полюбопытствует прочесть эти строки. Разве интересно кому-нибудь знать, что после того вечера в Париже, когда я в последний раз смотрел на довольно затейливый дымок, милой, любимой — его! — сигары, — у себя дома я подошел к карте двух полушарий, закрыл глаза и сделал несколько диких прыжков по комнате, несколько великолепных па ту-степа, которые даже тебя, такую тонкую ценительницу модных танцев, привели бы в искренний восторг. Сделав несколько антраша, я ткнул пальцем в карту. Открыв глаза (естественно, что «открыв», ибо с закрытыми глазами видит только слепой, — это я объясняю тебе, — тебе, Анна! — вам не нужно), — я увидел, что мой палец закрывает один из островов в семье господ Курильских.

Через два месяца, оторванный от всего мира, как мой остров Алайд от Камчатки, я погрузился в снежное молчание сдавленных тоскою гор. Если ты откроешь одну старинную русскую книгу, то поймешь, отчего я долгий год, грея свое перо у ночного камелька, и свою замерзающую чернильницу, отчего я так долго молчал... В тишину своей бревенчатой избы на Курильских островах я перенес из Европы — плод ее тысячелетней культуры: твою маленькую карточку из паспорта с французской визой. Сохраняя свои авторские права на мою жизнь, ты поставила себя на мой письменный ящик, где я пишу свою первую книгу, свою экзаменационную работу — о тебе — большого масштаба.

Мой коряк, покляпый нос и волосы распустя, — который прислуживает мне и моей книге, часто, не прикасаясь руками, рассматривает твое лицо. Он никогда не видел ничего, кроме «тарелки» своей жены, и поэтому

восторженно прищелкивает языком под раскатистым взором твоих глаз. А иногда и я (улыбнись, — улыбнись, Анна!) вторю ему и мы оба, берясь за руки, танцуем вокруг ящичка священный танец любви... У него есть свой бог, бог Кут, и в первые дни моей здешней жизни он часто ходил в ложбину, образовавшуюся, по преданию, от того, что бог Кут по этому месту таскал за волосы свою жену, — и там, потонув в снегу, мой коряк молился Куту... Но с течением времени он стал реже ходить в ложбину, в свою священную падь, и чаще танцевать вокруг моего ящичка. Он изменил своему богу — он стал еретиком... Все чаще и чаще его покляпный нос задыхается в новой религии и чаще в минуты молений он требует от меня рассказа о твоём святом житии. Но если ты откроешь одну старинную русскую книгу, то поймешь, почему я молчу, почему всегда говорю шепотом, почему вся моя книга и вся моя жизнь на Алаиде проходит шопотом: «Оная падь весьма узка и простирается между высокими и толь крутыми каменными горами, что на них снег едва держится, так что от самого малого ударения, каково бывает от громкого голосу, скатывается слоями и подавляет проезжих, чего ради коряки, которые все опасное за грех почитают, за великое вменяют преступление, едучи сею падью говорить громко».

Но если я все же встревожу — на своем последнем экзамене — слишком громким голосом любви твое имя, снегами распростертое на горах Алаида и, преступный проезжий, буду «подавлен» снежными скалами, — знай, что здесь, у подножия Алаида, — нет, у подножия твоего лица, сжимая в корявой руке и в вшивых губах («коряки — весьма вшивы и вши свои едят») тихое слово любви, молится твой лучший покляпный апостол. И, если я никогда не выберусь из твоих снежных заносов — приезжай

из парижского метрополитена сюда и, небесная, обручись ледяным перстнем с своим земным верноподанным, хотя бы только из любви к поэзии русских символистов. Если он заговорит о своем старом хозяине, скажи ему, что я переступил священный закон молчания, заветанный миру коряками — и потому достойно наказан.

Но — ах — прости, любезная Анна, за такое сентиментальное отступление — не один Карамзин был рабом пера своего. И к тому же все письмо мое — это только отступление, — так позволь же и дальше отступать мне... пока не оступлюсь.

Когда я пришел сюда с чемоданом, в котором лежали твоя карточка и браунинг, — и предъявил богам, тюленям и людям Алаида свои студенческие документы из Сорбонны, они нехотя приняли меня в приготовительный класс первой ступени. И вот теперь, с прилежанием тупого новобранца, я учусь у богов — мудрости, у тюленей — любви и у коряков — жизни.

Я уже хорошо вызубрил — до боли в зубах — я хорошо знаю, когда румяным утром на горизонте разворачивается павлиний хвост, что это жена бога, кокетливая Завина, румянится в зеркале Охотского моря в ожидании своего супруга. Но когда хмурится восток и свивается павлиний хвост, я горестно знаю, что супруг Завины еще не вернулся в свою юрту, что Завина тоскует и туманится — и потом с досады — разом — дождем смывает свои румяна и разбивает зеркало на огромные стосаженные морские валы. А задышит сильный ветер — это ее долгожданный супруг высунул из облаков свою кудрявую голову, качает ею и своими длинными волосами гонит тучи по небу и снежную пыль по земле. Когда же неуклюже и тяжело — с облаков на облака — перевалится гром, — это — не бочки с камнями катают за кулисами, как учили меня

в Сорбонне, — а сам отец богов, великий Кут, гремя, перетаскивает лодки с реки на реку — или, когда раздастся один пустой и крепкий громовой удар, я знаю, что Кут в сердцах бросил оземь свой бубен. Но когда здесь, на земле, коряки перетаскивают свои лодки с реки на реку, то — там — Кут, перепуганный земным громом, поспешно прячет детей своих в юрты. И когда, наконец, к Завине приходит супруг и в тишине расцветает радость свидания, то на небе — радуга — это только новая росомачья шуба с подзором и с красками, которую Кут, смокший под дождем, надевает на радостях.

Не подумай, Анна, что эти слова о тебе, что я пишу о любви и о красоте росомачьей шубы — я говорю о мудрости богов и о том, что, опаздывая на свидание, они никогда не жалуются на свою портниху. И еще о том, что здешние женщины перед любовным свиданием съедают живого паука и, чтобы не быть такой холодной, как ты, горячат и согревают себя болотной травой — *suregoides* (если хочешь, могу тебе прислать). И еще: тюлени, спасаясь от людей, любви и смерти, плюют перед собою, чтобы их дорога была более скользкой и гладкой. И я, Анна, плюнул бы на весь мир, лишь бы спастись от тебя.

Скоро последний экзамен... Сажу и сосу монпансье (тоже последнее) вперемешку с мундштуком. Может быть, для развлечения съем пару гольцев, напоминающих вкус вашей ветчины. Освежу свою голову снегом, поправлю в зеркале усы — это на тот случай, если промелькнет мысль о возможности твоего прихода. Во рту — смесь никотина с сахаринром — характерный привкус жизни. Ах как хорошо было бы почистить зубы.

Счастлива ли ты, моя любезная Анна? Наладилась ли вапа семейная жизнь? Если верить медицине и Богу,

то именно теперь ты должна одарить — его — ребенком, — или нужно верить только медицине?

Я видел недавно ящерицу. Ящерица — шпион из подземного мира и предсказывает смерть. Я убил ее, чтоб не подглядывала в мою жизнь — ибо этому я учусь здесь. Нет худа без добра. Есть только подлость с любовью — только это не я говорю — пословица такая...

Скоро экзамен большого масштаба. Есть у меня все же одна лазейка к бегству от тебя — но пусть: спокойно лежит в чемодане.

Человек, который ушел в себя, говорит тебе, Анне: самые прекрасные строчки в русской литературе написаны Смердяковым: «Истребляю свою жизнь своею собственною волей и охотой, чтобы никого не винить».

<1925>

Анна Ахматова — несколько встреч

Впервые я увидела Анну Ахматову 17 февраля 1962 года, в столовой писательского дома творчества в Комарово. В широком черном одеянии, с белой палью на плечах, она медленно шла, опираясь на палку и на руку спутницы. «Говорит нараспев... Несколько раз бросала на нас — двух новых лиц — взгляды, полные живейшего любопытства», — писала я в тот же день.

В Комарово, в этот «Дом Хворчества», как его метко прозвали обитатели, в большинстве старые, больные ленинградские литераторы, показавшиеся мне весьма спесивыми, — мы с моей коллегой по московскому Гослиту, где тогда работали, приехали благодаря содействию В. Н. Орлова, в то время — главного редактора «Библиотеки поэта». Орлов вознамерился выпустить однотомник Марины Цветаевой; Ариадна Сергеевна Эфрон и я должны были готовить тексты и комментарии.

Из-за случившейся со мною в издательстве неприятности с изданием Пушкина* я опаздывала в Комарово на сутки — и тем сильнее жаждала поскорее увидеть Анну Андреевну (я знала, что она там) и услышать от нее рассказ о встрече с Мариной Ивановной.

Девятнадцатого февраля нас с Анной Андреевной Ахматовой познакомила Ника Николаевна Глен, — она тоже работала в Гослите и приехала на два дня в Комарово.

В тот день Анна Андреевна неважно выглядела, однако согласилась принять меня. Она трудно дышала, тем не менее была очень любезна и приветливо улыбалась, — так что с нею я сразу почувствовала себя очень свободно и естественно. Рассказ ее о встрече с Цветаевой я от волнения плохо запомнила; почему-то лишь застряла в памяти «Маринкина башня» в Коломне из ахматовского стихотворения, — хотя его Анна Андреевна в тот раз не читала. От волнения же я много болтала сама, в чем потом себя упрекала. (Впрочем, позже поняла, что Ахматова, будучи в общении чрезвычайно проста, и в собеседнике предпочитала естественность, весьма иронически относясь к чужой скованности и «преданным глазам».)

Я просидела у Анны Андреевны примерно полчаса и поспешила удалиться, не желая ее утомлять. Уходя с неожиданной радостью услышала, что

* См. «Юмор Ариадны».

Анна Андреевна, собиравшаяся через некоторое время выйти погулять, обратилась ко мне: «Хотите? Если никуда далеко не уйдете». Разумеется, я хотела, и с нетерпением стала ждать. Но Ахматова до обеда так и не вышла — плохо себя чувствовала. Потом пришла Н. Глен и передала ее слова: «Барышня очень понравилась, красивая и мило держится». Этим я готова хвастаться до сих пор; главное, конечно, было то, что Анна Андреевна с первой встречи меня приняла, признала.

Обо всем этом я поведала в письме к родителям, которое накатала в тот же вечер. Вот отрывок:

«После обеда влетела запыхавшаяся Ника и сказала, что АА приглашает нас (уже с моей коллегой) к себе, она будет читать свою работу о Пушкине — она ведь давно пишет книгу о последнем периоде его жизни, о Н. Н. Гончаровой и ее сестре Александрине, о дуэли, и все обстоятельства гибели. — Мы пришли. Она чувствовала себя лучше, была весела, остроумна; читала вслух главу «Александрина», где разоблачала легенду о том, что та была с Пушкиным в связи».

...Воспринимать на слух «Александрину» оказалось нелегко. Не потому, что читала Анна Андреевна глуховато-монотонным голосом; ведь при чтении стихов именно такая ее интонация преображалась в музыку. «Пушкинские штудии» Ахматовой так насыщены информацией, что, как мне думается, более предназначены для чтения глазами. В них много отсылок, сопоставлений, имен, упоминаний,

намеков, порой — иронических, — словом, требуется неспешное проникновение — не говоря уже о подготовленности. К тому же я в то время находилась под влиянием *Пушкина Марины Цветаевой*, под властью цветаевских «формул», разящих и пристрастных: «Тяга Пушкина к Гончаровой... тяга гения — переполненности — к пустому месту. Чтобы было куда... Он хотел нуль, ибо сам был — все...» Или: «Расизм до своего зарождения Пушкиным опрокинут в самую минуту его рождения». И множество других... Ахматовская манера исследователя показалась мне несколько чуждой. В отличие от Цветаевой, которой для «ее» Пушкина понадобилось три-четыре книги, Ахматова изучила массу литературы; за каждым ее словом стояли факты, которые она порою преподносила со сдержанным презрением, иронией, либо горечью: «Щеголев допускает, что всю историю романа Пушкина с Александринной выдумала Арапова, дочь Натальи Николаевны от Ланского, — для симметрии и для оправдания Натальи Николаевны. По-моему, воспользовалась, а не выдумала. Эту версию, выдуманную Геккернами, вырастила и пестовала до своего последнего дыхания Идалия Полетика. Она не устала вдалбливать свою бесстыдную сплетню Полоумному Трубецкому в Одессе (о чем он, к счастью, сам сказал своим слушателям на даче в Павловске)».

...«Мы, прослушав чтение, хором завопили, что это надо срочно печатать. Анна Андреевна расцвела, была рада; мы поговорили «за Пушкина» contre

Natalie* и проч. Засим удалились, а через полчаса узнали от Ники, что «барышни оказались квалифицированные» (из моего письма от 19 февраля). И дальше: «У меня перед глазами все время та, эпохальная Ахматова, «с узким нерусским станом»**, и я чувствую себя, как в сказке, — глазам, ушам и сердцу не верю... Подошла сейчас потихонечку в столовой к «компаньонке»*** (АА не вышла к ужину после прогулки) и сказала, чтобы она стучала нам всегда в случае надобности, и отлучалась, когда и куда надо, — с удовольствием, мол, посидим с АА. Она была очень рада, звала «просто так». Причем я верю, что и АА будет рада. Она очень одинока. Словом, жаль ее до ужаса. Наивность в ней какая-то...»

«Наивность» — конечно, не совсем точно; но и до сих пор не знаю, как передать эту удивительную ахматовскую аристократическую простоту...

Увы, мои письма из Комарово кратки и невыразительны; вот слова из одного: «С АА интересно говорить: она судит ясно, здраво и очень просто. Наталья Николаевна погубила Пушкина. Гоголя, Достоевского и Б. Л.**** погубила слава. Слава — вещь обманчивая и призрачная».

* О том, что Анна Андреевна терпеть не может жену Пушкина, знали все.

** Слова из стихотворения М. Цветаевой.

*** Л. Д. Большинцовой; о ней — чуть позже.

**** Б. Л. Пастернака.

«...после того как АА сама позвала нас слушать «Александрину», мы почувствовали себя у нее «своими»... Вчера вечером «компаньонка» мне сообщила, что она едет в Ленинград сегодня утром... Я пришла к АА... накуталась, и мы с АА пошли гулять. Ходит она с палочкой, опираясь при этом на руку соседа. Ходит медленно, через каждые 2 минуты останавливается — и немудрено: только что у нее был третий инфаркт. Кроме того, ей нельзя долго быть на холоду, ибо у нее «фронтит» (боль во лбу) от холода. Гуляли мы с ней 45 минут. С ней очень легко, она славная, симпатичная, умная, очень проста в обращении и, конечно, идеально («по-петербургски») воспитана... Сегодня она сказала, что у меня типично московский выговор... Потом мы пришли домой, она велела прийти через час. Я говорю: «велела», а на самом деле это выглядело так: «Анна Андреевна, когда к Вам прийти?» — и она, с достоинством, но и не желая обременять, говорит, как и что. Главное, что ей нравится, когда мы у ней торчим. «Не уходите, я хочу поговорить!» — басом и нараспев». Это я пишу домой 22 февраля. После обеда я опять пошла к Анне Андреевне. «Мы очень интересно поговорили: о Марине, о Пастернаке, о ней самой, — глупо пишу я там же. — Потом я повела ее в столовую; после столовой она хотела немного погулять...»

Эта прогулка, к сожалению, не состоялась: приехал В. Н. Орлов, и надо было многое обсудить

в связи с тем, что я подписывала договор на совместное, с А. С. Эфрон, составление и комментирование однотомника Марины Цветаевой в «Библиотеке поэта». Анна Андреевна деликатно поинтересовалась, нельзя ли издать в «Библиотеке поэта» ее стихи. Мне было очень трудно ей ответить, что эта серия печатает только умерших поэтов. (В прошлом, 1961 году, после долгих мытарств, борьбы по пустякам, насильственных вставок и изъятий, вышла маленькая книжка «Стихотворений» Ахматовой с мерзким послесловием А. Суркова; не говорю уже о «профильтрованном» ее составе — результате «работы» гослитовского начальства. Анна Андреевна называла ее «смердной» — одно из излюбленных ее словечек; однако позже все-таки надписала мне ее: «Анне Александровне Саакянц хоть такую на память. Ахматова, 15 мая 1962 г. Москва».)

Но вернусь к своему письму: «Мы с Верой, во второй половине дня, безнадежно засели у нее, пили чай и болтали... Никогда не думала, что с ней так просто. Сегодня я ей пришивала оторвавшуюся от шубы пуговицу... На днях она показывала нам свой альбом. Хороша была — удивительно! И сейчас очень хороша, только это два разных человека: та Ахматова — восточная, томная, тонкая — и теперешняя: грузная, величественная, «бабушка».

26 февраля: «От АА уже не вылезает. Друзья. — Вчера не отпускала до 12 часов ночи, читала всякие стихи, было много интересного».

13 Машиште

в

1 9 4 2

A

Милон?

Анна Александровна

Саякмуз

на память

от

Ахматовой?

27 февраля

1 9 6 2

Комарово



Анна Ахматова

Автограф Анны Ахматовой

АННА АХМАТОВА

Милой

*Анне Александровне
Саакянц*

ЧЕТКИ

на память
СТИХОТВОРЕНИЯ

Комаровском

КНИГА ПЕРВАЯ

кедре
Анны Ахматовой

ИЗДАНИЕ ДЕВЯТОЕ

ДОПОЛНЕННОЕ

15 мая

1962

Москва

1 9 2 3

АННА АХМАТОВА

СТИХОТВОРЕНИЯ

(1909—1960)

*Анне Александровне
Саакянц
хоть такую
на память
Ахматова*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1961

*15 мая
1962
Москва*

Автограф Анны Ахматовой на сборнике «Стихотворения».

Но надо сказать о спутнице Анны Андреевны, небрежно поначалу названной мною «компаньонкой»; с нею мы подружились уже на второй день, и стало ясно, что она связана с Ахматовой как бы нитями Поэзии и Истории.

Это — Любовь Давыдовна Большинцова, «Любочка», переводчица. В далеком прошлом — жена Валентина Стенича, того самого «юноши Стэнча», с которым в восемнадцатом году случайно встретился Александр Блок и увековечил его в очерке «Русские денди», а в дневнике записал его слова: «Если социализм осуществится, нам останется только умереть»; «Я каждые полгода собираюсь самоубиться»; «Мы живем только стихами»* и т. д. Молодой поэт Стенич сгинул впоследствии в ГУЛАГе, как и второй муж Любочки, кинорежиссер Большинцов. Дважды вдова, Любовь Давыдовна была воплощением самой женственности; невысокая, немолодая (тогда ей было пятьдесят четыре года), ухоженная и подтянутая, она была олицетворенная элегантность. Однажды она задумала приготовить крем для лица (из меда, сливок и чего-то еще); помню, как она священнодействовала, а Анна Андреевна с величественным любопытством наблюдала, роняя редкие, но весомые реплики знатока.

* Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. М.; Л., 1963. С. 323 — 324.

Любочка была очень доброжелательна к людям; невозможно представить ее, гневно осуждающей кого-то. Гораздо позже я осмыслила: какие страдания довелось пережить ей, человеку из другой эпохи, связанной с теми, кто причислял себя к последним, уходящим... Она и сама была «уходящей натурой», подобно Ахматовой, — неважно, что намного ее моложе. Будучи привязанной к Анне Андреевне, любя ее, она, тем не менее, вполне трезво судила о ней. Помню, однажды она, как всегда деликатно, сказала: «Анна Андреевна, когда надо было, в тяжелые годы, зажечь примус для любимого человека, ложилась, кутаясь в шаль, и говорила: — Мне это не нужно. — И любимый человек уходил — мужчины уходили от Анны Андреевны». Как-то она уморительно и похоже изобразила Ахматову, гордо подняв голову и прогудев басом: «Я страшно люблю одиночество, — говорила Анна Андреевна, — и... никогда не оставалась одна».

Но это — юмор и быт. Уж кто-кто, а Любовь Давыдовна прекрасно понимала, что одиночество было неразлучным ахматовским спутником, — сколько бы нас всех ни толпилось рядом...

Когда я называю по привычке
Моих друзей заветных имена,
Всегда на этой странной переключке
Мне отвечает только тишина.

...Любочка жила в Москве, в Сокольниках, на улице Короленко, в уютной квартире на пятом

этаже без лифта. Там впоследствии, летом 1965 года, мы виделись с Анной Андреевной после ее поездки в Италию и в Англию. В памяти остался юмористический рассказ Ахматовой о ста двадцати ступеньках старинного сицилийского замка в Катанье, где ей вручали премию «Этна Таормина». Надо было подняться по длиннейшей лестнице. Отступать было некуда, Анна Андреевна мысленно прикинула, осилит ли подъем, взяла себя в руки, подумала: «Ну, похоронят по третьему разряду» — и мужественно преодолела лестницу. О юморе Ахматовой вспоминает почти каждый, об одиночестве говорят меньше. «Она очень одинока... жаль ее до ужаса», — это из моего письма от 19 февраля; эта печальная правда, можно сказать, с первой же встречи была в глаза. За те два или три выходных дня, что пришлось на наше пребывание в Комарово, никто из семьи не навестил Анну Андреевну, и это, по контрасту с другими обитателями Дома творчества, к которым постоянно приезжали родственники, особенно ощущалось. Ведь Ахматова приехала сюда после третьего инфаркта, случившегося осенью шестьдесят первого.

Недуг томит — три месяца в постели.
И смерти я как будто не боюсь.
Случайной гостьей в этом страшном теле
Я, как сквозь сон, сама себе кажусь.

А еще на год раньше, в шестидесятом, она дважды лежала в больницах: московской и ленинградской... Любочка рассказывала о сложных

отношениях Анны Андреевны с сыном, обиженным на нее, о равнодушии и *потребительстве* Пуниных — матери и молоденькой дочери, для которых она была всего лишь старая, больная «Акума».

Никого нет в мире бесприютней
И бездомнее, наверно, нет, —

это она о себе сказала...

Мало вспоминают и о трагедии скитальчества Ахматовой в старости. Не потому ли все больше и больше сдавало ее сердце, что она постоянно кочевала от одних приютивших ее друзей к другим, из северной столицы в Москву и обратно, из больниц — в чужие дома? А разве не символичны эти прозвища ее временных обиталищ: «Будка» — сперва одна, потом — другая углая дача под Питером; «Шкаф» — крохотный закуток в московском доме Ардовых на Ордынке...

В ленинградской квартире Анны Андреевны я была однажды, вскоре после Комарово. Помню узкую темную комнату, старинный сундук и на стене — знаменитый ахматовский силуэт работы Модильяни. Раза три посетила ордынскую комнатушку, где не повернуться; правда, Ахматова гостеприимно принимала в столовой, под собственным портретом, выполненным любимым ею Алешей Баталовым. Когда она, осенью 1962 года, жила у Н. Н. Глен, я один раз приходила туда, в большой дом на Садово-Каретной (комната в коммунальной

квартире). В тот день, кажется, кто-то поинтересовался, какое впечатление произвел на Анну Андреевну Солженицын, с которым она только что виделась. «Он — прекрасен», — был ответ*.

О квартире Л. Д. Большинцовой я упоминала; взойдя пешком на пятый этаж, Анна Андреевна уже выходить на улицу не рисковала. Чужие, чужие, чужие дома...



Впрочем, справедливость требует важной оговорки. Рискну утверждать, что Анна Андреевна не была создана для семьи и быта, — как и Марина Цветаева. Однако Цветаева обречена была смолоду и до конца *жить в быту*, пусть и находясь с ним в неизбывной вражде: готовить, топить печи, убирать

* В связи с этим не могу не привести слова об Анне Ахматовой А. И. Солженицына — в разговоре со мной (*апрель 1971 года*).

— Вы с ней встречались? — спросила я.

— Несколько раз, — ответил Александр Исаевич. — Она читала мои стихи и нашла их слабыми (правильно). А потом сказала, что я на нее обиделся за это, и потому ругал «Реквием». А «Реквием» — частная вещь: о себе, о своих переживаниях, но не шире, — *не обо всех*. Я ей это высказал, она обиделась. Потом мне передали, что наш разговор распространился. Я встречаюсь с ней, говорим об этом — кто передал. Я: я ничего никому не говорил. Она: «Значит, я...»

И, спустя несколько реплик, которые я опускаю:

— Ахматова завершила эпоху, Цветаева ее начала. Но *завершить* — может быть, даже и труднее... (*примеч. 1997 г.*)

и прочее. И — воспитывать детей, — на свой, цветаевский лад. У Ахматовой в этих двух жизненных пунктах: *быт* и *ребенок* — был, что называется «прочерк», она была как бы отрешена от того и другого. Интересны в этом отношении записи П. Н. Лукницкого 20-х годов*. По ним видно, как Ахматова претерпевала быт: не жалуясь, не ропща, но и без кротости; она как бы миновала быт, относилась к нему машинально, иногда обращалась к друзьям с *нетребовательными* (в отличие от Цветаевой) поручениями. Нельзя забывать, что она часто недомогала, часто температурила, однако и к здоровью своему относилась тоже как бы машинально, не пугалась болезней, не придавала им значения, просто — обессиливала. Что до сына, воспитывавшегося в семье мачехи, то в записях Лукницкого о нем нет — или почти нет — упоминаний.

Но интересно, что обе: и Цветаева в 1918 году, и Ахматова — в 1915-м, произнесли одни и те же слова:

Дурная мать! — Моя дурная слава
Растет и расцветает с каждым днем.

(М. Цветаева, «Памяти Беранже»)

Спи, мой тихий, спи, мой мальчик,
Я дурная мать.

(А. Ахматова, «Колыбельная»)

* Лукницкий П. Н. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1. 1924—1925 гг. Paris: YMCA-PRESS, 1991; Т. 2, 1926—1927. Париж; Москва: YMCA-PRESS. 1997.

Цветаева, будучи матерью страстной и пристрастной, к детям, между тем, была равнодушна, а их шумное общество ее раздражало. Ахматова, напротив, относилась к детям с добротой, а ее нежная привязанность к маленькому Вале Смирнову (соседу по ленинградской «коммуналке») известна, как и посвященное ему стихотворение «Постучись кулачком — я открою...».



Вернусь, однако, в Комарово. Был день моего «дежурства». (Мы с приятельницей по утрам чередовались: одна из нас уходила на лыжах, другая — гуляла с Анной Андреевной.) Погода была ясная, солнечная; синее небо, голубой снег, красные стволы крепких толстых сосен, — все это так отличалось от желтоватых февральских красок Подмосковья. Мы с Анной Андреевной вышли на порог, готовясь к прогулке. У дверей стояли несколько писателей; давняя знакомая Ахматовой, Л. Я. Гинзбург появилась с фотоаппаратом. Несколько человек с резвой готовностью приблизились к Ахматовой, желая попасть в кадр, — сама Анна Андреевна, разумеется, была невозмутима. Я демонстративно отошла в сторону; во мне кипело возмущение — эти люди созерцали Ахматову на расстоянии, и никто не предложил ей самую элементарную помощь. «Восхищаться стихами и не помочь поэту!» — били во мне набатом эти цветаевские слова. Но — подумала я гораздо

позже, — та же Цветаева писала: «Помочь — ведь тоже — посметь». Может, многие не решались — вот так просто подойти и предложить помощь; к тому же, прямо скажем, молодежи в Комарово почти не было.

Вероятно, я не совсем была права в своем тогдашнем максимализме: ведь всё же «бертрановские посты преданности» (слова Цветаевой) вокруг Анны Андреевны не пустовали. Любочка Большинцова, Ника Глен, специально приезжавшая из Москвы. А почитатели мужского пола! Только за те две недели, что я была в Комарово, их приезжало несколько; цветы и конфеты Анна Андреевна принимала с величавой признательностью. Однажды Любочка постучала к нам довольно поздно — мы уже легли: «Девочки, приходите, Анне Андреевне привезли шампанское и шоколад» — и, предупреждая нашу стеснительность: «Ей ведь это нельзя». И мы, накинув поверх ночных рубашек шубы, помчались в противоположный конец коридора, в просторный номер Анны Андреевны, — до сих пор не перестаю восхищаться этой сверхнепосредственностью отношений.

В ту ночь Анна Андреевна поделилась с нами своей огромной радостью: гость, приезжавший к ней, привез журнал (или газету), где впервые за много лет был упомянут Николай Гумилев. Думаю, нет нужды объяснять, что значило для Анны Андреевны это упоминание, пусть и в соответственном (по тем временам) контексте. Шампанское мы распили.

...Что же до поклонников-мужчин, то Анна Андреевна неизменно держала с ними ту изначальную, природой продиктованную дамскую дистанцию, с какою истинная женщина (возраст не имеет значения) относится к своим «воздыхателям». Эта «расстановка сил» постоянно ощущалась в разговорах с Анной Андреевной на соответствующие темы; давно, к сожалению, канувшая в Лету, она воспринималась как идеал, которого нужно достигать заново. Мужчины как бы принадлежали к другой «расе», они были с другой планеты, — и отсюда великое ахматовское открытие:

Есть в близости людей заветная черта,
Ее не перейти влюбленности и страсти, —

и разительный контраст с цветаевским: «Я никогда не хочу на грудь, всегда в грудь! Никогда — припасть! Всегда пропасть! (В пропасть)». Поклонники подразумевались сами собой, были величиной постоянной, и в то же время им как бы не придавалось значения. *Ахматова и мужчины* — это витало в воздухе во время наших бесед. Чуть ли не в первый же наш разговор, когда речь шла о поэзии, — о моей робости и серьезности нечего и говорить, — Анна Андреевна неожиданно заметила: «А вы опасны для чужих жен», — без всякого перехода, просто и непосредственно, — возможно, приглашая меня к откровенности. Но разве я могла?

Чужих мужей вернейшая подруга
И многих — неутешная вдова...

О современной поэзии мы с Анной Андреевной не говорили. Только однажды я решила показать ей стихотворение Б. Ахмадулиной «Мотороллер», — меня смешило его начало: «Завиден мне полет твоих колес, // О, мотороллер розового цвета». Анна Андреевна, не зная это стихотворение, прочла и сказала, что его нужно сократить ровно вдвое; в целом же о творчестве поэтессы выразилась так: «Это — очень добротное, вполне удовлетворительное... кафе».

Она познакомила нас со своим младшим другом и собратом по «ремеслу» — поэтом и переводчиком Александром Ильичом Гитовичем, которого ласково называла «Саней». Стихи его Ахматова ставила очень высоко — это я слышала от нее несколько раз, — и по-человечески была к нему привязана. Однажды А. И. Гитович пришел к ней «зело выпивши», да принес еще «четвертинку». Был он небрит, весел, острил без устали. Мы сидели в холле ахматовского номера; Гитович разлил всем. Когда моя приятельница наотрез отказалась пить, Анна Андреевна весьма строгим голосом сказала: «Нельзя обижать поэта. Вы можете незаметно вылить под стол, но сделайте вид, что пьете». Затем все, кроме Анны Андреевны, отправились на дачу Гитовичей — неподалеку от ахматовской «Будки». Нас приветливо встретила С. С. Гитович; два великолепных колли (с одним из них Анна Андреевна увековечена на фотографии) изъясляли живейшую радость.

Заметив, что моя приятельница опасливо их сторонится, А. И. Гитович, шутливо приударивший за нею, заявил: «Поцелуйте меня, или вас укусит собака». Когда, вернувшись, мы описали эту сцену Анне Андреевне, она очень смеялась и по достоинству оценила ситуацию.

Александр Ильич Гитович умер в одном году с Анной Андреевной. Их могилы на Комаровском кладбище почти рядом...



У Ахматовой были красные финские саночки в виде стула на полозьях; держа за спинку, сани-стул везли вперед. Анна Андреевна любила, когда ее так катали. Это продолжалось, к сожалению, недолго — из-за холода. На одной из наших санных прогулок она была разговорчива и предметом беседы избрала В. Н. Орлова, главу «Библиотеки поэта». Он приезжал в Комарово к знакомым, но видеться с Анной Андреевной не захотел: уже давно он сердился на нее за строку о Блоке:

— Трагический тенор эпохи —

(стихотворение 1960 года: «И в памяти черной пошарив, найдешь...»)

Ахматова иронически заметила, что Орлов не может простить ей этих слов, полагая, очевидно, что *тенор* — это оперное амплуа. (Нужно ли объяснять, что в устах Ахматовой слово *тенор*

означало — Поэт, Певец, Орфей?) Потом Анна Андреевна, как бы «в отместку», рассказала, что Орлов третировал свою жену и был повержен в прах, когда она внезапно его оставила, — какой это был удар по его самолюбию...

Так было при жизни. А в стихах на смерть Ахматовой В. Н. Орлов писал: «Павшая в неравном поединке, // Ото всех испившая отрав, // Спит старушка в кружевной косынке, // Все земное смертию поправ».



Однажды Анна Андреевна спросила меня: какой эпитафия из Цветаевой поставить к ее стихотворению «Комаровские кроки»?* Я с готовностью воскликнула: «О, Муза плача, прекраснейшая из муз!» «Златоустая Анна всея Руси!» И когда позже Анна Андреевна выбрала средний вариант: «О, Муза плача...», я не столько порадовалась тому, что она послушала моего совета, сколько — ее безукоризненному вкусу: ведь именно *сокращенная* цветаевская строка выражала самую суть и была абсолютно незаменима.



Близилось к концу пребывание в Комарово. Ахматова позвала нас к себе, разложила на столе

* У этого стихотворения целая история. См.: Ахматова А. Сочинения. Т. 1. М.: Худож. литература, 1986. С. 247, 437.

целую россыпь своих фотографий и великодушно разрешила выбрать. Я взяла несколько; Анна Андреевна надписала все: «30-е годъ» (на рисунке Н. Коган), «Будка», «В Ташкенте в 1942», «Фонтанка. Анна Ахматова 1924». На фотографии конца 50-х годов, где на голове Анны Андреевны белый пуховой платок, написала: «Милой Анне Александровне на память об Ахматовой. 27 февраля 1962. Комарово».



Анна Андреевна носила с собой небольшую сумочку. Как-то она открыла ее, и посыпалось множество бумажек: рукописи вперемешку с деньгами. «Архив, архив», — подумала я легкомысленно и почувствовала, как отрешенно относится Анна Андреевна к тому, что принято называть ценностями. Архив Ахматовой, к счастью, сохранился*, но сколько вокруг него впоследствии разлилось грязи! Что же до денег, то она всегда была бедна, а когда они заводились, тратила их не считая и делала подарки друзьям.



Во время встречи в мае 1962 года на Ордынке, я попросила Анну Андреевну дать мне записку в архив (тогдашний ЦГАЛИ): в ее фонде хранились два

* Записные книжки Анны Ахматовой (1958—1966) были изданы в 1996 году (Москва; Torino, Giulio Einaudi editore (примеч. 1997 года)).

письма к ней Марины Цветаевой и одно — маленькой Али. Анна Андреевна любезно дала записку. Лишь через семь лет одно цветаевское письмо (1921 год) было напечатано в четвертом номере «Нового мира»; о печатании другого — от 1926 года — не могло быть и речи: Цветаева, поверившая ложным слухам, радостно ожидала приезда Ахматовой в Париж.

Тогда же я принесла Анне Андреевне статью Кирилла Мочульского «Русские поэтессы. Марина Цветаева и Анна Ахматова», которую переписала из парижской газеты. Статья была несколько прямолинейной; само слово «поэтессы» раздражало, ибо обе героини статьи были *поэтами*, а не поэтессами. Автор сопоставлял их по схеме: Москва («вихрь») — Петербург («тишина»). Анна Андреевна не скрыла неудовольствия и попутно вспомнила, что Георгий Иванов в «Петербургских зимах» приписал ей небывальщину о том, как в разруху она якобы шла по Моховой с мешком муки, и какая-то женщина подала ей на бедность копейку.



В кругу друзей мы звали Анну Андреевну: ЭПОХА.

За этим шутливым прозвищем стоит многое. «...мы чувствовали себя людьми 20 века и не хотели оставаться в предыдущем», — писала Ахматова.

Какую же эпоху олицетворяла она?

Короткую и трагическую: подорванную летом 1914-го выстрелом в Сараево и оборванную

в 1917-м. У Ахматовой есть поразительные строки, написанные, когда ей было двадцать семь лет:

Из памяти, как груз отныне лишней,
Исчезли тени песен и страстей.
Ей — опустевшей — приказал Всевышний
Стать страшной книгой грозových вестей.

(«Памяти 19 июля 1914»)

Около тридцати лет спустя она сказала об этом проще и трагичней:

Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула.
Мне подменили жизнь. В другое русло,
Мимо другого потекла она,
И я своих не знаю берегов.

(Из «Северных элегий»)

Эпоха «переехала» Эпоху. Если творчество Ахматовой потекло в другое русло, — об этом писали и еще много будут писать, — то жизнь, путь, судьба — были разрушены. «Когда знаешь, что никогда, никуда, начинаешь жить тут. Приживаешься к камере» (М. Цветаева, «Дом у Старого Пимена»). Анна Ахматова тоже вынуждена была «прижиться к камере» советской эпохи, и даже (мысленно) — к реальной камере, в которой сидел ее сын...

Большинство встречавшихся с Анной Андреевной вспоминает ее в последний период жизни, и очень однообразно: царственна, остроумна, величественна, проста; и я, разумеется, тут не оригинальна. Мы вспоминаем виденное глазами и слышанное

ушами. Приметы, но не суть. Записаны тома ахматовских разговоров: книги Павла Лукницкого, Лидии Чуковской. Повседневные, обыденные разговоры, в которых неумолимо тонет, мельчает личность поэта; все читается как монотонное повествование*. (Эккерман в «Разговорах с Гёте» работал совершенно иначе, — но не об этом сейчас речь.) А главное — в том, что Ахматова всегда была в броне, в роли, — как всякий человек, — еще мягче: за вуалью. Она стремилась к общению, но душа ее была закрыта; открывалась она только стиху. Стих, его более удачный вариант, более точное слово — это она охотно обсуждала. Но в себя, туда, *откуда* стихи, — не пускала никого. Ибо —

И не с кем плакать, не с кем вспоминать...

— сколько бы не было вокруг добросовестных летописцев, подающих надежды поэтов, восторженных поклонников или скромных облегчителей быта.

Все души милых на высоких звездах.

Как хорошо, что некого терять

И можно плакать...

«О, Муза Плача...»

Ее двадцатый век был убит.

* Особенно это относится к объемистым трехтомным «Запискам об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской (М.: Согласие, 1977). Плохую услугу поэту оказал их автор, втягивая порой Ахматову в неинтересные разговоры, а то и в недостойные сплетни и даже клевету. Имею в виду злобные наветы на О. В. Ивинскую, оскорбляющие, не в последнюю очередь, память Бориса Пастернака (*примеч.* 1997 г.).

...Ей было семьдесят три, когда мы встретились, — не так много по современным понятиям; но страданий и недугов она отведала выше сил человеческих. Она сохранила молодую живость души, но и глубокую ее усталость. В ней жила пушкинская *всемирная отзывчивость*, но дух смерти давно поселился в одном из закоулков ее сердца — метафорически и буквально, не раз окликаемая: *готова ли?* — вынуждая отвечать: «Я была на краю чего-то, // Чему верного нет названья»; «А я уже стою на подступах к чему-то, // Что достается всем, но разною ценой»; «Господи! Ты видишь, я устала // Воскресать, и умирать, и жить...» И, наконец («Памяти В. С. Срезневской»):

Но звонкий голос твой зовет меня оттуда,
И просит не грустить и смерти ждать, как чуда.
Ну что ж! попробую.

«Андроников — моя фамилия»

С этой фразой он входил в нашу комнату; расплываясь в улыбке, шествовал к окну, садился на стул, и... вся наша работа, работа десятка редакторов (почти всех — «редактрис»), занимавших эту нелепую сорокаметровую комнату, к нашему удовольствию, немедленно разваливалась. Ираклий Луарсабович Андроников, разрушитель рутины и возмутитель спокойствия, приносил нам радость и праздник, — он сам был человек-праздник. Он появлялся, как правило, неожиданно и подобно волнам чистого воздуха, врывавшегося в удушливую атмосферу издательского каждодневного прозябания, — ибо ходить на работу полагалось ежедневно (кроме тех дней, когда удавалось отпроситься в библиотеку); отсиживать с девяти до шести... Но разве можно «редактировать» восемь часов подряд? Перешептыванья, да просто громкие переговариванья через всю редакционную, обсуждения каждого слова и шага нелюбимой заведующей, перемежаемые

неоднократными чаепитиями. Творческой тишины в таких условиях не было и быть не могло... Заведующая же, будучи типичным «продуктом» своего времени, понятно, не жаловала визиты Ираклия Луарсабовича. Мало того, что он отвлекал нас от дела, — он еще мог шутливо посетовать на то, что пребывает в «мизерабельности» и «пауперизме» (деликатный намек на задержку гонорара). Издательство, за редкими исключениями, не спешило с выплатами; начальство полагало, что любой автор — человек, безусловно богатый, а к тому же и жадный. Впрочем, богатым, как, например, Шолохову, спьяну еле ползущему, держась за стенку, в бухгалтерию, как и амбициозному Симонову, платили вовремя. Большинство же посетителей издательской кассы пребывало в состоянии ожидания, пауперизма и мизерабельности.

Ираклий Андроников приходил к нам как бы под девизом: «Я хочу рассказать вам...» (Так он назвал одну из своих книг, а слова эти принадлежали Лермонтову — его кумиру, перед которым он преклонялся и которым занимался всю жизнь.) И незамедлительно приступал к делу. На наших глазах рождались живые сценки, небольшие эпизоды, в которых сам Ираклий Луарсабович, конечно, был действующим лицом, не смущаясь порою выставить себя в самом комическом свете. Почему-то запомнилось, как он описывал свое нетерпеливое ожидание такси на мостовой; машины не желали

останавливаться, не реагируя на его отчаянную жестуляцию и крики. Размахивая руками, Ираклий Луарсабович, издавал гневные восклицания, которые не без удовлетворения и продемонстрировал нам в редакции. Он говорил, что ему необходимо выплескивать энергию, разрядиться, — этого требовал его темперамент. Его любимые выражения: «Чтобы я умер в жутких корчах» (убеждая в своей правоте); «Кошмар и два кошмара одновременно!»; «Я буду думать в этом направлении»; «Будь здоров, не кашляй!», «Не кашляй, будь здоров!» (любимая присказка).

И настоящим праздником бывали те дни, когда Андроников, если ему позволяло время, представлял перед нами со своими знаменитыми «устными рассказами». Ему самому это было в удовольствие; он охотно «шлифовал» на нашей благодарной аудитории свои старые вещи — непременно с какими-нибудь новыми подробностями; порою же «пробовал», проговаривал и новые. Увы, я не записывала за ним, о чем, разумеется, очень жалею сегодня. Одна из наших сотрудниц, Чулпан Залилова, к счастью, оказалась гораздо умнее меня. Вот ее запись рассказов Ираклия Луарсабовича, звучавших в редакции 3 сентября 1965 года:

«В гостях у Горького

Я приехал в Москву, жил в Серебряном переулке у Коншиных; пригрели меня Игнатовы. Решил жениться, и... женился. Был женат один день, и мы с ней решили, что после ее спектакля

я зайду, и мы пойдем к ней, она познакомит меня со своими друзьями. Сижу дома. Телефонный звонок. Всеволод Иванов: «Иракий! Мы вот тут в гостях у Алексея Максимовича, на дне рождения. Говорили, вспомнили вас; приезжайте сейчас, Алексей Максимович хочет вас видеть!» Что делать? Говорю, что не могу. Трубку берет Алексей Толстой: «Иракий! Ты идиот! Старик тут про тебя кудахтал, нравишься ты ему! Приезжай сейчас же! Что значит не можешь! Великий писатель его приглашает, а он не может! Ты рехнулся? Приезжай немедленно! Мы все сами пришли, а его приглашают, а он занят, видите ли! Чем ты занят? Ну и черт с тобой!» Опять звонок: «Иракий! Не будь идиотом, приезжай! А вообще-то за тобой тут уже выехали двое в красных околышах!»

Приезжают. «Такой-то?» — «Да!» — «Собирайтесь, мы за вами!» Что делать? Приходится ехать! А я, братцы, первый день женат! Обидится на всю жизнь, бросит! Звоню ей. Говорит: конечно, иди, это важно. Отменим, соберем в другой раз. Да нет, говорю, не надо отменять, я вырвусь!

Приезжаем. В зале человек девяносто за столом. Шум, крики, тосты Фадеева, призывающего выпить «за комплот, так сказать, писателей». Здравуюсь со всеми, со стариком. Никто уже не обращает внимания. Сажусь рядом с Толстым и Всеволодом Ивановым. Толстой шипит: «Чем ты занят? Я должен все же следить за тобой! Приехал в Москву, шляешься, ничего не делаешь. Почему ты не мог приехать?» — «Я женился.» — «Что? Позавчера ты у меня обедал и не был женат?» — «Да, я сегодня женат!» — «На ком же ты женился? А-а-а! Ты разговаривал полчаса по телефону с пепельной блондинкой! На ней женился? (Иванову). Он женился на пепельной блондинке!» Иванов: «Ты что же, ее видел?» Толстой: «Нет.» — «Откуда же ты знаешь, что она пепельная?» — «Пепельная блондинка! Потому что с брюнетками так не разговаривают!»

Горький попросил меня рассказать что-нибудь и показать. Рассказываю, не слушают, кругом шум, крик. Горький сердится: «Пойдемте в библиотеку, там спокойнее, не хотят, пусть не слушают. Вы мне расскажете!»

Идем, с нами человек двадцать. В библиотеке опять же не слушают. Горький уводит в кабинет, с нами человек десять. Один из них шепчет мне, что неудобно: увел Горького от гостей. Я понимаю, что завтра мне не жизнь, писатели съедят. Что делать? Говорю, мол, гости ждут. Горький сердится: «Я, батюшка, сам знаю, когда мне гостями заниматься, а когда...» Обиделся, уходим. За столом Алексей Толстой сообщает Горькому: «А он женился!»

Алексей Максимович: «Ну где же молодая? Поздравим молодых! Где она?» Я:—«Она в театре, не может приехать.»—«В каком театре? Ах, у Рубена Симонова! Ну так привезите сейчас же всю труппу!»—«Да не надо, я сам съезжу!»—«Да зачем же самому ездить, вот сейчас скажем, и все будет доставлено в лучшем виде!»

В конце концов удрал.



Василий Иванович Качалов шел после спектакля домой пешком. Шел медленно, после болезни. Подскакивают трое молодых парней: «Сымай шубу!»—«Голубчики, давайте дойдем до моего подъезда, тут недалеко! Я, видите ли, болел недавно и боюсь простудиться! Не были бы вы так любезны дойти до подъезда со мной?» Те в конце концов соглашаются. По дороге Качалов объясняет им: «Я болел долго. А у меня завтра спектакль и послезавтра. Мне нельзя болеть, а то бы я вас не стал утруждать».

Они что-то начинают соображать. Говорят: «А как фамилия-то твоя?»—«Да вы не слышали, наверное. Качалов, Василий Иванович меня зовут».

Соображают. Тем временем подходят к подъезду. Качалов говорит: «Вот, братцы, какое дело. Как бы нам лучше устроить? Меня встречать будут. Так мы так сделаем: я позвоню, а вы держите шубу и скройтесь сразу, а я уж войду!»

Воры тогда решают: «Да мы так, проводили только! Нам ничего не надоб» — «Да что вы?! Как это благородно с вашей стороны! Но как же мне отблагодарить вас? Что-нибудь на память подарить? А, вот фляжечка моя! (У него всегда была во внутреннем кармане пиджака плоская фляжка с коньяком.) Я ее сегодня наполнил. Она плоская, но вместительная. Возьмите ее на память!»

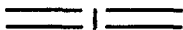
Входит, дома гости. Он рассказывает, что с ним случилось. А жена, коромысло это, хихикает и злорадно говорит: «А я сегодня в твою фляжку налила чаю крепкого!»

Качалов потрясен: «Как же это? Что же они обо мне подумают? Лгун, скажут, какой-то! Нет, так нельзя, надо их разыскать как-нибудь, объяснить!» — «Да что вы, Василий Иванович! Их арестуют тогда!» «Ну как же быть?! (В отчаянии.) Такие ведь славные ребята, не от хорошей жизни они! Мне надо встретить их еще раз!»



Вспоминая И. Л. Андроникова, я задаю себе вопрос: какова была главная, доминирующая черта его характера? И нахожу один и тот же ответ: необычайная, я бы сказала, исключительная доброжелательность. Не столько, может быть, черта, сколько свойство таланта, — не имеющее ничего общего с компромиссностью, равнодушием и тому подобным. Всею своей сущью Ираклий Луарсабович являл заинтересованную расположенность к человеку. Оттого так удавались ему портреты тех, кого он удостаивал чести

изобразить в своем устном слове. Даже если о его «герое» было известно что-либо отрицательное, — оно как бы сглаживалось и даже забывалось под влиянием звучащего андрониковского портрета. Ибо *правда* была именно за рассказчиком, который своей интуицией художника и артиста угадывал, расшифровывал характеры, задуманные *природой* и не искаженные обстоятельствами, политикой и т. п. Орудием его был юмор, исполнителем — голос. Всякий раз Андроников непостижимым образом преображал свой голос — распевное оканье Горького, сварливая скрипучесть Алексея Толстого, певучая баритональность Качалова, глуховатая «спотыкливость» Фадеева, постоянно преодолевавшего свое советское косноязычие словечками-паразитами «так сказать» («ть съзть») — произносил Андроников). Но — повторюсь — любой изображаемый, имитируемый персонаж вызывал неизменное сочувствие аудитории.



Мне хочется рассказать еще об одной удивительной черте Ираклия Луарсабовича, в которой я убедилась как бы на собственном примере.

Он прозвал меня «Метисова», или «Метиска». (Он, безусловно, знал имена всех, или почти всех редакторов — но ему больше нравились прозвища.)

Но почему «Метисова»? Потому что — и это Андроников тоже знал — я наполовину (по матери) —

русская, наполовину — армянка. Ираклий Луарсабович сам был метисом — о чем неоднократно и с удовольствием упоминал. И он всегда испытывал интерес к национальному происхождению человека; чем больше национальных примет (каждая нация ведь имеет свои особенности; это знали все, но не высказывали вслух), — тем человек многограннее, любопытнее для изучения. Такое свойство Андроникова, равно враждебное как пресловутому интернационализму, так и омерзительному национализму, — являло собою одну из граней его щедрого душевного таланта. И, добавлю, не шло «в ногу» с теми временами...

Все это я веду к тому, чтобы похвастаться надписью, которую он некогда сделал мне на своей книге «Лермонтов. Исследования и находки» («Художественная литература», 1964):

«Метисы — лучшие люди!

А. А. Саакянц

весьма дружески

Ираклий Андроников

18 июня 1964. Первый из увиденных мною экземпляров».

Заодно приведу и другую надпись: на книге «Я хочу рассказать вам...» («Советский писатель», 1962):

«Уважаемая и дорогая Метиска!

Вы сказали, что получить мою подпись на этой книге — это мечта. Чичиков тоже говорил Собакевичу, что каретник Михеев в некотором роде мечта. На что Собакевич ему отвечал:

— Ну нет! Это вам не мечта! Таких людей вы не сыщете — в эту комнату не войдет.

Таковы те чувства, какие я хотел бы вложить в эту надпись!

Ираклий Андроников

1963

март.

Ираклий Луарсабович прочел надпись вслух — всем — и довольно расхохотался. «Автопортрет» удался (Андроников, при невысоком росте, был достаточно плотен, — хотя в комнату не просто входил, а весьма легко «вкатывался»)...

Он знал, что я занимаюсь Мариной Цветаевой и что мы вместе с Ариадной Эфрон готовим ее издания; в разговоре иногда шутливо упоминал важного «Вову» (В. Н. Орлова, возглавлявшего «Библиотеку поэта»). А однажды принес в редакцию принадлежавший ему «Волшебный фонарь» с надписью юной Цветаевой:

«Милому папе, хотя он и забраковал эту книгу». МЦ. Москва 28-го февраля 1912 г.» — и без всяких моих просьб дал мне переписать ее*.

Его дар: *индивидуализировать* каждого человека, с кем имел дело, был тоже «несовременен» в годы обезличивания людей и взаимоотношений в так называемых «коллективах». Убеждена, что у нас в редакции Андроников знал и помнил каждого. Так, например, он выделил из нашей женской «когорты»

* В 1981 году Андроников передал эту книгу в Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина на Волхонке.

Уважаемая и дорогая Марина!

Вы сказали, что иллюстрация моя
написана на этой книге — это
ложь. Тимиков тоже говорил
Сабакеву, что кажется
Михеев в некотором роде ложь.
На что Сабакев ему ответил:
— Ну нет! Это вам не ложь!
Таких людей вы не свистите — в
эту комнату не войдет.

Такова же правда, какие я
хотел бы вложить в эту надпись!

Иракий Андроников

1963
лет-

малоприметного скромного сотрудника, любителя классической музыки. (Как он узнал об этом — не представляю.) В те годы кто только из великих музыкантов не приезжал к нам — от Стравинского до Маркевича... И вот, в каждый свой приход Ираклий Луарсабович неизменно обращался к «маэстро Чулкини» (нашего меломана звали Сергей Чулков) и осведомлялся, был ли тот на очередном концерте. Если сам Ираклий Луарсабович не был, то очень сожалел об этом и расспрашивал подробности. В большинстве же случаев он не пропускал пиршеств музыки, ибо был страстным меломаном.

Он знал *наизусть* целые симфонии, инструментальные и оперные партии... Иногда, когда по его молчаливому внушению в нашей комнате воцарялась тишина, он принимался тихонько насвистывать. Чаще — из симфоний: Бетховена, Чайковского. Или оперные арии. Рука его при этом невысоко парила в воздухе с грацией утонченного дирижера. Недостаточно сказать, что Ираклий Луарсабович обладал абсолютным слухом. Он весь уходил в музыку, сливался со звуками и ритмом, выделяя голосом каждый инструмент. В эти минуты думалось: какой огромный музыкант не осуществился в нем...

А вот как он сам рассказывает в одной из телевизионных передач о музыке и дирижере: не по бумажке, не по написанному, а по чистому вдохновению:

«Дирижер поднял палочку. В полной тишине пробормотала засурдиненная труба, сонно откликнулся фагот, заговорил кларнет, и развернулась торопливая дискуссия инструментов, где каждый хотел начать все сначала. Потом кларнет принялся излагать грациозную маршеобразную тему...» (О первом исполнении Первой симфонии девятнадцатилетнего Шостаковича в 1926 году.)

Или: о знаменитом дирижере Бруно Вальтере, о его необыкновенном истолковании Шестой симфонии Чайковского, в которой звучит «неукротимое борение мыслей и чувств гениального человека»:

«Бруно Вальтер... поднял руки... Настала та тишина, какая бывает, если ждут откровения. Из этой тишины родились еле слышные звуки контрабасов: *ми* и *си* и полные печали фразы фагота — начало Шестой симфонии Чайковского: введение в мир душевных страданий, жестоких смятений, страстей, взлетов, воспоминаний, которые в эту минуту становились моими, нашими мыслями — благодарным восторгом всех, кто здесь стоял, кто сидел здесь, кто не слушал, а вслушивался, вживался, запоминая навсегда...»



Мы не уставали поражаться жизнелюбию, а еще точнее — жизнетворчеству Ираклия Андроникова, его неукротимой энергии, которая была из него ключом. Слова «человек-оркестр», возможно, избиты, но как сказать иначе, когда на вас обрушивался

каскад, фейерверк — не подберу подходящих обозначений — водопад, ливень образов, интонаций, перекличек разных людей — в одном лице! Мое первое подробное узнавание Ираклия Луарсабовича произошло, когда ему исполнилось пятьдесят лет: на его юбилейном вечере в московском Доме литераторов 15 ноября 1958 года. У меня сохранился билет; там стоят знаменитые имена: Е. Турчанинова, С. Бирман, И. Ильинский, Л. Оборин, В. Виноградов... Выступлений не помню, помню лишь, как герой вечера заражал и заряжал публику своей энергией смеха. (Часто ли бывает, когда у вас все болит... от хохота?)

О невероятном запасе энергии, отпущенной этому необычайному человеку, говорила также его феноменальная память. (О музыкальной я уже упоминала.) Память Андроникова была одновременно памятью сердца и рассудка. Рассказывая о человеке и изображая его, Ираклий Луарсабович помнил о нем все, он *знал* его и душой, и умом. Именно так знал он Лермонтова, которым занимался всю жизнь, не уставая разыскивать и обнаруживать все новые детали его жития, новые рукописи и рисунки. Чего стоит хотя бы его знаменитое исследование-детектив «Загадка Н. Ф. И.»? В молодые годы Ираклий Луарсабович готов был пуститься (и пускался) в погоню за только что забрезжившим фактом, или гипотезой, или догадкой в любое место страны, где, по его расчетам, мог быть пролит свет на проблему. И как он бывал счастлив, когда обнаруживал какую-либо

«находку»: адресата неизвестной записки Лермонтова или кавказский рисунок поэта, на котором он угадал церковь, позже стертую с лица земли...

...В семидесятые годы Ираклий Луарсабович стал приходить к нам все реже, хотя его неизменные дружелюбие и расположенность оставались прежними. Прогрессировала подкравшаяся к нему болезнь Паркинсона. После трагической гибели его старшей дочери Мананы недуг резко усилился. Андроников ездил в Австрию, где врачи старались притормозить болезнь, однако остановить трагедию было невозможно. Но все же Ираклий Луарсабович появлялся у нас; он стал двигаться непривычно медленно, голос сделался совсем тихим, порою еле слышным даже с близкого расстояния. Левой рукой он старался прикрыть «не слушающуюся» правую... Но его беседы по-прежнему были для нас праздником.

1995

Человек щедрой души
(О Павле Антокольском)

Это было 26 декабря 1962 года в Центральном Доме литераторов, на вечере, посвященном 70-летию со дня рождения Марины Цветаевой. После сдержанного, строгого выступления И. Эренбурга, самого старшего из участников этого вечера, на трибуну взлетел П. Г. Антокольский. Голос его, низкий и глухой, но сильный, гремел в зале, переносил воображение молодых в невозвратные времена романтики первых лет революции, а старших — въяве возвращая в эти «баснословные» годы. Антокольский говорил так, словно только вчера покинул гостеприимный (несмотря на разруху!) дом Цветаевой в Борисоглебском переулке, будто вчера лишь они о чем-то не договорили с нею, не доспорили, — и перед нами, сидящими в зале, вживе вставала — эпоха. Ибо Павел Антокольский, как всякий талант, и талант многогранный, олицетворял собою свою эпоху.

Прочитав стихотворение Цветаевой «Руан» («И я вошла, и я сказала:—Здравствуй!..»), посвященное Жанне д'Арк, он заметил:

— Скажут — вот романтика. Да, наверное, в учебниках и энциклопедиях это так и называется. А я думаю, что это — большее, чем романтика. Это колыбельная прародина искусства, продолжение детской игры, ее второй, более сложный, более ответственный этап... Не все ли равно сказать, что я буду казаком, а ты — разбойником, или я буду Жанной д'Арк, а ты — Карлом Седьмым. И там и тут потребность юной души в творчестве, избыток жизни, ее дополняющий план. Он одинаков и в любви, и в охоте, в каменном веке и сегодня...

Слова были обращены к другому поэту, но в первую очередь — к самому себе. «Продолжение детской игры» — в самом серьезном понимании этого слова: игры на всю жизнь. Игра, включающая в себя создание — раз и навсегда — собственного образа (роли?); создание незыблемых, священных идеалов; создание, наконец, и внешнего облика. Разве не то произошло с немецкими романтиками начала прошлого века, и, — к чему так далеко ходить? — с Александром Блоком, Владимиром Маяковским, Сергеем Есениным, Анной Ахматовой, Мариной Цветаевой?...

И еще в эту «игру» входило понятие верности: себе, своей природе, своему прошлому. Не оттого ли старый поэт Павел Антокольский неизменно

оставался для всех, независимо от возраста «Павликом»? — или «Павлом», но не «Павлом Григорьевичем». Он часто, даря свои книги, подписывал не фамилию, а просто «П.» Он ощущал себя тем пылким, живым «Павликом», юным поэтом и восторженным учеником Вахтангова, каким был в двадцатые годы:

Я школьник, не спавший всю ночь
Над яростным томом Шекспира...

Вспоминается один его телефонный звонок — спустя много лет после описанного вечера. Я напечатала тогда в «Новом мире» первую часть цветаевской «Повести о Сонечке».

— Аня! Почему Марина превратила меня там в гимназиста? Какой я гимназист?! Я тогда был студентом университета! И еще пишет, что гимназическую форму носил... Какая форма?!

— Павел Григорьевич! Ну... Марина Ивановна вас увидела — так восприняла вас... вечным гимназистом... Художественный образ дала...

В трубке ворчание, но не сердитое, скорее понимающее. (По себе знает!) Затем, однако:

— И из Юрия Александровича <Завадского> дурака сделала... он говорит, что ему теперь неудобно по телевизору показаться — все тут же «Сонечку» вспомнят — как он любит себя в зеркале...

Инициатива печатания «Сонечки» принадлежала журналу, а не мне; однако я ощутила себя

устыженной под таким натиском защиты Павлом Григорьевичем своего друга. Он *спрашивал* с меня, призывал к ответу так, как если бы я сама написала эту «Повесть». Впрочем, Павел Григорьевич очень тепло относился к этой вещи: она возвращала его в юность, в те времена, когда он и Марина Ивановна писали романтические пьесы в стихах, и хотя не все были поставлены (у Цветаевой вообще ни одной), ничто не могло притушить жара души молодых поэтов... Он воскресил те незабвенные времена в мемуарном очерке о Цветаевой, а ее дочери так надписал первый том своего четырехтомника в 1973 году (дарил ей неизменно все свои книги):

«Дорогой Але на память обо всем пережитом за многие, многие годы — вместе и врозь... С верной, вечной любовью».

Это была правда. Его связывало с дочерью Цветаевой то неподвластное никаким жизненным преградам время, когда она была пятилетней «Алей», а он — студентом (в глазах Цветаевой и вовсе гимназистом), в глазах же матери и дочери — «Павликом», которым и остался навечно. В конце концов, разве имеет какое-нибудь значение разница в возрасте?..

Так оно и осталось на долгие годы: невзирая на редкость встреч, на разность судеб, — осталось главное, неразрушаемое: Дружба.



Милой Але

с глубокой нежностью,
с благодарностью за
то, что она существует
где-то рядом и далеко
ни близко —
всегда Ваш

Paul d'Antokol

4 марта 67

Надпись П. Г. Антокольского Ариадне Эфрон на его книге: «От Беранже до Элюара». (Стихи французских поэтов.) «Милой Але с глубокой нежностью, с благодарностью за то, что она существует ни далеко ни близко — всегда Ваш. 4 марта 67».

... После кончины Ариадны Сергеевны, в декабре 1975 года, собралась цветаевская комиссия. Говорили о литературном наследии Ариадны Эфрон, о том, что нужно издать ее прозу, переводы. Павел Григорьевич продиктовал мне примерный текст заявки на книгу:

«Комиссия по литературному наследию Марины Цветаевой приняла решение включить в круг своих обязанностей заботу о литературных трудах дочери М. Цветаевой Ариадны Сергеевны Эфрон... Мы просим издательство «Советский писатель» включить в планы ближайших лет книгу А. С. Эфрон, куда войдут литературные эссе, воспоминания <...> отрывки из писем и т. д. А. С. Эфрон — талантливый и очень своеобразный литератор, и все сделанное ею представляет огромный интерес и истинную ценность. По поручению Комиссии П. Г. Антокольский».

(Книга Ариадны Сергеевны «О Марине Цветаевой. Воспоминания, записи, письма» — выйдет лишь в 1989 году.)

Что до самой Марины Цветаевой, то Павел Григорьевич сохранил ей *верность поэта* до конца дней. Когда в 1965 году вышел первый большой цветаевский однотомник «Избранные произведения», он откликнулся на это огромное литературное событие (надо было знать те времена!) большой статьей, которая явилась одновременно и мемуарами, и анализом поэзии, и размышлениями о творчестве. Статья эта была также весьма значимой и весомой, и может быть, ее важность усугублялась тем, что

писал ее Павел Григорьевич в те дни, когда ушла из жизни Анна Ахматова. И тем торжественнее звучал ее финал: «И для Марины Цветаевой, и для Анны Ахматовой наступила история. Они встретились и протянули друг другу руки — в грозном и торжественном родстве бессмертия».

Отгиск этой статьи (она называлась «Книга Марины Цветаевой») Павел Григорьевич собственноручно вклеил в картонную обложку, на которой нацарапал: «Марина Цветаева» и подарил мне с надписью: «Анечке Саакянц с нежностью. Ваш Пав(ел)».

Романтика и высокий пафос оттенялись в живой, артистичной натуре Павла Григорьевича неким, я бы сказала, антипуританизмом «ёры, забияки», который он любил порою шутливо выставить напоказ. «Вам приходилось когда-нибудь толкать мешок с мокрым навозом?» — как-то спросил он, имея в виду человека, который ему не нравился и с которым, по его мнению, бессмысленно и неприятно было иметь дело. «Мешок... с чем?» — растерялась я. «С мокрым навозом. Толкаешь его, толкаешь...» — Дальше следовала картина во всей своей осязаемости. Но злобы в этом все-таки не было. Был юмор, пусть ядовитый. Сердась не всерьез, Павел Григорьевич любил употреблять нецензурные словечки, наподобие тех, что в сочинениях Пушкина заменены многоточием. Один раз в телефонном разговоре пригвоздил таким образом какое-то заседание, где, как он считал, занимались пустой болтовней. Слово это он два-три

ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

ПОВЕСТЬ
ВРЕМЕННЫХ
ЛЕТ

Поэмы и стихотворения

Анетке Саакянц
с уважением (!) и нежностью (!!)
Павел Антокольский

Советский писатель
Москва 1969

14 января 70

Надпись П. Г. Антокольского на книге «Повесть временных лет».

раза (так как я не разобрала поначалу) прогудел в трубку...

Но знала я и совершенно другого Павла Антокольского.

В начале 1963 года мне поручили редактировать его предисловие к пушкинскому «Евгению Онегину». В издательстве «Художественная литература», где я работала, существовала в то время серия «Народная библиотека». Написать предисловие к книге, попавшей в эту серию, было нелегко: в небольшую статью нужно было вместить все самое важное, притом, конечно, не в сухой, казенной форме, а в живом, увлекательном изложении. Павел Григорьевич написал предисловие, разумеется, блистательно; однако, прочитав статью, я похолодела: статья кончилась, а об Онегине в ней не было сказано ни слова.

Необходима была встреча. Я осторожно написала Павлу Григорьевичу, что статья мне очень понравилась, но есть «частные замечания, относящиеся главным образом к ее сокращению». Мне казалось, что эти слова меньше его рассердят, чем если сразу выложить ему правду.

Разговор, которого я, понятно, ожидала с ужасом, получился простым и легким — вполне в духе Павла Григорьевича. С полуслова он понял все; преклоняясь перед образом Татьяны Лариной, — ей, в сущности, и была посвящена статья, — он, естественно, не любил Онегина; но долг был прежде всего,

и поэт согласился написать о главном герое пушкинского романа.

Эта непосредственность, демократизм общения с человеком «на равных», сколь бы молод он ни был, внимательность, расположенность и дружелюбие всегда были свойственны Павлу Григорьевичу. То же было и в течение последующих лет, когда нас связали «цветаевские» дела, в которых он принимал живое, заинтересованное участие. Он помог А. С. Эфрон в работе над комментариями к пьесам Цветаевой, когда мы с нею работали над однотомником «Библиотеки поэта», дав ей для работы редчайшие, нигде не находимые тома мемуаров Казановы; я, в свою очередь, с радостью предоставляла ему материалы, когда он писал предисловие к однотомнику цветаевских пьес. И позднее, когда Антокольский вошел в возобновленную Комиссию по литературному наследию Цветаевой и мне, как секретарю ее, приходилось согласовывать разные вопросы с писателями, в ней состоявшими, — самым «доступным», к кому было легче обратиться, был Павел Григорьевич. Если он жил на даче, его дочь Наталья Павловна передавала ему о звонках, и, приезжая в Москву, он непременно отыскивал меня и, по обыкновению, был внимателен и точен.

Но вернусь к статье об «Онегине». Через несколько дней, как обещал, Павел Григорьевич принес дописанный вариант. Сумев не нарушить гармонию повествования, он сделал простой и естественный переход: «А что же Онегин?» — и дальше, всего

на двух-трех страницах, дал блистательный образ этого «героя века» — образ масштабный, *исторический*, как он умел это делать. Да и вся статья к пушкинскому творению написана была с точки зрения *поэта* и *историка* одновременно. Не могу не привести цитаты из нее, где поэт весьма находчиво, в духе тех времен, трактует образ героини романа:

«В личной судьбе Татьяны как бы воплотилась знаменитая триада николаевского царствования: *самодержавие — православие — народность!* Самодержавие — в лице старого, нелюбимого мужа, которому женщина не отдалась, а отдана. Православие — в институте нерасторжимого церковного брака. Наконец, та народность, за которую боролся Пушкин, в официальной пропаганде николаевского царствования была попросту заменена смирением и покорностью. И вот Татьяна оказалась такой же рабой феодально-монархического общества, как ее последняя холопка».

Предисловием к «Евгению Онегину» Павел Григорьевич и сам остался доволен: когда вышла книга, он надписал ее:

«Ане

П.

на добрую память об этой, дорогой для меня работе».

Это была первая его подаренная мне книга; позднее со свойственной ему щедростью он подарил еще несколько.

И в других литературно-критических работах Павла Антокольского о русских писателях вновь и вновь восхищал его дар мыслить и писать масштабно, исторически, широко охватывать эпоху и время, современность и прошлое. Так, *исторически* звучали его статья к гоголевским «Мертвым душам», предисловие к собранию сочинений В. Брюсова, статьи о Пушкине, Лермонтове... Антокольский при этом как бы включал самого себя в «контекст» истории, он тоже был ее частицей — шла ли речь о нынешнем или прошлом веке — и всегда писал языком образным и страстным. Не забыть впечатление от последней его работы — статьи к роману Андрея Белого «Петербург», который вышел перед самой кончиной Антокольского. Современник Белого и уже взрослый человек к моменту первого знакомства с романом, Павел Антокольский как бы делает самого себя действующим лицом своей статьи и пишет: «Петербург» оказал решающее влияние на всю мою работу в поэзии, на мое увлечение русской историей...»

Подумать только, что эту *молодую*, жизнеутверждающую, современную и яркую работу писал старый и очень больной человек, чей внешний вид внушал страх за него: впалые щеки, черные мешки под глазами... Но голос оставался по-прежнему громким, только стал чуточку глуше. Стремительно вылетал он из лифта в своем неизменном клетчатом пиджаке, стуча палкой и притворно-свирепо вращая

глазами (не выходя из «образа», из *игры*), осведомлялся о том, кто ему был в данный момент нужен. Этою летящей быстротою он напоминал, вероятно, Андрея Белого, так же как своим шумным, сознательно «афишируемым» (тоже «играемым!») публичным преклонением перед «слабым полом» — бурного и неумного Бальмонта... Круговая порука поэтов всех времен, этих вечных «больших детей...»

1983, 1997

Один час с Цецилией Мансуровой

Иногда интересно бывает заглянуть в старые записи...

1967 год. 26 февраля я должна была пойти к знаменитой вахтанговской актрисе — Цецилии Львовне Мансуровой: подписать у нее некую бумагу. Комиссия по литературному наследию Марины Цветаевой (я тогда была ее секретарем — мираж, закрепленный на бумажке) собирала подписи знаменитых деятелей культуры в защиту цветаевской дачи «Песочное» под Тарусой. Чтобы начальство дома отдыха, на чьей территории он находился, не снесло его. Письмо шло куда-то «в верхи», на имя очередного временщика (кажется, Демичева). Подобными хлопотами заниматься я и не умела, и не хотела, сразу тупея и раздражаясь — чем, конечно, огорчала Ариадну Сергеевну. Однако вот эта «миссия» — сходить на Арбат к легендарной Мансуровой — была и приятной, и желанной.

Звоню. Спрашиваю, можно ли прийти, когда, и т. п. «Ах, я совсем не знаю, что со мной будет: репетиции, ученики, спектакли... Я совсем сумасшедшая, все забываю, очень устаю. Вот и сейчас: говорю с вами — и страшно устала...» — Голос в трубке добр, и потому мне не стыдно, что отнимаю время.

Звоню, как договорились, двадцать шестого. Цецилия Львовна помнит, так же приветлива и проста. Голос ее очень давно знаю: молодой, певучий, немного экзальтированный. Она подробнее объясняет, как попасть к ней на улицу Щукина (бывший Лёвшинский переулок). Я хвастливо замечаю, что про Лёвшинский знаю, а про Щукина — нет, — и в ответ получаю комплимент: «Вы — человек интеллигентный, потому и знаете про Лёвшинский, а многие не знают, как прежде что называлось; сплошь все переименовывают — неизвестно зачем». Узнав, что я живу на улице Грановского: «Там моя мамочка жила и сестра».

Но о «Грановского» промолчать не могу. Это — переулок между Большой Никитской (ул. Герцена) и Воздвиженкой (ул. Коминтерна, потом, кажется, Калинина). Моя «малая родина» — дом номер пять: один из доходных домов графа Шереметева; отсюда прежнее название — Шереметевский переулок, а еще прежде — Романов (теперь это название возвращено). А в соседнем роскошном коричневом доме номер три обитали Молотов, Вышинский,

Поскрёбывшев, Хрущев и пр. Дом, понятно, охранялся, а по углам улицы торчали «топтуньи», следившие за безопасностью «слуг народа» и охранявшие их от нас; мои родители реагировали на них нервно, а я в детстве не понимала, в чем дело.

Улица Грановского была примечательна еще и тем, что в угловом доме с Воздвиженкой находилась Кремлевская больница, а в доме рядом, напротив «царского», был некий безымянный подъезд — дверь в проходную к кормушке номенклатурщиков. Долгие годы наш несчастный переулок трижды в неделю становился почти непроходимым из-за запружавших его автомобилей. На них к заветной двери подъезжали шоферы «слуг народа», а иногда и сами они, что помельче, — за пайками-пакетами — почти бесплатными наборами деликатесов, недоступных для простых смертных, — ибо даже за большие цены их было днем с огнем не сыскать. «Совбурь» — непонятное словечко, слышанное опять-таки от родителей в детстве и означавшее: «советские буржуи». Справа от дверей — мемориальная доска, возвещающая о том, что в этом здании 19 апреля 1919 года Ленин выступал с речью перед командирами Красной Армии, отправлявшимися на фронт.

Почему пишу об этом? Да потому, что сегодня, в сущности, ничего почти не изменилось на Грановского; потому еще, что другая доска-барельеф, на которой значится, что в таком-то доме более двадцати лет жил Тимирязев, — спрятана

от людских глаз, ибо она находится во дворе дома-кормушки, на здании, где жили профессора Московского университета. Раньше туда вход был воспрещен полностью; теперь можно пройти только в левую часть двора, так как справа, в будке, сидит «цербер», который, как и в прежние времена, не впускает — все в ту же, видимо, кормушку, теперь уже пост-советскую. Да и Кремлевка, чей фасад уродует Воздвиженку, вход имеет со двора, ибо занимает (с той стороны) здание бывшего Охотничьего клуба, — Кремлевка-то по-прежнему функционирует. А церковь шереметевская, что находится в этом дворе, до сих пор завалена мусором и скрыта от глаз, вероятно, уже навеки. А как хороша!..

Однажды, в начале семидесятых, я решила продемонстрировать свой родной переулок человеку неискушенному, не-москвичу, а именно — писателю Федору Александровичу Абрамову, — мы случайно проходили мимо. Дело было в выходной, переулок — пуст от машин. Показав вожделенную дверь, я объяснила, что предназначена она для «пакетчиков» (он удивился слову), и кто они такие, и что увозят тяжелые пакеты с пайками на машинах, ибо пешком — неподъем (это словечко я произнесла в подражание Солженицыну). Все надо было объяснять прекрасному писателю — «деревенщику» и чистому душой человеку. Никогда не забыть, как Федор Александрович неспешно, чуть рисуясь, вышел на середину улицы, постоял немножко, затем раздумчиво и четко произнес... три слова.

...Цецилия Львовна продолжает объяснять дорогу к ней: и как на троллейбусе доехать (я не смею перебивать ее, что знаю и пешком дойду); сойти на Арбате у цветочного магазина, «где никогда не бывает цветов»; и как в дом войти; и как во двор войти; и какой подъезд; только женщины умеют так подробно объяснять; на лифте на четвертый этаж «спуститесь, то есть поднимитесь, конечно; я совсем ненормальная». Так что образ Мансуровой начал вырисовываться уже заочно; каждый человек в той или иной мере творит собственный образ, вольно или невольно; поэты же и актеры — особенно.

Приезжаю, как условились, к двенадцати часам дня. На двери квартиры — табличка: «Ц. Л. Мансурова-Шереметева» (фамилия покойного мужа, музыканта — об этом я тогда не знала). Дверь открывает седая чернобровая пожилая дама, с теми явными приметами «породы», которую замечаешь с первого взгляда и которая утеряна безвозвратно, сколько бы ни тщились попасть «в дворяне» теперешние их «потомки» или вновь «посвященные».

Дама приглашает раздеться и вводит в комнату с низким потолком. Пока мы ждем, когда выйдет Цецилия Львовна, она сетует, что в квартире давно не было ремонта, этим надо заниматься, рамы переделывать, покрасить, а Цецилии Львовне некогда, она очень занята, а тут мужчина бы нужен, который следил бы за ремонтом.

В разговоре выясняется, что она — из рода Шереметевых, — если не ошибаюсь — внучатая племянница

того, кто строил доходные дома, — значит, и мой дом номер пять (в свое время под таким названием шла пьеса И. Штока, он жил в нашем доме). О доме этом можно писать роман; ограничусь двумя словами: шестиэтажный, темно-серый, не выдерживающий конкуренции с соседним «правительственным», построенный в виде буквы «П», с обширным двором, — он цел, конечно, и сейчас. Помню старый лифт с дощечкой: «Карль Флорь, Берлинь». На лестничных площадках — по две квартиры, они и сдавались по две; из одной квартиры был внутренний вход в соседнюю; в каждой квартире — коридор, а комнаты тянулись анфиладой. Просто находка для советского режима — идеальная «коммуналка», по десятку семей в каждой. Единственный «плюс» — высокие, под четыре метра, потолки, от которых впоследствии пришлось отвыкать, — и как тяжело...



В нашей беседе на эту тему прошло минут десять, и наконец появилась Цецилия Львовна: сухопарая, «плоская», и очень живая. Запомнила узенькую серую жакеточку на ней, руки с короткими пальцами, подагрическими узлами и серебряным маникюром. Волосы — стриженные, рыжеватые, узенькие, чуть раскосые, подведенные синим глаза. Походка — быстрая, стремительная, речь — непрерывная, довольно громкая, певучая и взволнованная.

Немолода? Скорее — вне возраста. Истинная женщина, как и истинный талант, не знает старости.

Когда-то я встречалась с знаменитой Марией Игнатьевной Бутберг: на вид ей был целый век, но она не была старухой, даже старой; она оставалась женщиной...

Цецилия Львовна извинилась, что не сразу вышла: звонила приятельница и приглашала гулять. Все это она говорила, стоя — и как бы спохватилась: «Вы не удивляйтесь, что я стою; я всегда стою после приема пищи; некоторые считают: сумасшедшая; я даже яблоко могу съесть — и вскакиваю, по привычке».

Не помню, с чего начался наш разговор; так или иначе, я упомянула о ее чтении цветаевского «Нездешнего вечера». Мансурова живо подхватила тему: «Да, я его наизусть читаю, — очень люблю — недавно читала в театральной библиотеке... Пришли: я, Вася Лановой — это мой ученик — красивый, в мать — отец его простой рабочий, — и Таня Самойлова; они ведь мужем и женой были...» (И, отвлекаясь дальше): «Вася ездил во Францию и должен был о ней рассказывать. Я тоже была во Франции, совсем недавно: — совсем не то, что прежде! Так вот, Вася стал рассказывать о Франции — молодые как-то смелее нас, развязнее. Потом и я стала рассказывать, а тут все закричали: Цветаеву! Цветаеву! Публика пришла, которая театр любит, видно. Молодежь. Я стала говорить наизусть, а перед Васей лежали мои листы, я ему по столу стучала, когда надо было подсказывать... Ну, тут же меня

и позвали (на цветаевский вечер. — А. С.) с этим же «Нездешним вечером», — а он не прошел через ЛИТО!» (то есть предварительную цензуру). Там, на этом вечере, сказала Мансурова, публика была «солидная», и она поначалу растерялась. «Я вышла и говорю: я вас боюсь! — Все засмеялись, и сразу был найден контакт. Стала я читать, кто-то перебил — и из головы все выпетело. А у Цветаевой не то что забыть: слово переставить нельзя! И все мои бумажки рассыпались. Какая-то девушка, которая в меня на этом вечере влюбилась, — продолжала Цецилия Львовна, — кинулась их подымать. Я, как нагнулась за бумажками, сразу все вспомнила».

Заговорили о цветаевском «Пленном духе», который Мансуровой предстояло читать (к сожалению, не помню судьбу этой ее работы, — если она вообще осуществилась).

— Я Белого знала, видела, — воодушевилась Цецилия Львовна. — И Блока видела. В 1920-м или 21-м году — в Доме журналистов (вероятно, Мансурова имела в виду либо Политехнический музей, либо Дворец Искусств). Белого не было, кажется, тогда. Мы с Юрой Завадским туда пришли — он меня очень любил — тогда мы с ним в «Турандот» играли — он Калаф был замечательный — (опять отвлекается Цецилия Львовна) — как-то недавно мы встретились — он такой огромный, широкий, — а я... Я и говорю: «Юра, я в тебе потонула!» — А тогда — я крепкая была, сильная. — И вот мы пришли, слышим — ругают Блока, — какие-то молодые поэты,

очевидно; тогда ведь модно было всех ругать. Я говорю: «Юра, я сейчас закричу на них — пронзительно: «А-а-а!!!» — я отчаянная была... И тут вышел Блок — и передо мной раскрылось небо. Я здоровая была, молодая, — но внутри меня что-то оборвалось: такой он был больной, худой, вышел, совершенно не обращая внимания на выкрикивающих, как будто бы их не существовало, — и начал читать, очень тихо, просто:

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою...

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у царских врат,
Причастный гайнам, — плакал ребенок
О том, что никто не придет назад...

— и все замерло».

У Цецилии Львовны на глазах слезы; у ее родственницы Шереметевой — тоже.

— Я никогда никому не рассказывала, вам — в первый раз, — говорит она. — Надо бы все это записывать, а я — вышлескиваю, когда говорю, — и когда писать?

(К слову: вспоминаю, из записных книжек Блока — я была редактором этого издания, — когда Блок на улице толкнул мальчишку, нарочно и зло, а потом горько каялся.)

Из разговоров:

О доме, где жила Цветаева (Борисоглебский, 6) и на котором Ариадна Эфрон тщетно пыталась поставить памятную доску; «бумаги» с прошениями об этом на много лет застряли в «союзписательских» канцеляриях; более дальняя же мечта была — восстановить этот «коммунальный» дом.

— Что ж, — сказала без всякого пафоса Мансурова, — если восстановят, все равно это будет не то, что прежде. Вот я видела недавно теперешний, восстановленный Версаль, а когда-то — и тот, старый — никакого нет сравнения!

Спрашивала, знаю ли я подробно, как погибла Цветаева, слышала ли сплетни о Муре, который рвался в комсомол, потом — на войну; все это ей рассказала какая-то девица. Огорчалась, что могилу в Елабуге не найти.

С грустно-иронической терпимостью говорила о царящем вокруг абсурде, от большого до малого. Вспомнила о какой-то глупой анкете, рассылавшейся актерам. «Зачем — мне? Это надо специалистам рассылать. Там, например, был такой вопрос: можно ли на сцене площадно выражаться, ругаться матом? Что за чушь: конечно, можно, даже нужно, если по роли...»

Были в ней естественность, живость и даже детскость, разрушавшие границы возраста и «ранга». И еще — та неотразимая, давно почти полностью исчезнувшая *старинность* (не путать со старомодностью!) — особое свойство людей тонких и умных, —

старинность души, которая являет собою как бы обратную сторону душевной молодости и никогда не зависит от возраста. Это, по-моему, чувствовалось во всем, о чем говорила Цецилия Львовна, начиная с воспоминаний о вечере Блока и кончая шедшим тогда в Москве французским фильмом «Гром небесный» с великим Жаном Габеном в главной роли пожилого чудака, добряка и пьяницы, которому по случаю достался старинный замок — где он живет со своей бездетной стареющей женой, а также с бессчетным числом собак, лошадей и т. п. — он ветеринар и обожает всякую живность...

— Как это хорошо, как там все хорошо, — проговорила Цецилия Львовна, — и лошади хороши, и парк хорош... и эта его жена, такая привычная, она не надеется на то, что он ее любит, — а он ее любит, — только никогда ему в голову не приходило ей это сказать... живая жизнь этот фильм... прелесть!

Настало время мне — уходить, а Мансуровой — подписать «прошение на высочайшее имя», которое я принесла. Последовал минутный маленький спектакль: «Ой, после Корина страшно подписывать, я страшно волнуюсь...» — очки не держались, пошла за другими. «Очень польщена оказаться в такой компании... А почему меня пригласили?» (Опускаю свои реплики.) Тщательно вывела свою фамилию и шутливо-горделиво продемонстрировала. (Напомню, что все равно не помогла эта бумага, подписанная «видными деятелями искусства» нашей

страны, — да и когда помогали такие письма? В том же 1967 году цветаевский домик под Тарусой был снесен.)

Цецилия Львовна посерьезнела, заговорила о времени — как его мало. Вспомнила, что переводчик В. Левик просил ее читать на его вечере. И прочла Ронсара:

В твоих объятьях даже смерть желанна!
Что честь и слава, что мне целый свет,
Когда моим томлениям в ответ
Твоя душа заговорит неожиданно!
Но, робкому, пусть рок назначит мне
Сто лет бесславной жизни в тишине
И смерть в твоих объятьях, Кассандра.
И я клянусь: иль разум мой погас,
Иль этот жребий стоит даже вас,
Мощь Цезаря и слава Александра.

До сих пор в памяти звучит ее голос: певучий, взволнованный и торжественный, — голос актрисы-Романтика, — голос незабвенной Турандот...

1994, 1996

*Месяц в Переделкино
с Ириной Одоевцевой*

Я не только в стихах живу,
Я живу и впрямь, наяву,
И меня нетрудно увидеть,
Разглядеть, по статьям разобрать,
Чтобы после другим рассказать
Обо мне, какой я была
В те года, что я здесь жила
 Вместе с вами
 На этой земле.

1975

Ирина Одоевцева

1

Наших встреч с Ириной Владимировной Одоевцевой было всего пять или шесть — летом 1988 года в Переделкинском Доме творчества писателей.

Что я знала до этого? Что в апреле восемьдесят седьмого Ирину Одоевцеву привезли из Парижа на родину, которую она покинула шестьдесят пять лет назад. Она не могла ходить, так как перенесла в Париже несколько операций после перелома

бедро; жила в квартире покойного мужа, писателя Я. Горбова, совершенно одна. Ухаживать за нею было некому, — в квартире ее постоянно сменялись люди, в качестве платы оказывающие (если были дома) помощь в ответ на ее зов. Маленькая французская пенсия не давала возможности нанять сиделку*. И когда, по воле счастливого случая, Ирину

* Не могу не привести выдержки из некролога-воспоминания Александра Радашкевича («Новый журнал». Нью-Йорк. № 181. 1990 год):

«... 1984-й. Мрачная большая квартира на улице Касабланка, 4. ...Домработница запирала свою комнату, не позволяла себя беспокоить и не давала номер своего телефона. Вы ее боялись, и целыми днями сидели одна. Мне почему-то было страшно думать об этих часах... Я приезжал раз в неделю, записывал под диктовку главы гипотетической третьей книги воспоминаний — «На берегах Леты». Перед тем как сесть в «машину времени», Вы спрашивали, картавя: «О чем мы говорили в прошлый раз, Алик?»... Набралось около десяти главок. Будто предчувствуя неладное, я сделал ксерокопии: в один прекрасный день все эти отредактированные и перепечатанные тексты исчезли. Вас, беспомощную, окружали какие-то невероятные лица. Восхищались Вашими стихами, поселялись, обращались на «ты», давали подписывать какие-то чеки «взаймы» или «за заботу», иногда грозились убить, иногда требовали подарить машину «по дружбе». Рукописи, книги, фотографии пропадали бесследно.

Порой в разговоре Вы неподражаемо морщились на чей-то счет: «Пусть себе берет, если ему нужно, Бог с ним». И улыбались детски-рассеянно: «Хотите, я Вам лучше почтаю стихи, Алик?»

Вам до всего было дело и на все немного наплевать.

В пустой квартире трезвонил, разрывался телефон. Вы встали с кровати кое-как, оступились, сломали себе бедро.

Начались больницы. Операция. Три операции. Пять. Восемь... Раз приехал почти сразу после наркоза. Вы плакали бесшумно. Прощались. Сжимали руку слабой, холодной рукой. Через полчаса — уже были надушены и нарумянены. Я выбегал за пирожными и шампанским. И праздник Вашей жизни продолжался».

Владимировну отыскивали и предложили переехать в Россию, в ее Петербург, — она радостно согласилась, приняв это за чудо и, однако, понимая, что просто рискует умереть в дороге или вскоре после приезда, — но все равно посчитала то, что с нею произошло, счастьем. Так она говорила.

Знала я несколько ее стихотворений и балладу «Роберт Понтегью», напечатанные в антологии русской лирики*, доставшейся мне от учителя словесности В. Литвинова.

Еще я знала и была влюблена в книги Одоевцевой: «На берегах Невы» и «На берегах Сены», которые вышли в 1967 и 1983 годах в Вашингтоне и в Париже. Добыть их стоило больших денег и трудов, щедро вознаграждаемых радостью общения с их действующими лицами. Я работала над книгой о жизни и творчестве Марины Цветаевой, и мне не хватало «воздуха», атмосферы, красок, голосов тех, кого знала, среди которых жила моя «героиня», — особенно в эмиграции. Приобретя громоздкую ксерокопию книги Нины Берберовой «Курсив мой», я блуждала по ее умным и острым страницам, не находя, однако, тех «изюминок», живых примет,

* Ежов И. С. и Шамури Е. И. Русская поэзия XX века. Антология русской лирики от символизма до наших дней. М., «Новая Москва», 1925. Эта пухлая книга и поныне считается большой ценностью. Однако при всех достоинствах составители были лишены права рассказывать что-либо о поэтах, ставших эмигрантами: об Одоевцевой сообщалось лишь, что в 1922 году вышла ее книга стихов «Двор чудес».

которые могли бы вдохнуть воздух в сугубо *умственную* атмосферу, куда поместила Берберова «поэтов русского рассеяния»; не ощущала конкретных людей; все было писано, я бы сказала, *от головы*, от одной лишь головы. Я чувствовала себя ученицей рядом со слишком серьезным учителем, которому не удалось затронуть мою душу...

И когда с веселых страниц книг Ирины Одоевой передо мной предстали поэты, населявшие берега Невы и берега Сены, я сразу увидела их абсолютно живыми. Ибо автор обладал волшебным даром внушения, заставляя читателя чувствовать, видеть и слышать то, что слышал, видел, чувствовал он сам. Вот капризный — и неотразимый Осип Мандельштам, с его словами: «Конечно, я ненавижу одиночество. И люблю его». Парадоксальная Надежда Тэффи, обожательница кошек, от неврастечивости привыкшая подсчитывать на улице количество окон на этажах домов и номера автомобилей. Или не разлучавшиеся ни на один день в своей жизни Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус, с ее неизменным: «Нет, Димитрий. Я не согласна» и чопорным ритуалом чаепития на домашних приемах (и непременно кофе — для себя...) А вот Георгий Адамович, фанатичный игрок, просадивший в казино деньги, подаренные ему теткой на покупку дома... И, наконец, семидесятисемилетний Иван Бунин, последний русский классик, с его резкими переходами «из одной тональности в другую»: из желчного

и капризного ворчуна внезапно преображающийся в остроумного, обаятельного собеседника. И воочию видишь саму Одоевцеву, сидящую рядом с ним у печки в уютной комнате «Русского дома» на юге Франции. Не пропуская ни одного слова, она внимает рассказам Ивана Алексеевича, которые он не включил в «Темные аллеи» и, возможно, симпривизировал их тут же, при своей благодарной слушательнице, — и она, спустя много лет, воскрешает эти рассказы точным *бунинским* слогом, словно по волшебству.

«Я ничего не сочиняю и не выдумываю. Память у меня, действительно, прекрасная, — утверждает Одоевцева в книге «На берегах Невы». — Я помню слово в слово то, что слышала сорок — и даже больше — лет тому назад».

Тайна уникальной памяти Ирины Владимировны Одоевцевой, на мой взгляд, состоит в том, что вспоминает она — не при помощи описаний каких-либо житейских и прочих подробностей, а *диалогами*, а еще точнее — *монологами* своих «героев». Именно их речь встает в ее памяти — самое живое, что помнишь (если помнишь!) о человеке. В этом смысле ее мемуары напоминают прозу Марины Цветаевой. Как только она «разрешала» произнести первую реплику какому-нибудь действующему лицу, эти первые слова сразу же тянули за собой следующие; заново воскрешалась неповторимая речь неповторимого человека, и факты, и ситуации;

мельчайшие подробности всплывали как бы сами собой, нанизывались одна на другую, — и живые Гумилев, Мандельштам, Белый, Бунин и многие-многие другие восставали из небытия. «О, любите их, любите, удержите их на земле!» — просит Одоевцева.

И удержала: собственной любовью, которую передала нам. «Любовь движет солнце и другие звезды», — эту строку Данте она сделала эпитафией-девизом книги «На берегах Сены». Георгий Адамович говорил, что она даже слишком доброжелательна, она словно делает людей такими, какими их задумал Бог, смывая с них грехи и пороки. А она отвечала, что иначе не может.

Ее доброту как бы дополняла и оттеняла величайшая душевная тонкость, придавая ее книгам о современниках особое обаяние. Не удержусь и приведу лишь два маленьких примера из главы «Иван Алексеевич Бунин» («На берегах Сены»):

«Да, он был очень нервен. Но кто из русских больших писателей не был нервным? Все они были людьми с ободранной кожей, с обнаженными нервами и вибрирующей совестью». И еще:

«... чем замечательнее, чем талантливее человек, тем легче он поддается горю, унижающему, уничтожающему его».

Сквозь «легкое дыхание» книг Одоевцевой выростал жизнеутверждающий и светлый характер их автора, и мне казалось, что я давно знаю эту удивительную женщину. А через несколько лет мы встретились.

Итак, Дом творчества писателей в подмосковном Переделкино. Июль 1988-го. Ирина Владимировна здесь уже не первый месяц. Как прожила она в городе на Неве год с небольшим после возвращения на родину, оказались ли у нее родственники, о которых шла речь в печати, — мне неизвестно. Знаю лишь, что сначала ее поселили в гостинице Европейской, приняли в Союз писателей и дали квартиру на Невском, 13. Там пока шел ремонт, и Ирину Владимировну привезли в Переделкино.

Она жила на первом этаже главного корпуса, в просторной комнате с балконом, — и было немного страшно, что к ней может запросто войти через этот балкон непрошенный визитер. Потому что ночевала она частенько одна. Днем же при ней всегда находилась жившая в номере напротив Тамара Воронина, актриса-чтица из Екатеринбурга, исполнявшая роль секретаря. Простая и добрая русская женщина, она, как мне представлялось, принадлежала к той породе сердобольных, милосердных женщин прошлого, которых так любили и ценили русские «баре». Было видно, что Ирина Владимировна была к ней очень привязана.

По утрам Тамара совершала необходимую пробежку по аллее вдоль дачи Пастернака, а затем отправлялась в столовую за завтраком и приносила его Ирине Владимировне, которая рано вставать не спешила.

«Вставать» — означало переместиться из постели в инвалидное кресло-каталку, в которой, по сути, Ирина Владимировна и проводила почти целый день. В результате операций, — о чем я упоминала раньше, — одна нога у нее была несколько короче другой, и Ирина Владимировна передвигалась с трудом; к тому же, по словам заботливой и преданной Тамары, она не всегда поддавалась ее уговорам «потренироваться». Тамара готовила Ирину Владимировну к «приемам»: помогала одеться, причесаться; однажды я собственными глазами видела, как она подвела Ирине Владимировне фломастером брови. Ирина Владимировна помещала за ухо крошечный слуховой аппарат и, в ожидании посетителей, что-нибудь читала (видела она, к счастью, не плохо).

Как выглядела Ирина Владимировна Одоевцева на склоне лет?

Ее ранние фотографии достаточно известны. А вот ее молодой «портрет» по воспоминаниям Ольги Грудцовой, дочери известного фотографа М. Наппельбаума: «Я смотрела на Одоевцеву и тоскливо завидовала ей. Нет, она не была красива, у нее рыжеватые волосы, сильно вздернутый кверху нос; зато — длинные ноги. И как она держится свободно, уверенно, на голове ее задорно сидит огромный клетчатый бант, она пикантно грассирует...»*

* «Минувшее». М.; СПб. 1996. № 19. С. 24.

Привожу эти слова, дабы подчеркнуть, что в старости Одоевцева сохранила, я бы сказала, свой *психологический*, «внутренний» образ. Потому что она, судя по фотографиям разных лет, не переставала следить за своей внешностью и не теряла элегантности, постепенно преображаясь в женщину все более и более «почтенного» возраста, к которой, однако, слово «старуха» было совершенно неприложимо. Светлый, чуть рыжеватый цвет волос, который она поддерживала, тщательно сделанный маникюр и легкий грим, и одежда — все вместе составляло образ *верной себе* Ирины Одоевцевой. Она носила белые блузки с брошкой либо бантом; очень любила жакет с оборочками василькового цвета, шедшего к ее голубым глазам; цветастую юбку. Мне вспоминалось, как в шестидесятые годы в Москву из Парижа приезжала давнишняя знакомая семья Цветаевой, Екатерина Николаевна Старова — ей было тогда под восемьдесят, — ее элегантность подчеркивалась яркостью туалета (разумеется, изысканно подобранных расцветок). Она тогда «просветила» меня, сказав, что в Европе пожилые женщины одеваются — должны одеваться — ярче молодых. Ирина Владимировна одевалась по-западному. По-парижски.

...Приезжали к ней часто, почти каждый день; радио, телевидение (я даже попала в одну из передач); приходили поэты, литераторы; расспрашивали, записывали. Ирина Владимировна общалась всегда с удовольствием и, когда чувствовала себя хорошо, была весьма словоохотлива.

В ее комнате всегда были цветы; многие знали, что Ирина Владимировна любила (не могу точно выразить) — как бы *находиться в соприкосновении* с ними, держать в руках, класть рядом. Об этом пишет не только она сама; меня же особенно взволновали воспоминания Владимира Брониславовича Сосинского, встретившегося с нею в Париже (они не виделись много лет):

«За одним из столиков на террасе кафе «Дом» в начале мая 1976 года сидели, глядя на знаменитую вот уже в течение века «Ротонду», за «кафе-фин» Ирина Одоевцева, вдова Г. Иванова, Юрий Терапиано и пишущий эти строки — все трое уже тронутые временем — моложе всех выглядит Ирина Одоевцева, — и около чашечек с черным кофе лежала белая сирень».

По четвергам, к пяти часам, после отдыха, Тамара Воронина вывозила Ирину Владимировну в широкий коридор-вестибюль, и начинался литературный вечер. Одоевцева читала стихи; отвечала на вопросы. А когда она уставала, — Тамара, неизменно стоявшая за ее креслом и помогавшая расслышать вопросы, начинала читать стихи и прозу. Много читала Гумилева. Публики, как «дом-творческой», так и пришлой, набиралось обычно двадцать-тридцать человек. Принимали Одоевцеву и почтительно, и восторженно. После парижского неподвижного заточения последних лет это была жизнь, которую так любила Ирина Владимировна с юности: многолюдье, известность, почет. И невольно напрашива-

лась аналогия (только наоборот) с судьбой Анны Ахматовой, к которой под конец жизни пришло признание в Европе, к Одоевцевой — в России. Между этими событиями — почти четверть века...

Разговорная речь Ирины Владимировны была, как я это покажу дальше, очень колоритна и разительно отличалась от ее писательского языка: *прозы поэта*, — что, конечно, абсолютно естественно. Проза Ирины Одоевцевой чиста, прозрачна, деликатна, по-своему — совершенна, что не мешает ей оставаться живой, как и сами ее «герои». В непосредственном же общении с собеседником Одоевцева была *раскованно-шаловлива*, — иного определения не подберу. Не потому ли интервью с нею, появившиеся после ее возвращения, слишком «причесаны» и обезличены; в них отсутствуют характерные обороты и словечки. Например, любимым словом Ирины Владимировны было «очаровательный», звучавшее, кстати, в ее устах, благодаря картавости, особенно пикантно; любила она уменьшительные: «человечек», «взяла в свои лапки» и т. д. Не скрывала насмешку, добродушное подтрунивание, «рискованные» (никогда, впрочем, не злые!) оценки. Так, Цветаеву в парижских литературных кругах называли «Царь-Дура» (прозвище придумал Георгий Иванов), — этих слов мы, конечно, не найдем в книге «На берегах Сень»). Мандельштама она однажды при мне назвала «еврейский анекдот на лапочках». К Цветаевой я еще вернусь, а в связи с Мандельштамом в памяти всплыла одна история.

Все, кто читал «На берегах Невы», знают, с какой добротой, любовью — и юмором обрисовала Ирина Одоевцева Осипа Мандельштама — «Златозуба», как его добродушно прозвали. Там были некоторые (неизбежные в мемуарах!) неточности, за что Ирина Владимировна — а заодно и Георгий Иванов — были несправедливо оскорблены.

Речь идет о «Второй книге» Надежды Мандельштам, которая вышла в 1972 году. В этой книге — злоба, необоснованная и слепая, проступала почти в каждой строке, — в неизбежном союзе со сплетнями и просто клеветой. Не забуду, как однажды поэт Эдуард Бабаев, добрый и мудрый человек, беспомощно и удивленно посетовал на то, что в книге Н. Мандельштам оклеветан кто-то из близких ему людей, в чьей порядочности не могло быть никаких сомнений. И вот так же в этой злополучной книге были оскорблены Одоевцева и Георгий Иванов (и не только они, конечно). «Попав в эмиграцию и оторвавшись от своего круга, — писала разгневанная вдова, — люди позволяли себе нести все что угодно. Примеров масса: Георгий Иванов, писавший желтопрессные мемуары о живых и мертвых, Ирина Одоевцева, черт знает что выдумавшая про Гумилева и подарившая Мандельштаму голубые глаза и безмерную глупость. Это к ней подошел в Летнем саду не то Блок, не то Андрей Белый и с ходу сообщил интимные подробности о жизни Любови Дмитриевны Блок... Кто поверит такой ерунде или тому, что ей говорил Гумилев по ново-

ду воззвания, которого никто никогда не находил, или денег, наваленных грудой в ящик стола... Эта пара — Иванов и Одоевцева — чудовищные вруны... Запад, впрочем, все переварит...» И так далее, в том же духе.

(Память почти неизбежно подводит мемуариста: смещаются факты, путаются имена и уж тем более переосмысливаются оценки... «Грешили» в этом отношении и Одоевцева с Георгием Ивановым, чем была весьма недовольна Анна Ахматова. И мемуары Н. Мандельштам далеко не безупречны в смысле фактов. Но ее книга беспрецедентна в своей клочущей злобе, переходящей нередко просто в клевету, в оскорбление тех, о ком она вспоминает.)

Ирина Владимировна ответила на книгу в своем «Открытом письме Н. Я. Мандельштам». Ответила достойно и великодушно. И в конце — *пожалела* свою обидчицу. Все пережитое ею в течение долгой жизни, при данных ей от природы уме и доброте, в конечном счете, вылилось в сострадание, снисхождение, жалость к людям, — чему я была свидетелем при наших встречах.

Но пора уже рассказать о них.

3

Пятого и седьмого июля мы с переводчиком Николаем Буниным (в дальнейшем — Н. Б.), неоднократно бывавшим в Париже, посетили Ирину Владимировну в ее номере, чтобы, с ее согласия, записать

Мемуарно-
Историческая
Серия

Ирина Одоевцева
НА БЕРЕГАХ СЕНЫ

Прелезноюй Анне Александровне
Саакянц
На счастье!
Ирина Одоевцева

6.7.88.

Ирина Одоевцева. Надпись на книге «На берегах Сены».

разговор с нею. Мы принесли небольшой магнитофон, который не смог уловить некоторые слова Ирины Владимировны, — да и говорила она порой не совсем внятно, а главное — слишком тихо. Несмотря на это, суть беседы была абсолютно ясной. Считаю очень важным воспроизвести в точности разговорную речь Одоевцевой, даю ее слова курсивом.

Мы предложили тему: И. А. Бунин и Г. Н. Кузнецова; их роман и их разрыв.

— *Все вас интересует?* — спросила Ирина Владимировна.

Мы: — Да. Как это было? Расскажите, пожалуйста.

— *Ну, это все можно прочитать*, — *〈произнесла она (мы давно уже «все» прочитали), однако сразу же охотно приступила к рассказу, который мы не перебивали, если даже не все слышали, и удерживались от вопросов〉.*

— *Ее отец, кажется, стрелочник, был очень хороший семьянин. Она была замужем за присяжным поверенным Виктором Петровым, очень милым чловечком, который ее очень любил... был он шофером... и старался очень для своей жены... И вот, было лето, и он уехал на дачу... 〈По-видимому, в это время Одоевцева и познакомилась с Галиной.〉 ...И тут я ее пригрела, во-вторых, повела к парикмахеру, привела в парижский вид... 〈И вскоре — Ирина Владимировна не уточняет, при каких обстоятельствах — произошла встреча Галины Кузнецовой, будущей писательницы, с Буниным, и начались недоразумения в ее семье〉, потому что она стала поздно приходить*

вечером... говорила: для меня это большое счастье, теперь я учусь... великий человек... И вот они (И. А. и В. Н. Бунины. — А. С.) пригласили ее жить с ними вместе, и с той поры они стали жить вместе... и куда бы они ни поехали, тут Вера Николаевна о ней заботилась, и он (Бунин. — А. С.) о ней заботился... Галина оказалась очень мирной, она сумела убедить, и он — они вдвоем постарались (убедить окружающих в невинности их отношений). Вера Николаевна (была) настолько наивна, что поверила, что действительно, одна литература, больше ничего, и полюбила эту бедную Галину чрезвычайно, чрезвычайно... И Галина ее очень любила... Галина была такая, знаете, простенькая, миленькая, очень красивые у ней глаза были... Она немножечко... заикалась — очень мило, очень мило... невинная провинциалочка — очень мило... Роковая женщина? Ничего подобного...

Да, тут еще Зуров появился... и тоже была трагедия, были страшные скандалы, настолько, что они с Буниным даже дрались... Вера Николаевна очень его защищала, — и Зурова, и Галину... (Она сказала Одоевцевой:) «Знаете, я могу поклясться перед иконой, что мы с Яном друг другу никогда, даже в мыслях не изменяли».

Но — тут еще Нобелевская премия. Нобелевская премия, и все взволнованы, переживают — один хотел, другой хотел... бессонные ночи, волнения. (Бунин) с ума сходил, и они пошли в кинематограф с Галиной. (Это было 9 ноября 1933 года, в день, когда решался вопрос о присуждении Нобелевской

премии; в «Грасском дневнике» Г. Н. Кузнецова пишет о том, как в кинематограф пришел Л. Зуров с этим известием; > *ищут, ищут — и он понял, что он получил премию.*

(Надо сказать, что многое из того, что рассказывала Ирина Владимировна, мы знали: и из воспоминаний самого Бунина, и из «Грасского дневника» Г. Н. Кузнецовой, и из прелестной книги А. Бахраха «Бунин в халате», и из трехтомника «Устами Буниных» и т. д. Однако ничто не могла заменить живое обаяние рассказов Одоевцевой, их обезоруживающую искренность, первозданность — и домашность. Магия свидетеля, соучастника — да просто современника! Александр Бахрах испытывал временами почти священное чувство к Бунину оттого, что тот видел своими глазами Толстого и Чехова; примерно с теми же чувствами внимали мы Ирине Владимировне. Я не говорю уже о том, что знала и помнила она неизмеримо больше того, что мы читали — о том же Иване Алексеевиче...)

Она продолжает:

— *получил премию... Те минуты... он мне рассказывал, что в те минуты — что шесть минут он был счастлив... Но потом счастья она ему не принесла.*

Ирина Владимировна так была уверена в этом (что она имела в виду, я скажу позже), что допустила в беседе невольный домысел.

— *Обыкновенно нобелевские лауреаты, — сказала она, — сидят себе тихенько дома, и потом получают и деньги. Он же (Бунин. — А. С.) решил съездить,*

что было, конечно, весьма дорого и вообще никому не нужно...

⟨Ирина Владимировна рассказывает об Андрее Седых (Цвибаке):⟩ ...очаровательный человек; поехал с Буниным в Стокгольм в виде секретаря; сделали вид, что Галина — подруга Цвибака — две семьи поехали...

⟨Вспоминает, как счастлива была Вера Николаевна; шведский король ей⟩ ручки целовал, ему (Бунину) кланялся. Ну, восторги были полные, поехали домой.

⟨Потом Ирина Владимировна говорила о том, как после Нобелевской премии⟩ образовался крепостной балет Бунина: Галина, Зуров, Роцин (о котором, единственном, вспоминала недоброжелательно). Знаете, — обыкновенный крепостной балет. ⟨И в третий раз повторила эти слова.⟩

Мне захотелось услышать историю о том, как Галина Кузнецова оставила Бунина и ушла от него к М. А. Степун — «Марге», с которой и прожила всю остальную жизнь. (Тема эта все еще была у нас полузапретной.)

⟨На обратном пути из Стокгольма, рассказала Ирина Владимировна, все четверо прибыли в Германию; немецкого языка никто, кроме Цвибака, не знал. Галина простудилась, — из-за чего, во-видимому, пришлось задержаться у Ф. Степуна, к которому заехали по дороге.⟩

Степун был писатель, у него была сестра, сестра была певица, известная певица — и отчаянная лесбиянка. Заехали. И вот тут-то и случилась трагедия.

Галина влюбилась страшно — бедная Галина... выпьет рюмочку — слеза катится: «Разве мы, женщины, властны над своей судьбой?..» Степун властная была, и Галина не могла устоять...

О всех перипетиях этой истории, с наездами и отъездами Марги, метаниями Галины (которая окончательно покинула дом Буниных лишь в 1942 году), Ирина Владимировна не распространялась, а давала как бы отдельные «штрихи».

⟨На вилле в Грассе подруги жили отдельно, в верхних комнатах⟩, ходили только в своем садике... Степун запретила им ⟨Бунину и Галине⟩ даже видаться — хотя они жили на счет, конечно, Бунина, и все, — но ходили ⟨к нему⟩ — только тогда, когда надо было за деньгами: Галина могла пойти и получить деньги — это Степун разрешала, а кроме того — ничего... Все это было, конечно (она не договорила)... ⟨Бунин говорил, что дал ей пятьдесят тысяч⟩, а Галина мне говорила: «Ириночка, он мне дал только двадцать пять тысяч» — и я верю... Он ее страшно любил и ужасно долго, по-настоящему страдал...

⟨Наконец, ее отъезд был решен бесповоротно. Она⟩ так попала под влияние Степун, что не могла лишний час остаться... Бедная Вера Николаевна ее целовала, обнимала...

Конечно, Бунин страшно обозлился, сломал несколько стульев, ну, этим дело и кончилось: она все-таки уехала.

До конца жизни своей Степун ее держала в лапках... они поступили на службу и жили довольно прилично... все было хорошо.

Ирина Владимировна никого не судила. Только жалела. «Бедный Бунин». «Бедная Вера Николаевна». «Бедная Галина»...

Поездка в Стокгольм оказалась роковой. Потому-то Ирина Владимировна и сказала, что счастья Нобелевская премия Бунину не принесла...



— Ну, что ж еще? — спросила Ирина Владимировна, покончив с «Маргой».

Я: — Про самогó. Вы замечательно написали про Ивана Алексеевича. Про него вот что-нибудь.

— Про него... Видите, больше у него романов не было... Но сказать откровенно, ведь Бунин-то... он был застенчив, и романов у него, по-моему, вообще в жизни было очень мало... ну, в общем так, больше фантазия...

Потом Ирина Владимировна заговорила о более позднем времени; к сожалению, большой отрывок ее монолога остался нерасслышан. Речь шла о приезде в Париж К. Симонова, общавшегося с Буниным: «...страшно публика стала его (Бунина. — А. С.) презирать, и все потому, что Симонов, когда приехал, он приглашал русских, и Бунина с женой, и очень за ним охотился.

⟨(Вера Николаевна записала в дневнике, что Симонов приглашал их на свой вечер, а затем в их квартире был устроен ужин: «водка, селедка, икра, сёмга... все привезено на авионе по просьбе Симоно-

ва».) По-видимому, имея в виду именно это, Ирина Владимировна сказала: > Ну, бедного Бунина тут стали ругать самым ужасным образом, писали ему письма, всё... Мы жили в Жуан ле Пэн, все вместе, вчетвером, виделись каждый день, я хорошо это все знаю...

Она частично повторяет то, о чем рассказала в книге «На берегах Сень»:

— Бунин не ходил обедать вниз: Вера Николаевна рано утром — добрейшей души человек — на третий этаж каждый день носила завтрак. Ну, он позавтракает, потом пройдет ко мне, и такой у него «пищеварительный», знаете, <разговор>... он садился и начинал: какой он несчастный, как ужасно, и все такое, а мой муж, Георгий Иванов <обычно говорил:> «мол, сиди, а я пойду» — он не мог этого выносить.

Но я должна вам сказать: мне никогда с Буниным скучно не было. Он был все-таки чрезвычайно очаровательный человек. Очень. И как много я его знала... Вы читали мои воспоминания, да?

Н. Б.: Скоро наизусть будем знать!

Я: Мы обожаем их.

Н. Б.: Он такой живой, такой живой!

— Он такой и был. Но он же был сумасшедший. <Рассказывает, что в «Русском Доме» в Жуан ле Пэн Иван Алексеевич весь день проводил у горящей печки в халате; часов в пять-шесть вечера одевался и шел гулять.> Ну, естественно, убедить его в том,

что нельзя так ходить — никак не удавалось... У них одна комната была, очень хорошая. С большим окном; там, в этой комнате у окна была печка. И вот, чтобы сидеть над этой печкой, он сидел в этой комнате у окна — на двор оно выходило, — и ничего там за окном хорошего не было. Вы знаете, он меня больше всего поражал из-за этого вида...

Он рассказывал много мне вещей. Память у меня хорошая... <Вспоминает о двух бунинских рассказах, которые она с абсолютной художественной, бунинской точностью воспроизвела в книге «На берегах Сены».>

<Когда Иван Алексеевич бывал не в духе, Вера Николаевна просила:> «Вы его, пожалуйста, постарайтесь привести в хорошее настроение». Ну, я там болтала, и все было хорошо... А жильцы <«Русского дома»> хотели очень тоже при нем приходиться, и они приходили: он очень интересно рассказывал, очень хорошо, всю свою жизнь рассказывал... <Но если он не хотел видеть гостей, говорил>, что эти люди ему неприятны, как бы их высадить, то и сё... уходил — и сейчас же опять в халат... <Но бывало и так, что, успокоившись>, начинал мало-помалу рассказывать — очень хорошо...

Вообще у него характер такой был: что если он приходил в гости, то первым делом говорил: «Мне сегодня нездоровится... я есть ничего не буду». Хозяйка: — «А-ах!» — потому что она там напекла, наварила... А я очень хорошо его поняла <и, по-видимому, советовала> не обращать никакого внимания.

〈В результате И. А.〉 потом прекрасно ел, и пил, и всё...

〈Иногда, когда он〉 приходил, если я: «Ах, вы знаете, мне нужно писать...» — он садился, и: «Работа не лисица, в лес не убежит, успеете». Прав у него был всегда наоборот.

— Ирина Владимировна! — спрашивает Н. Б. — Он любил музыку? Симфонии, бельканто? Что он предпочитал слушать? Шляпина?..

И. О. *Шляпина*. — *Шляпина лично любил и уважал. Но это уж лично.*

Н. Б. Но при вас он ни разу не слушал — патефон там, или что?

И. О. *К музыке никакой страсти не было.*

Н. Б. Рахманинова?

И. О. *Он очень его уважал...* 〈Рассказала, как на одном из вечеров, где Бунин читал свои воспоминания〉, он всех безумно осмеивал, настолько, что даже публика стала уходить, — неприятно, знаете. А дочь Рахманинова сидела в первом ряду и аплодировала — и только о нем одном он говорил хорошо и с почтением.

Н. Б. А кого он из писателей все-таки не ругал? Вот, из живущих?

И. О. *Набокова он любил, потом с Зайцевым был в хороших отношениях...*

Н. Б. Об Ахматовой, о Цветаевой отзывался он?

И. О. *О Цветаевой...* 〈Сразу переходит на Блока, которого Бунин не выносил: «Лакей, выйди вон»

(это она, — какая же у нее была поразительная память! — привела слова, записанные Галиной Кузнецовой). И, окончательно отвлекшись от заданного вопроса, заговорила о Бунине — поэте.)

— *Вера Николаевна — бедная —* *〈говорила〉* *моему мужу: «Ради Бога, похвалите какое-нибудь стихотворение Ивана Алексеевича». А мой муж никогда, ни за что и никогда в жизни не похвалил. Бунин думал, что он больше — поэт, и очень гордился, что он получил в первый раз академика — вы знаете? — тоже очень интересная вещь... Академиков во Франции зовут «immortells» — «бессмертные»... *〈Рассказала о том, как Бунина, прибывшего в Париж перед Стокгольмом, поселили в маленьком отеле, а узнав, что он — русский академик〉, сразу перевели в очень хорошую комнату — лучшую в отеле.**

— *Пожалуйста, еще вопросы, если есть — какие угодно, — любезно предлагает Ирина Владимировна.*

Мы спрашиваем об отношении Бунина к Куприну.

— *Ах, Куприн был очень талантливый человек... *〈Вспоминает о том, как они с Буниным, выпив, начали соревноваться в виртуозном ругательстве; о том〉, что когда Бунин стал академиком, Куприн так обозмился раз на него, что грозился удушить... но было это или нет, я не знаю. *〈Но отношения их в целом были хорошие.〉***

Н. Б. спрашивает об отношении Бунина к Вертинскому, цыганам.

И. О. *Никакого... Цыган любил, цыганское пение, и особенно отца своего, он любил... Он страшно боялся смерти, и когда его мать умерла, он даже не поехал на похороны.*

Я: — А Вера Николаевна? Вы любили ее?

— *Очень. <В ней> была наивность, она была замечательная... добра бесконечно... А была у нее очень большая странность: она боялась кошек. (А Тэффи, наоборот, обожала кошек)... <Вспоминает слова Бунина:> «Если бы Вера Николаевна умерла или что — я бы никогда не мог этого пережить». <Любил ли он ее?> «А если меня спросите: люблю ли я свою руку? Ну — люблю-не люблю, но: отнимите мою руку — и вы увидите...» <Об эгоизме Ивана Алексеевича:> ... он все время: «Вееррра!!!» — орал на весь дом... она за ним ухаживала, она для него вставала по ночам... она мне так однажды сказала: «Знаете? Тяжело все-таки быть всегда тенью».*

Н. Б. Ирина Владимировна! Кто вам ближе, — к вам, как поэту: Цветаева или Ахматова?

— *Цветаева, без всяких сомнений — и как человек, и как поэт. Ахматову, видите, я вообще не очень любила. Но я тогда не знала ее.*

<Речь зашла о том, что в юности Ахматова была влюблена в Голенищева-Кутузова.>

— *Об этом Гумилев никогда, ни одним словом не обмолвился. Не рассказывал ни разу о Голенищеве...*

Я: — Может быть, он не знал?

И. О. *Как не знал! Все знали... единственная любовь. <Потом о Гумилеве:> Через год он влюбился*

в <якс>. Но это, если хотите, — сейчас, если хотите — в другой раз.

Н. Б. В другой раз.

И. О. ...я немножко — так... приутомилась.

«Другого раза» не вышло. Мы не решились больше отвлекать Ирину Владимировну, и без нас осаждаемую посетителями.

4

Но встречи у нас еще были. 13 июля я заглянула к Ирине Владимировне, чтобы подарить вышедшую два года назад мою книгу. Надписала: «Дорогая Ирина Владимировна! С трепетом вручаю свою книгу о Марине Цветаевой, — Вам, поэту и женщине, знавшей и видевшей ее живой».

В этот раз мы не говорили о «литературном»; Ирина Владимировна проявила живой интерес к моей персоне. Погадала по руке. «Вы — уравновешенный человек, — сказала она, — но — застенчивый... Все хорошо, но у вас были разочарования». Потом спросила: «Вы богаты?» — так ей показалось по руке. Я проямлила, что — нет, но вот готовлю издание Цветаевой, за которое предполагаю что-то получить (и получила позже немалые деньги, вскоре, как и у всех, превратившиеся в пыль). Правую руку Ирина Владимировна рассматривала с бóльшим усилием («хуже видно», — сказала она), однако заметила: «Вы застенчивость преодолели».

Еще сказала, что может по почерку определять характер, и обещала когда-нибудь это сделать. Но напомнить я, конечно, постеснялась.

«Вы занимаетесь гимнастикой?» — спросила она. Я ответила, что нет, не занимаюсь. «Вы хорошо выглядите, — заметила она, — несмотря на то, что не занимаетесь гимнастикой. Я вас научу».



Четырнадцатого июля состоялся литературный четверг Ирины Одоевцевой. Тамара Воронина выступила с программой «Смотр». Ирина Владимировна читала стихи; к сожалению, она говорила тихо и не очень внятно. Принимали ее восторженно.

А на следующий день, 15 июля я, по приглашению Ирины Владимировны, переданному через Тамару, зашла к ней. Она лежала, чувствовала себя слабо: «Разварной судак», — сказала она. (Была страшная жара.) Поэтому вначале говорила я — по ее просьбе рассказывала о встречах с Ахматовой в Комарово и в Москве.

Постепенно Ирине Владимировне стало лучше, и я поняла, что она сама хочет говорить. «Ахматовскую» тему она поддержала довольно слабо; вспомнила, что когда она была в Америке — в 1965 году, она слушала возмущенные рассказы о том, как «бедно» принимали Ахматову в Париже, чуть не в самом дешевом ресторане...

Главным же образом наша сорокапятиминутная беседа (с 18.15 до 19 часов, как у меня записано) была посвящена Марине Цветаевой. Мы говорили об очерке Георгия Иванова «Китайские тени» и возмущенном ответе на него Цветаевой — «История одного посвящения». Одоевцева не сомневалась, что Георгий Иванов описал Мандельштама в Коктебеле 1916 года абсолютно достоверно: поэт действительно был влюблен в женщину — зубного врача, и Марина Ивановна из-за этого страшно разгневалась на автора «Китайских теней», поскольку, как выразилась Ирина Владимировна, приревновала Мандельштама. Такое, казалось бы, «дамское» суждение на самом деле било «не в бровь, а в глаз». Ведь ясно, что Георгий Иванов не мог «спутать» Цветаеву с врачом-брюнеткой, но Марина Ивановна, ради «фельетона», делает его посмешищем. (Я думаю, потому-то и отказались печатать ее очерк в журнале. Кстати: не ставит ли она в смешное положение и саму себя?)

Несколько раз Ирина Владимировна сказала о Цветаевой: «Ее очень жаль. Она не была злой, она была трудной». И еще: «В ней ничего не было женского, одета неряшливо, руки неряшливые», а между тем «из кокетства» не носила очков, хотя плохо видела.

С юмором рассказала о влюбленности Цветаевой в Анатолия Штейгера, чувстве, заведомо безнадежном: Штейгер женщин не признавал, ибо

по природе своей был, как она осторожно выразилась, «в плане Кузмина».

(Замечу, что в своих мемуарных книгах Одоевцева никогда не упоминает о подобных вещах, когда пишет, например, о том же Кузмине или Георгии Адамовиче; вероятно, в силу русской стыдливости по отношению к подобным темам, а может, и потому, что и на Западе об однополой любви писали в то время с осторожностью. Впрочем, ее ровесница Нина Берберова написала роман, где говорит о трагической женитьбе Чайковского...)

Так вот, продолжала Ирина Владимировна, когда Цветаева звала Штейгера приехать к ней, он «пришел в ужас», и свое чувство Марина Ивановна перенесла на его сестру, поэтессу Аллу Головину, милую женщину, переживавшую в тот момент душевную драму, — кажется, развод с мужем. Цветаева подарила ей роскошный бархат на платье, скопив деньги на этот дорогой подарок. И писала ей восторженные письма, — их Головина не показывала Ирине Владимировне, хотя они и дружили.

И, словно избегая всяких нелепых, пустых домыслов, она сказала: «Цветаева не была лесбиянкой, она любила душой». (Будто «подсмотрела» слова Марины Ивановны из письма к молодому корреспонденту: «Любите всё душой!»)

Повторила несколько раз, как жаль Марину Ивановну, — за многое*. «У нас были деньги, мы

* Это отношение очень сильно чувствуется в отзыве И. Одоевцевой на книгу «Неизданное» М. Цветаевой (см. с. 382).

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

ПОРТРЕТ
В
РИФМОВАННОЙ РАМЕ

СТИХИ

Восхищённой
Анне Александровне
Саакянц
Очарованная ею
Ирина Одоевцева.

31.7.88.

ПАРИЖ

1976

Ирина Одоевцева. Надпись на книге «Портрет в рифмованной раме».

могли бы помочь, — она никогда не просила. Она не любила нас. Я устраивала вечера, приходила молодежь, приходила и она, но мы не общались».

Дважды сказала: «Я с большим удовольствием читаю вашу книгу». И я совсем растаяла, услышав: «Я — женщина, и я говорю вам: вы — красивая. Я редко кому это говорю, я — требовательная».

И, внезапно:

— Надо устраивать вечера. Почему вы не читаете? (Я удивилась: а что бы я читала? Но не стала возражать.)

— Я вчера, — продолжала она, — неудачно, по моему, читала... вот, подумают, вышла... (она не договорила).



Не помню, в какую именно из наших встреч Ирина Владимировна призналась, что у нее никогда не было, *не могло быть* романа с Гумилевым. И рассказала об одном случае, который описан в книге «На берегах Невы» — о том, как Гумилев, собираясь в Бежецк к семье, попросил ее поджарить чудом где-то добытый кусок мяса, а когда она это сделала, то он, не предложив ей ни кусочка, завернул и унес. Он вообще мог есть при голодном человеке, не подумав угостить его, хотя вовсе не был жадным. Я привела эту многим известную историю только потому, что Ирина Владимировна доверительно поведала ее мне именно в *психологическом контексте* своих отношений с Гумилевым, чье равнодушие

к ней прозрачно видно из ее книги. При всем восхищении, преклонении перед своим учителем*, при большой их дружбе она все же не смогла перейти некую грань, и я верю ей абсолютно.

Что же до ее любви к Георгию Иванову, пронесенную через тридцать семь лет брака, — то здесь она была молчалива. Ни в книгах Одоевцевой, ни в беседах об этом — ни слова. Обладая открытым и общительным характером, Ирина Одоевцева в свою душу никого не впускала.

5

Сколько лет было Ирине Владимировне, когда мы встретились? Считалось, что девяносто три: в паспорте значился 1895 год рождения. На самом деле родилась она в 1901 году (об этом она рассказывала некоторым знакомым, откуда же — «разночтения» в различных справочниках). Когда в начале сороковых они с Георгием Ивановым остались буквально без крыши над головой, — их дом в Биаррице был разрушен бомбой, — а также в полной нищете, им пришлось устраиваться в дом престарелых**, хотя престарелыми они еще не были: Георгий Иванов родился в 1894 году, а Одоевцева и вовсе была «молода». Вот тогда-то она и прибавила себе шесть лет.

* Всеволод Рождественский вспоминал, что литературный псевдоним: «Ирина Одоевцева» — придумал Гумилев (Жизнь Николая Гумилева, Л., 1991. С. 277).

** Они сменили три «старческих дома», Ирина Владимировна — четыре.

Многое сегодня дорисовывается в моем воображении. Тяжкая, мучительная болезнь Георгия Иванова в старческом доме в Иере, на юге Франции. Климат был вреден ему и вдобавок усугублял его депрессию. Ирина Владимировна тщетно хлопотала о переезде в другое место. Но именно там поэт написал книгу «Портрет без сходства» — всего сорок девять стихотворений; она вышла в Париже в 1950 году с посвящением Ирине Одоевцевой и с такими строками, обращенными к ней:

Поговори со мной о пустяках,
О вечности поговори со мной.
Пусть, как ребенок, на твоих руках
Лежат цветы, рожденные весной.

Так беззаботна ты и так грустна.
Как музыка, ты можешь все простить.
Ты так же беззаботна, как весна
И как весна, не можешь не грустить.

Какой замечательный портрет, сотканный из контрастов... Вечность — и пустяки, беззаботность — и грусть; теперь я вижу, как именно эти черты сочетались в душе и характере этой женщины, которую мне довелось ненадолго встретить...

(Ирина Владимировна написала мне книгу «На берегах Невы»: «Автопортрет без сходства». И нарисовала кошку-девочку, с бантом-бабочкой на голове...)

...На глазах ее угасал самый близкий человек; он писал *посмертные* стихи — «Посмертный дневник»,

и буквально за несколько дней до кончины, в августе 1958-го, обращался к ней:

Поговори со мной еще немного,
Не засыпай до утренней зари.
Уже кончается моя дорога,
О говори со мною, говори!

Пускай прелестных звуков столкновенье,
Картавый, легкий голос твой
Преобразит стихотворенье
Последнее, написанное мной.

И совсем накануне кончины оставил записку:

«Обращаюсь перед смертью ко всем, кто ценил меня, как поэта, и прошу об одном. Позаботьтесь о моей жене Ирине Одоевцевой. Тревога о ее будущем сводит меня с ума. Она была светом и счастьем моей жизни, и я ей бесконечно обязан.

Если у меня действительно есть читатели, по-настоящему любящие меня, умоляю их исполнить мою посмертную просьбу и завещаю им судьбу Ирины Одоевцевой. Верю, что мое завещание будет исполнено»*.



В телевизионной передаче, записанной в том же Переделкино, Ирина Владимировна, с обычной сдержанностью и простотой, за которой пряталась трагедия, рассказала немного о Георгии Иванове.

Не хочу, чтобы эта пятиминутная (всего-то!) передача канула в небытие. Привожу все, что сказала Ирина Владимировна, в точности.

* Минувшее. № 21. М.: СПб. 1997. С. 401.

Начала она со стихотворения Георгия Иванова:

*За столько лет такого маянья
По городам чужой земли
Есть отчего прийти в отчаянье,
И мы в отчаянье пришли.*

*— В отчаянье, в приют последний,
Как будто мы пришли зимой
С вечерни в церковке соседней,
По снегу русскому домой.*

— Да, — продолжала Ирина Владимировна. — Но это его стихи уже из его «Посмертного дневника». Этот «Дневник» — он весь его мне продиктовал, потому что он совершенно был болен и даже писать не мог... Это его страшно мучило, что он должен так: умирать, не увидев русской земли... И у него есть такое стихотворение — нет, уже, к сожалению, не помню: как хорошо лежать в русской земле — на Ваганьковском, или каком-то там тоже кладбище — я забыла — весну или осень дожидаться, лежа в русской земле... Так что это было бы очень, конечно, большой и для него, и для меня (радостью) — если он там видит — если б его теперь перенесли тоже сюда. Потому что он так любил Россию — даже чересчур. Например, к моим французским знакомым (естественно, у меня были и французские друзья) он никогда не ходил, и когда я приезжала к ним, (они говорили:) «Ну да, мы знаем: мсье Иванов... у него что? зубы болят? или что? он ногу сломал?» Или почему никогда из всех приглашений

не принимал? Никогда. Уж редко, редко, когда ко мне приходили, то, конечно, он тоже был, но так... а когда женщины там начинали с ним флиртовать — а он <говорил обычно:> «Я смотрю, пудель какой-то лает, а я даже не слушаю, что они говорят».

Однажды он рассказал о сне: что он себя видит в России, идет по Невскому, и безумно счастлив. И в это время вдруг какой-то господин, француз: «Monsieur! Voulez-vous m'expliquer...»* — а я, говорю, как размахнулся, и как дал ему пощечину, и проснулся с удовольствием».

Георгий Иванов был такой русский, что про него говорили, что он не русский, а русак — особая порода людей. Он так тосковал, что просто не мог... знаете его стихи — вот такие:

Я не забыл, что обещано мне
Воскреснуть. Вернуться в Россию стихами...



Через две недели после кончины Георгия Иванова Ирина Одоевцева переехала в другой «старческий дом» — в Ганьи под Парижем. Там она прожила без малого двадцать лет. Она совсем не была старой, когда переступила порог своей комнатушки, этого «anti-chambre du mort» («преддверия смерти»). И в тоскливом ужасе, что вот здесь и окончатся ее дни, что больше ничего не будет, написала стихотворение:

* Господин! Не можете ли вы мне объяснить... (фр.).

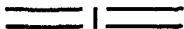
Последнее траурное новоселье.
Мне хочется музыки, света, тепла,
И чтоб отражали кругом зеркала
Чужое веселье.

Смешно о веселье.
Грешно о надежде.

В холодной, пустой, богадельческой келье
Сварливая, старческая тишина,
И нет ни покоя, ни сна,
И тянет тоскою из щели окна,
Из сада, где дождь и промозглая слякоть.
— Не надо, не надо!
Прошу вас не плакать.

1958

Но не такова была Ирина Одоевцева, чтобы предаваться унынию; она «воскресла» и сделалась счастлива — общением, поездками (летала даже в Америку), а главное — творчеством. В Ганьи написала она свои замечательные мемуары: «На берегах Невы» и «На берегах Сены»*, вложив в них весь свой оптимизм и жизнеутверждающую силу.



В ноябре 1990 года, когда Ирины Владимировны уже не было в живых, — она скончалась 15 октября, — мне довелось увидеть ее долголетнее пристанище в Ганьи (минут пятнадцать от Парижа

* Третью задуманную книгу: «На берегах Леты» она не осуществила, написав лишь несколько глав.

на электричке). Дом был вполне современен (так же ли, как прежде?), с удобными лифтами для инвалидов, уютными холлами и т. п. Там доживала свой век поэтесса Аглайда Шиманская, приятельница Ирины Владимировны, посвятившая ей стихотворение, которое начиналось так:

Помню в детстве розовые стены,
Розовая комната, тепло,
Сон полузабытый, очень давний,
И ко мне дорогу замело...

Я осязаемо представила, каково было на первых порах Ирине Владимировне «прижиться» к этой «камере». Комната, в которую я вошла, была небольшой — метров двенадцать-четырнадцать. При входе вдоль левой стены — кровать, тумбочка с лекарствами, скляночки. Посредине — умывальник за занавеской, у правой стены — полка или шкафчик с книгами и несколько фотографий. Шиманская лежала — видимо, встать ей было нельзя, или она не могла. Потом зашли еще две такие же старые женщины, — одна из них — вдова поэта Рафальского, — и мужчина. Всем было «вокруг» девяносто; кто-то был глух, кто-то — слеп. Я не решилась принять участие в разговоре, который пыталась вести моя знакомая, приведшая меня сюда, а также уточнить, «кто есть кто». В час обеда появилась чернокожая женщина с каталкой и скудной едой.

Впечатления были самые печальные...

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА

На берегах
Невы



Абстрактно
без сходства
И.В.

Анне Саакянц
от
отарованной ею

Ирины Одоевцевой
25/7.88г.

Москва
«Художественная
литература»
1988

Ирина Одоевцева. Надпись на книге «На берегах Невы». В подписи обыграно название книги Георгия Иванова «Портрет без сходства».

После возвращения в Россию Ирина Владимировна Одоевцева прожила три с половиной года. Познала славу и любовь соотечественников*. Увидела вышедшие в свет книги «На берегах Невы» и «На берегах Сены». До стихотворений, к сожалению, при ее жизни дело не дошло, как и до романов: лишь один из пяти романов Одоевцевой** был напечатан — посмертно — в журнале «Октябрь», в номерах 10—12 за 1992 год. Хотя еще при мне, в Переделкино, шла речь о переиздании его; помню, что Тамара Воронина пыталась хлопотать об этом. (Название романа — «Оставь надежду навсегда» — как-то не вязалось с жизнеутверждающим образом его автора.)

Осенью 1988 года Ирина Владимировна переехала из Переделкино в Москву; выступала в Доме актера. У меня сохранился билет на этот вечер 22 октября.

* Вот еще отрывок из воспоминаний А. Радашкевича:

«Вы мечтали о славе. Не о посмертной... — о сиюминутной, как карета скорой помощи, громкой, сверкающей хрусталами: читать стихи со сцены Большого театра.

Сразу согласились на «перестроечной» волне переключать к невским берегам...

Какие-то приживалки смотрели нам в рот через несколько месяцев в Вашей квартире на Невском проспекте, 13...

В последнее лето Вы сказали, держа меня за руку: «А знаете, Алик, я уже одной лапочкой там», — и детски улыбнулись... «Я буду о вас там заботиться».

** О них можно получить представление из книги: Боброва Э. М. Ирина Одоевцева. Поэт, прозаик, мемуарист. Литературный портрет. М.: Наследие, 1995.

Потом ее перевезли в северную столицу, в квартиру на Невском, 13. Прожила там Одоевцева около двух лет; она со многими встречалась и получала множество писем — из России, из республик, из-за границы. Конечно, российский климат, после стольких лет жизни во Франции, был для нее нелегок... Говорили, что она постепенно угасала...

Но до конца дней осталась верна своему девизу:

И во сне, и наяву
С восхищением живу!

1996, 1997

Ирина Одоевцева

**Отзыв о книге:
«Марина Цветаева. Неизданное»**

(Paris, YMCA-PRES, 1976)

Эту книгу необходимо было издать — необходимо, как и все оставшееся после Марины Цветаевой, решительно все, без исключения.

Я с радостью приветствую появление «Неизданного» и надеюсь, что у него будет много читателей.

Марина Цветаева — наш общий грех, наша общая вина. Мы все перед ней в неоплатном долгу.

Зинаида Шаховская в своих «Отражениях» приводит слова Марины Цветаевой, произнесенные ею при их последней встрече со вздохом: «Некуда податься — выживает меня эмиграция».

Она была права — эмиграция действительно «выжила» ее, нуждавшуюся в любви, как в воздухе, своим полнейшим равнодушием и холодом — к ней.

Мы не сумели ее оценить, не полюбили, не удержали от ее губельного возвращения в Москву. Не только не удержали, но даже скорее толкнули ее на этот пагубный шаг.

Я хотела бы многое сказать о Марине Цветаевой, очень многое, чтобы хоть отчасти искупить свой грех, свою вину перед ней, но я, к сожалению, крайне стеснена местом и потому сразу приступаю к разбору «Неизданного». Оно делится на три отдела: стихи, театр, проза. Начинаю, вопреки общепринятому порядку, с прозы — с самого замечательного в этой замечательной книге.

В том, что Марина Цветаева — прекрасный стилист, теперь согласны все. Не только прекрасный, но, по всей

вероятности, лучший стилист нашего времени — лучше Бунина, Белого, Сологуба, Мандельштама (проза которого все же слишком проза поэта).

Особенно хорош ее «Дом у старого Пимена», недавно напечатанный в «Неизданных письмах Марины Цветаевой» под редакцией Глеба Струве, за что ему следует принести глубокую читательскую благодарность.

Этот «Дом у старого Пимена» появился впервые — после каких унижительных хлопот и обидных затяжек — в «Современных Записках» в 37 году и очаровал даже скептически относящегося к Марине Цветаевой Адамовича, посвятившего ему целый, чрезвычайно хвалебный, фельетон в «Последних Новостях», вызвавший негодование Милюкова — нашли тоже кого хвалить.

А хвалить — и еще как! — ее следовало уже тогда за ее чудесные воспоминания о Волошине, о Белом, о собственном детстве, за ее несравненное, присущее только ей, умение писать «по-цветаевски», т. е. превращать людей и события в мифы и легенды.

«Повесть о Сонечке», занимающая в «Неизданном» 161 страницу, написанная также не без мифотворчества, «по-цветаевски», и от нее, как от всего вышедшего из-под ее пера, оторваться нельзя.

И все же ее — в некотором смысле — я не решаюсь назвать удачей. В ней Марина Цветаева не достигла поставленной ею себе цели — прославить молодую актрису Сонечку Голлидэй и заставить читателя безмерно восхититься ею. Она обращается к ней: «Сонечка! Я бы хотела, чтобы, после моей повести о тебе, в тебя влюбились бы все мужчины, изревновались к тебе все жены, истрадались по тебе все поэты».

Этого при напечатании первой части «Повести о Сонечке» в 1938 году в «Русских Записках» явно не произошло.

В Сонечку тогда, насколько мне известно, никто и не подумал влюбляться, ни один поэт не «исстрадался» по ней. Повесть о ней прошла почти незамеченной.

Своего впечатления о ней, о тогдашнем первом появлении ее, я, к своему удивлению, не помню. Вернее всего я ее просто не читала.

Теперь же — сознаюсь — Сонечка мне не очень нравится, и я была почти равнодушна к повести о ней, — если бы в ней, как в магическом «влюбленном зеркале», сродни зеркалу «Кокто», не отражалась бы необычайно ясно, точно и отчетливо сама молодая Марина Цветаева — совсем не похожая на ту, — безысходно несчастную, обреченную — знакомую нам — на того «камчатского медведя без льдины», в которого ее превратили годы скитаний, обид и горя. А молодая, торжествующая, победоносная, счастливая, окруженная тройным кольцом влюбленности, поклонения и обожания, принимающая это как должное, — как по праву принадлежащее ей, без ложной скромности, с чудесной, высокой искренностью и силой она восстанавливает себя ту, молодую, счастливую и живую.

Благодаря этому «Повесть о Сонечке» не только не неудача, а напротив — блестящая победа — над временем и даже над смертью. В ней живет — продолжает жить молодая Марина Цветаева.

Действие в «Повести о Сонечке» почти отсутствует, что сознает и сама Марина Цветаева, — перечисляя в конце ее действующих лиц и их судьбу, она поясняет: «Я сказала «действующие лица». По существу же в моей повести действующих лиц не было. Была любовь. Она и действовала лицами».

Прибавлю от себя — была Марина Цветаева и была любовь — сверх-ультра-романтическая, просто чудовищная любовь. «Чудовищная», как мы когда-то говорили

на берегах Невы, уверенные, что в слове «чудовищное» всегда кроме чудовища присутствует и чудо.

Действительно, была «чудо-вищная любовь». Вернее, чудо любви, объектом которого, сама превратившись в некое чудо, была Марина Цветаева.

Ведь надо помнить — все это происходит в Москве в 19-ом году, а он был, как она называет его «самый мрачный, самый черный, самый смертный из всех годов Москвы». Ей, хотя она ни разу не напоминает об этом, не может не житься «черно, чумно и смертно». Она одна — муж ушел воевать против красных, одна с двумя маленькими дочками Алей и Ириной. И все же она умудряется быть счастливой. Любовь, обожание и поклонение заменяют ей хлеб насущный; о нем, об его отсутствии и прочих трудностях и бедствиях ни полслова. Она героически попирает «скудные законы бытия», она не снисходит до мучений голодом и холодом, испытываемых не только ею и ее дочками. Она как будто не замечает окружающего, вознесенная в какие-то фантастические высоты, с которых трудно разглядеть то, что творится внизу на земле. И она счастлива.

Нет, я не знала, что она все же когда-то получила в подарок от судьбы это, пусть эфемерное, счастье, что ей, чего она так страстно желала, поклонялись и молились, как божеству.

И это меня утешает. Думаю, что это утешит и многих ее поклонников.

Во втором отделе «Неизданного» — «Театр» — помещена пьеса в стихах «Каменный Ангел», восхищавшая молодых актеров Студии Вахтангова, считавших «Каменного Ангела», как и другие пьесы Марины Цветаевой, написанные ею для них, «гениальными».

На такую высокую оценку «Каменный Ангел» вряд ли может претендовать. На менее восторженный и влюбленный взгляд, несмотря на некоторые блестящие строфы и строки, эта пьеса никакими особыми достоинствами не отличается и не очень театральна, хотя и хорошо сделана.

Здесь она как раз на своем месте, являясь добавлением и как бы иллюстрацией к «Повести о Сонечке».

Первый отдел «Неизданного» посвящен «Юношеским стихам», подготовленным к печати самой Мариной Цветаевой в 1919 году и не удостоившимся тогда высокой чести увидеть свет.

В примечаниях к «Неизданному» Марина Цветаева рассказывает, как она отнесла их в Лито и как почти через год ей их вернули с отзывом Брюсова: «Стихи М. Цветаевой, как не напечатанные своевременно и не отражающие соответственной современности, бесполезны».

Трудно поверить, что он действительно думал это. По всей вероятности, он просто мстил ей, т. к. был «очень против нее».

Стихи эти прелестны, полны подлинной, юношеской свежести, непосредственности. Излишне прибавлять, что они свидетельствуют о ее огромном таланте и оригинальности.

Первое стихотворение датировано 1913 годом. И сразу — удар в сердце:

Посвящаю эти строки
Тем, кто мне устроят гроб.

И вторые снова о смерти, о могиле:

Я вечности не приемлю!
Зачем меня погребли?
Я так не хотела в землю
С любимой моей земли.

И еще и еще о смерти. И даже в чудесной просьбе о любви, бывшей ей нужнее воздуха, она не забывает о смерти.

К вам всем — что мне, ни в чем не знавшей меры,
Чужие и свои, —

Смерть, смерть, смерть — мысли о ней не покидают ее, но это не мешает ей страстно любить жизнь:

Быть нежной, бешеной и шумной
— Так жаждать жить! —

Нельзя без волнения читать эти стихи, они как будто перекликаются с ее трагической гибелью и одновременно дополняют образ молодой, счастливой Марины Цветаевой из «Повести о Сонечке».

«Русская мысль». № 3115. 2 сентября 1976 г.

Ирина Одоевцева

**Открытое письмо
Н. Я. Мандельштам**

Поверьте, Надежда Яковлевна, мне очень тяжело и больно выступать против вас, вдовы Осипа Эмильевича, которого я любила и считала другом Георгия Иванова.

Если бы вы поносили меня одну, я, конечно, не стала бы этого делать, но я считаю своим долгом заступиться за Георгия Иванова.

Вы написали не воспоминания о Мандельштаме, а легенду о нем, великолепную легенду, и за это вам честь и слава. Мандельштам прекрасный поэт и великий страдалец, за все свои хождения по мукам вполне заслужил легенду о себе.

В том, что в созданной вами легенде о нем Мандельштам потерял свой трехмерный человеческий облик и приобрел новые мифические черты, еще ничего дурного нет. Это естественно.

Но дурно то, что вы в порыве своего мифотворчества яростно набрасываетесь на всех авторов воспоминаний о Мандельштаме, показавших его таким, каким он был на самом деле.

Все они, без исключения, вызывают у вас гнев и ненависть, всех их вы поносите с невероятной грубостью.

Яростнее всего вы обрушиваетесь на Георгия Иванова, — возможно, оттого, что ему действительно удалось в «Петербургских зимах» показать живого Мандельштама, не похожего на миф.

Не буду разбираться, чем вам так не угодил Георгий Иванов, за что вы его так невероятно оскорбляете.

Вы, по-видимому, даже не отдаете себе отчета в том, что как поэт, Георгий Иванов не меньше Мандельштама,

и еще неизвестно, чья слава перевесит на весах вечности и кто из них, — Мандельштам или Георгий Иванов, будут считаться лучшим поэтом.

Ведь уже и теперь — и в эмиграции, и в Советском Союзе, многие задают себе этот вопрос, о чем свидетельствуют письма и разговоры с приезжающими оттуда.

Не удовлетворяясь бранью, вы, чтобы окончательно дискредитировать Георгия Иванова, приводите еще и омерзительные сплетни о нем, а сами тут же сообщаете, что Ахматова возмущалась «гнусными сплетнями», распускаемыми в Крыму о Мандельштаме Волошиным, хотя сомнительно, чтобы такой благородный человек, как Волошин, распускал «гнусные сплетни».

«Крымских сплетен» о Мандельштаме я никогда не слышала. Зато не раз слышала в Петербурге сплетни о Мандельштаме, порой очень некрасивые.

Но не бойтесь, я не стану платить вам вашей же монетой и не унижусь до того, чтобы повторять гнусности, которые, к сожалению, рассказывали о нем тогда.

Вы, одурманенная ненавистью, поносите Георгия Иванова, не понимая, что этим самым вы поносите и Мандельштама, утверждая, что Мандельштам, сравнивая свою жизнь с жизнью Гёте, попавшего в молодости в компанию жуликов, сказал вам, что и он пережил нечто подобное с Георгием Ивановым и Волошиным (хорошо, что вторым «жуликом» у вас фигурирует Волошин, а не какой-нибудь вор или шулер).

Неужели Мандельштам действительно сказал это? Ведь если это правда, то созданный вами с такой тщательностью светлый образ Мандельштама меркнет — только подлый человек способен так отозваться о друге своей юности.

А что Георгий Иванов был другом Мандельштама, вы отрицать не можете. Неопровержимым доказательством этому служат посвященные им Георгию Иванову стихи.

Мандельштам при мне осуждал легкость, с которой поэты посвящают свои стихи кому попало.

— «Стих, — говорил он, — можно посвящать лишь тем, кого по-настоящему любишь и уважаешь, чье имя достойно быть поставленным над самым дорогим для поэта, над его стихами. Удоставать такой чести следует очень немногих, иначе посвящение теряет всю свою ценность».

И действительно, Мандельштам «удостоил этой чести» только Гумилева и Георгия Иванова. Во всех его книгах — только эти два посвящения.

Ни Анну Ахматову, ни вас — как это ни странно, — он «не удостоил этой чести».

Возможно ли после этого сомневаться, что Георгий Иванов был его другом и, вероятно, даже лучшим другом его юности.

Вы называете Георгия Иванова «чудовищным вруном», но ведь и у вас чудовищно много — как бы это повесливей сказать? — отступлений от «истины»: так, например, Георгий Иванов никогда не убеждал Мандельштама не жениться на вас. Этого никогда не было и даже быть не могло по той простой причине, что в Петербурге никто не догадывался о желании Мандельштама жениться. Почему-то его считали неспособным на это. Гумилев утверждал, что у поэта или богатая и разнообразная сексуальная жизнь, как у него самого, или полное отсутствие ее, как у Мандельштама. Все романы Мандельштама он считал одной «платоникой». «Аскетизм, — говорил он, дает отличные результаты в поэзии, но им все же не следует злоупотреблять». И прибавлял, вздохнув: «Ах, если бы нашлась женщина, которая занялась бы Златозубом всерьез!»

О том, что такая женщина уже нашлась, он и понятия не имел. В Петербурге, повторяю, о вас никто не слыхал.

Известие о женитьбе Мандельштама произвело у нас в Петербурге сенсацию. Ему даже сразу не поверили.

Отправлявшемуся в Москву Чуковскому было поручено непременно убедиться, женат ли Мандельштам. И Чуковский, вернувшись, сказал: — «Да, женат!»

В ответ на посыпавшиеся на него вопросы — Кто ж она? — Какая? — Как выглядит?, — он, пожав плечами и разведя свои длинные руки, нерешительно произнес: — Что ж! Все-таки женщина!»

Привожу здесь текстуально его слова. В «На берегах Невы» я, не желая вас обидеть, смягчила его ответ.

Мандельштама Георгий Иванов снова увидел только в Москве в 1922 году, женатым на вас. Отговаривать его жениться было бы уже поздно.

Не думаю также, чтобы Ходасевич отговаривал Мандельштама жениться на вас, считая вас не подходящей для него женою. Он в те дни был слишком занят, перед отъездом за границу, устройством своих любовных дел, чтобы еще заниматься чужими браками.

Но о том, что вы совершенно не подходящая жена для Мандельштама, мне все же пришлось — и не раз — слышать. Но было это много позже, уже в Париже. Приезжавшие из России, передавая все возможные новости о поэтах и писателях, рассказывали, что Мандельштам очень изменился, стал раздражительным и озлобленным, и винили в этом вас. Говорили, что у вас скверный характер, что вы сварливы, вечно заводите ссоры и что поэтому с вами обоими предпочитают пореже встречаться.

Мы с Георгием Ивановым не очень верили этим рассказам, а он даже старался вас защищать, уверяя, что вы славная.

Потом до нас дошел слух о пощечине, данной Мандельштамом Алексею Толстому. И тут опять винили вас. По слухам, Алексей Толстой чем-то оскорбил вас, и вы, требуя, чтобы Мандельштам заступился за вас, так долго

грызли его, что он, потеряв всякое самообладание и соображение, ударил Толстого по лицу.

Такая безумная выходка, конечно, почти равнялась самоубийству — ведь Алексей Толстой был тогда все-таки сильным.

Так ли это было или не так, я не знаю, я только передаю доходившие до Парижа слухи.

Уже после войны приехавший из Москвы молодой поэт говорил Адамовичу: «Мандельштам погиб от злой жены. Коли б она не науськивала его на всех, он и по сей день был бы жив. Ведь стишок его о Сталине — глупый пустяк. Все дело в пощечине, данной им за нее Толстому».

Повторяю, я и сейчас не верю этим рассказам.

Все же не совсем понятно, почему вы, так многословно и пространно высказывающаяся по всякому поводу и без всякого повода, не нашли нужным опровергнуть слух, что вы были главной причиной гибели Мандельштама? Неужели этот слух не дошел до вас? Ведь он долетел даже до Парижа и был повторен в печати.

Тут-то вам, казалось бы, и следовало обрушиться на авторов этой «брехни» и разгромить их, не стесняясь в выражениях, как вы это так мастерски делаете.

Вам следовало бы защитить от этих клеветников созданный вами нежный образ беспомощной, покорной, безропотной жены Мандельштама. Впрочем, этот образ не слишком убедителен. Нет-нет, да и проскользнет в вашем мифе о себе какая-нибудь реальная черта вашего характера. Например, предложение Ахматовой, во время ее первого посещения вас: «Сбегайте, Анна Андреевна, за папиросами, а я пока поставлю чай».

Рассказывая об этом, вы не отдаете себе отчета в вашей невообразимой бестактности и, простите, наглости. Хотя вы сами и упоминаете, что Ахматова, привыкшая

к «великому суююку» своего окружения — как вы выражаетесь — не могла забыть об этом до самой своей смерти.

Да, вы и о себе стараетесь создать миф, но надо вам отдать справедливость, над мифом о Мандельштаме вы потрудились гораздо больше, чем над своим, переработав Мандельштама во всех измерениях.

Для начала вы прибавили ему роста. По вашему описанию, он был большого роста, в подтверждение чего вы говорите, что на высоких каблуках вы доходили ему только до уха. Но, простите, это еще не доказательство. В недавно появившемся в «Русской мысли» интервью голландской корреспондентки, беседовавшей с вами в Москве, сказано, что вы «малпосенькая» и не доходите ей даже до плеча, а она ведь вряд ли великанша.

Вы обижены на Эренбурга за то, что он «выдумал», что Мандельштам небольшого роста. Но это не выдумка, а факт, подтвержденный свидетельством всех писавших о нем. Все они, как будто сговорившись, утверждают, что он был небольшим и щуплым. Вы же еще награждаете его широкими плечами, которых у него и в помине не было.

Портреты и фотографии плохо передают его внешность — он на них очень мало похож на себя.

Исключение — силуэт, сделанный с него Кругликовой. Там он действительно «как живой» — очень тонкий, вытянувшийся в струнку, с хохолком на запрокинутой горбоносой голове, с чрезмерно выдающимся кадыком и, — главное, с выражением смеси гордости и робости, таким характерным для него.

Для полного сходства, — но ведь это силуэт, а не портрет — не достает только золотых пластинок, тускло поблескивающих во рту, за которые он и заслужил прозвище «Златозуба».

Таким он был в действительности. У вас же он высокий, широкоплечий, с «огромными ресницами».

Странно все же, что никто, кроме одной Ахматовой, не разглядел этих «огромных ресниц», — ведь они, по своей необычайности, не могли пройти незамеченными, а о них, — кроме как у одной Ахматовой в ее воспоминаниях о Мандельштаме в «Воздушных путях» — нигде ни полслова.

Адамович рассказывал мне, что он так и ахнул, прочитав у Ахматовой о ресницах Мандельштама — «в полщеки». — «Откуда она их только взяла? — недоумевал он. — Впрочем, Анна Андреевна явно страдала потерей памяти. Во время моей встречи с ней в Париже, когда она возвращалась из Лондона, она вспоминала о наших совместных поездках зимой в Павловск и о посещениях вернисажей. Она явно путала меня с кем-то другим, скорее всего с Жоржем, тот действительно всюду сопровождал ей и ходил за ней как паж. А я в сущности даже мало знал ее и никогда никуда с ней не ходил. Ресницы Мандельштама она, по всей вероятности, спутала с ресницами Модильяни. У Модильяни, южанина и брюнета, они могли быть «в полщеки». Вот она и припила его ресницы Мандельштаму», — говорил мне Адамович.

Георгию Иванову даже казалось, что ресниц у Мандельштама вовсе не было. Это, конечно, преувеличение — ресницы, безусловно, были, но очень незаметные, рыжеватые.

Мандельштам у вас не только не похож на себя, но вообще не похож на живого человека. Он — какое-то абстрактное геройство, да еще и на ходулях.

Подарив ему высокий рост, широкие плечи, сказочные ресницы, безграничную душевную свободу, умственную силу, умение разбираться во всех политических событиях и прочие гражданские доблести, вы лишили его прелести и очарования, его божественного легкомыслия, его детской беспомощности, заставлявших всех любить его и не судить строго.

Ему прощалось многое, что не сошло бы с рук другому. Например, его добрые отношения с тогдашними «власть имущими». Он один из всего окружения Гумилева бывал на их приемах из-за пристрастия к сладостям, в изобилии подававшихся там.

Гумилев только благодушно посмеивался, произнося в виде напутствия ему переделанные строки Анненского:

Какие грязные не пожимал я руки,

Не соглашался с чем...

Скорей — ги-фуры ждут!

А у вас Мандельштам, чтобы не встретиться с Троцким, даже от вкусного завтрака отказывается. Помилуйте, да разве он не был с Троцким знаком, разве он не встречался с ним на приемах Ларисы Рейснер и других сановников? Ведь Троцкий очень интересовался поэтами и покровительствовал им. К нему, как и к Луначарскому, поэты не чувствовали ни ненависти, ни отвращения.

Зачем же Мандельштаму было лишать себя настоящего кофе с сахаром внакладку и сладкими булочками?

Но, по-видимому, созданный вами легендарный Мандельштам, этот образец гражданской доблести, должен был идти даже на такие жертвы.

Мандельштам, тот, которого мы все знали и любили, был похож на альбатроса Бодлэра, парящего в небе над добром и злом в великолепном полете, но не способного ходить по земле, слабого, вечно нуждающегося в защите и помощи, а у вас он «твердый человек» и даже «защитник угнетенных». Он опекает Хлебникова, содержит своего брата Сашу. Он «заарканил, взнуздal» и покориł вас себе.

Читая ваши описания его, я совсем забывала, что речь идет о Мандельштаме, которого я хорошо знала, и жале-ла, что мне не пришлось встретиться с этим изумительным сверхчеловеком, даже хоть издали взглянуть на него.

Создавая своего легендарного, иконописного Мандельштама, вы не ограничиваетесь расправой с теми, кто описал его таким, каким он действительно был, а разделяетесь и с теми, кто ничем не «провинился» ни перед ним, ни перед вами.

Вашу сердечную благодарность заслужил один только ташкентский сапожник, спивший вам сапоги из кожаных обрезков. По вашим словам, — «только в этом человеке мы увидели участие и доброту и только благодаря ему не потеряли веры в людей».

Неужели один только ташкентский сапожник?.. А другие? А те, — как вы сами говорите, — так самоотверженно помогавшие Мандельштаму и вам, те, кто отдавали вам последние деньги перед вашим отъездом в Воронеж, неужели никто из них не вернул вам веры в людей? Никто не заслужил вашей признательности и любви?*

«Эта пара — Георгий Иванов и Одоевцева — чудовищные вруны», — заявляете вы безапелляционно.

Но ведь и вы, Надежда Яковлевна, вежливо выражаясь, как я уже говорила, часто «отступаете от правды». Чтобы не быть голословной, перечисляю ваши «отступления от правды»: за зиму 20—21 года, проведенную Мандельштамом в Петербурге:

1. Никакого 3-го Цеха Поэтов никогда не существовало. Цех Поэтов, счетом 2-ой, был восстановлен Гумилевым осенью в 20-м году.

2. Мандельштам, хотя вы это категорически отрицаете, был членом 2-го Цеха и даже ревностным членом, не пропустившим ни одного заседания Цеха.

3. «Звучащая Раковина» «пародией на Цех» не была, а была объединением учеников Студии Гумилева.

* Даже Ахматова? Хотя и о ней вы рассказываете такие обидные подробности, которые вряд ли предали бы гласности даже ее враги.

4. В последний год своей жизни Гумилев не «возился ни с Оцупом, ни с Рождественским». Это происходило в 18—19 годах.

5. Рождественский мог считать себя учеником Блока, т. е. с июля 20-го года он перешел в его окружение. Он и Оцуп содействовали избранию Блока председателем Петербургского Союза Поэтов. Гумилев затаил против них обоих обиду, хотя внешне сохранил с ними добрые отношения.

6. Горький не только не относился плохо к Гумилеву, а напротив, с большой симпатией и уважением. Гумилев очень нравился ему и как человек и как поэт; о чем Гумилев не без гордости рассказывал мне, передавая свои разговоры с Горьким в «Иностранной Литературе».

7. Горький, по-видимому, сделал все, что только мог, чтобы спасти Гумилева. Говорили, что он не только послал телеграмму, но ездил в Москву к Ленину и добился отмены приговора, но отмена опоздала. Гумилева и других расстреляли немедленно после приговора.

8. Горький действительно — по словам Чуковского — был в отчаянии и плакал, узнав о расстреле Гумилева. Об этом стало известно тогда же. Никому и в голову не приходило упрекать Горького в бездействии и безразличии к судьбе Гумилева.

Как видите, ошибок и «отступлений от правды» немало, в особенности для такого короткого срока. А сколько бы отступлений от правды нашлось, если бы так подробно разобрать всю вашу книгу?

Теперь перехожу, хотя мне это особенно неприятно, к вашим «отступлениям от правды», касающимся уже лично меня.

И тут, для начала, я могу только изумиться. Ну зачем, скажите на милость, вам понадобилось тревожить

тени Гумилева и Ахматовой и заставлять Ахматову «бредить», как вы изящно выражаетесь? Ахматова якобы говорила вам, что Гумилев советовал ей писать баллады. Нет, простите, этого она вам говорить не могла. Этого не было и быть не могло. Гумилев советовал Ахматовой писать одни лишь короткие лирические стихи, как можно больше сокращая и конденсируя их. Из-за этого у них даже возникали ссоры, — Гумилев вычеркивал целые строфы ее стихов. Он был против задуманной ею поэмы «У самого моря». Она была написана уже в 13-ом году, но, по совету Гумилева, не была включена в «Четки». Она, в отрывке, появилась лишь в «Белой стае». Гумилев находил, что у Ахматовой не хватает «дыхания» для больших стихов и эпоса — в чем он безусловно ошибался. Писать баллады он, конечно, советовал ей не мог — баллады — эпический род стихов, а он настаивал, чтобы она писала короткие лирические ультраженские стихи с «истерическим бабьим привкусом», как он выражался.

— «Ненавижу истерику в жизни», — говорил он, — «а в женских стихах она находка и я рекомендовал Анне Ахматовой почаще пользоваться ею в стихах — ей это блестяще удалось».

Все это уж я могу смело утверждать — Гумилев любил вспоминать о начале поэтической карьеры Ахматовой и роли, сыгранной им в ней.

Но ваши «отступления от правды» с выдумкой о балладе понадобились вам для уничтожения меня. Вы пишете: «Гумилев добился баллады только от Одоевцевой, которая сочинила что-то про могильщиков и kota».

Неужели же Гумилев столько лет напрасно добивался баллады у Ахматовой и у своих подражателей-последователей, которых уже тогда у него было много? И только от меня добился ее? Но дело в том, что Гумилев никогда

не «добивался баллады», а, напротив, был ей враждебен. Он, когда я в ноябре 19-го года написала свою первую «Балладу о толченом стекле», а не о могильщиках, заявил мне, что в наши дни баллады не доходят до читателей и сочинять их ни к чему. Я поверила ему и никому свою балладу не показала.

Мою балладу открыл Георгий Иванов уже через полгода, 30-го апреля 1920 года.

Обо всем этом я подробно рассказываю в «На берегах Невы».

Вы продолжаете — уже в скобках: «(Мандельштам говорил, что Гумилев обрадовался балладе и именно на этом держались его отношения с Одоевцевой, которая так ловко их расписала)».

Простите, Надежда Яковлевна, но как мог Мандельштам говорить вам, что я «так ловко расписала» свои отношения с Гумилевым? Ведь я «расписала» их через тридцать лет после его смерти. Или — по вашему — он уже тогда знал это? Впрочем, почему бы вам не прибавить Мандельштаму еще и прозрение будущего, от этого его образ только выиграл бы и стал бы еще легендарнее.

Мандельштам, возможно, и говорил вам о моей «Балладе о Роберте Пентегью» — (об одном могильщике и девяти котках). Она ему очень нравилась.

А вот что наши «отношения с Гумилевым держались на балладе», т. е. на поэзии, вы сказали, хотя и с целью меня уничтожить, правду.

Впрочем, если вспомнить, что Гумилев в сборнике Цеха Поэтов, вышедшем весной в 21-м году, посвятил мне стихотворение «Лес» и если разобрать его с такой тщательностью, с какой вы это делаете со стихами Мандельштама, доискиваясь до — «что», «зачем» и «почему», — можно засомневаться в «ясновидении» Мандельштама. Привожу конец «Леса»:

«Я придумал это, глядя на твои
Косы-кольца огневющей змеи,
На твои зеленоватые глаза —
Как персидская больная бирюза.

Может быть, тот лес — душа твоя,
Может быть, тот лес — любовь моя
Или, может быть, когда умрем,
Мы в тот лес направимся вдвоем.

Строки эти могут вызвать предположение, что отношения Гумилева ко мне «держались» не только «на балладе» и его чувства ко мне были даже еще серьезнее, чем я их «расписала».

Мои «На берегах Невы» вызывают негодование.

Вы пишете: «Это к ней (т. е. ко мне, И. О.) подошел в Летнем Саду не то Блок, не то Андрей Белый и с ходу сообщил интимные подробности о жизни Любове Дмитриевны. Кто поверит такой ерунде или что говорил ей Гумилев, по поводу воззвания, которого никто никогда не видел».

Ошибаетесь, Надежда Яковлевна, да и как еще ошибаетесь!

К великому сожалению, воззвание это было найдено во время обыска квартиры Гумилева и даже послужило главным основанием его расстрела.

А насчет «кто поверит» — представьте себе, верят, верят очень многие не только здесь, но и в России, о чем свидетельствуют письма, полученные мною отсюда, приветы, посылаемые мне от лиц, близких тем, кого я описала в «На берегах Невы», и заверения, что во всей моей книге «нет ни лжи, ни выдумки».

Вы пишете: «Какая мерзкая ложь — рассказ о последней встрече с Гумилевым».

Но, простите, о какой встрече вы изволите говорить?

Ведь в «На берегах Невы» ясно сказано и даже подчеркнuto, что никакой последней встречи у меня с Гумилевым не было.

Как могли вы прочесть то, чего нет в моей книге?

По-видимому, я «мерзко лгу» даже тогда, когда ничего не говорю и не пишу. Это, кроме меня, никому еще не удавалось.

В конце вашей «Второй книги» вы пишете: «Я отказываюсь от умозрительных защитников... Боюсь, что такое отношение к жизни называется непотворением злу».

Нет, Надежда Яковлевна, вы напрасно боитесь. Ваше отношение к жизни не называется «непотворением злу».

Ведь «непотворение злу» предполагает не только отсутствие самозащиты и мести, но и неделание зла. А вы, в вашей «Второй книге», сделали много зла живым и мертвым.

В вашей первой книге «Воспоминания» вы вполне корректно и пристойно указываете на ошибки писавших о Манделштаме и опровергаете их мнения о нем — без грубости и ненависти.

Но во «Второй книге» вы резко меняете тон и даете волю своей грубости и своему человеконенавистничеству.

К концу «Второй книги» ваше человеконенавистничество становится просто патологическим и достигает невероятных размеров. Ясно, что вы больны, что вы психически больны.

Вам даже начинает казаться, как многим психическим больным кажется, что не вы, а все другие больны. Вы это так решительно и заявляете, безапелляционно судя уже не только отдельных людей, а всех русских людей вместе взятых: «Единственное оправдание советских людей»,

пишете вы, «то, что они психически больны. Все больны... Нормальным не остался никто. Такое исключается... Безумные, мне кажется, и нынешние молодые...»

Значит, по вашему все, без исключения, старые и молодые безумны? Все, кроме вас? Во всей необъятной России с ее многомиллионным населением одна Надежда Яковлевна Мандельштам еще в здравом уме и твердой памяти?

Не согласитесь ли вы, что эти ваши утверждения без изменения могли быть перенесены в «Записки сумасшедшего» Гоголя и оказаться там на своем месте?

Заканчивая мое письмо к вам, я повторяю, что я стараюсь защитить тех, кого вы так незаслуженно обидели, в том числе и самого Мандельштама.

Мне жаль, что мне пришлось это сделать, но иначе поступить я не могла.

Вы несчастны, вы очень несчастны и в этом ваше оправдание. Я не сержусь на вас. И от всего сердца желаю вам всего доброго и соболезную вашему горю.

<1970-е годы?>

«Вольдемар» — учитель словесности

Передо мною моя школьная тетрадь, — тетрадь ученицы 57-й московской женской школы. На первой странице заглавие: «Произведения, которые мы будем изучать в VIII классе». В списке — четырнадцать пунктов: первый — «Начальная русская летопись»; последний — «Герой нашего времени». Тетрадь заполнена вопросами, планами разбора произведений. Вопросы и планы составлял Владимир Владимирович Литвинов.

Как они первоначально пугали, эти вопросы, — уж слишком много они с тебя требовали; опозориться, казалось, было бы немислимо, но и отвечать ведь непросто!

По «Горю от ума»: «Можно было бы обойтись в комедии без Чацкого и вообще без положительного героя? Почему можно и почему нельзя?»; «Что потерял бы образ Чацкого, если бы Чацкий не был изображен влюбленным в Софью?»; «Искренне ли поверили Фамусов и его гости в безумие Чацкого, и если да, то почему?»

По «Евгению Онегину»: «Хорошо или дурно поступил Онегин, прочитав Татьяне в ответ на ее письмо проповедь?»; «Можно ли назвать Онегина смелым человеком?»; «Как, по вашему мнению, должен был вести себя Онегин после получения вызова на дуэль?»; «Можно ли согласиться с мнением Писарева, что любовь Татьяны к Онегину была только подделкой любви, смешной и жалкой пародией на любовь?»

Что пробуждали в нас, пятнадцатилетних, такие вопросы? Ответ единствен и точен: *творчество*. Отвечая на них, мы не о Чацком или Онегине рассказывали, а о самих себе. И это-то и было важнее всего нашему учителю. Ибо, как он правильно считал (он нам об этом не говорил, это я лишь теперь пытаюсь сформулировать), — если в человеке не пробудится самостоятельность, то никакие знания ему на пользу не пойдут. Наше собственное отношение к проблеме было для Владимира Владимировича важнее, чем формальное, какое угодно твердое знание школьной программы. Потому что литературу он любил бесконечно, но людей — еще больше.

Помню один его вопрос, озадачивший нас: «С каким чувством, с каким отношением автора к герою написано предсмертное письмо Ленского?» Никто, по-моему, так и не ответил на него. И тогда учитель ответил сам: «С чувством иронии. Это же в языке выражено! Посмотрите, как язык письма Ленского отличается от всего стиля романа! «Весны моей

златые дни»... «Паду ли я, стрелой пронзенный», и — самое выразительное: «слезу пролить над *ранней урной*». Это же пародия на романтический стиль! И сам Пушкин ведь недаром замечает: «Так он писал — *темно и вяло...*»

Потом начались сочинения — и уж здесь ученик мог раскрыть себя, если, конечно, стремился к этому. Темы сочинений Владимир Владимирович строил таким образом, чтобы выявить нашу индивидуальность. В сочинениях на так называемые «школьные» темы акцент часто делался на самостоятельном решении: что мне нравится (или не нравится) в том или ином литературном герое и почему. Обоснования должны были строиться, разумеется, не на незрелых детских домыслах, а на твердом знании. И конечно, знать нужно было больше, чем при изложении готовых трафаретных тем.

Особое пристрастие Владимир Владимирович имел к сочинениям на свободные темы. Некоторые мои полудетские опусы целы до сих пор, и я благодарна нашему словеснику за то, что он побуждал меня их писать... Многие бывшие ученики Владимира Владимировича согласятся со мной, что своим самосознанием они были обязаны именно ему, с ранних лет требовавшему от нас *творчества*.



К появлению у нас Владимира Владимировича Литвинова мы были готовы давно. «В восьмом

классе у вас будет такой словесник, такой словесник!» — три года подряд повторяла нам Елизавета Алексеевна Дрожжинова, тоже преподаватель литературы и классный руководитель. Поэтому мы робели перед Дядей Володей (так называли его предшествующие поколения учеников), или Вольдемаром, — так его именовали — не в глаза, разумеется, — мы, наш выпуск. Имя «Вольдемар» и означало эту нашу робость, дистанцию. Высокий рост, редкостная прямизна фигуры, большой высокий лоб, благородная седина, красивый, напоминающий качаловский, тембр голоса, великолепное владение им — наш словесник вообще напоминал актера; прибавим к этому возраст — тогда Владимиру Владимировичу было пятьдесят два — пятьдесят три года, и нам тогда казалось, что это очень много. Вообще причин для робости было более чем достаточно. Какой уж тут Дядя Володя! Я, например, просто не могла отвечать ему у доски урок, — и вскоре он, поняв это — деликатность его была безгранична, — почти перестал вызывать меня к доске и выводил отметку по литературе, исходя из сочинений — а их писать я любила и уже здесь не стеснялась. Зато получить его похвалу перед всем классом — это надо было заслужить, — и я старалась, как могла.

«Восходит ослепительное летнее солнце, и начинает пробуждаться природа. Все зашумело, заговорило, запело, и общие звуки слились в один стройный прекрасный гимн — гимн жизни, света, счастья...

Это — «Утро» Грига, знакомое с детства». Так я писала в домашнем сочинении «Музыка — мое любимое искусство»; было мне семнадцать лет, и я вспоминала, как меня, четырнадцатилетнюю, разбудила для прекрасной музыки великая польская певица Ева Бандровска-Турска, приезжавшая в Москву на гастроли. «Описывала» (!) любимые вещи: «Грёзы зимней дорогой» Чайковского, увертюру «Эгмонт» Бетховена, Шестую симфонию Чайковского: «Это — как бы история гения и борца». И вывод: «Музыка заставляет жить, а не созерцать».

«МХАТ — мой любимый театр» — так начиналось другое мое сочинение: «Небольшой скромный зрительный зал. Серые стены без единого украшения, ничем не обшитые барьеры ярусов и лож и массивный серый занавес с изображением летящей чайки...»

(Я еще застала тот, прежний Художественный театр: актеров, пришедших на смену Качалову, Москвину — Б. Г. Добронравова, М. М. Яншина, А. П. Кторову, многих других. А самой любимой моей актрисой была О. Н. Андровская... Застала эту гениальную, *полутóновую* простоту, под которой скрывается бездна. Потом все, все ушло, изменилось в корне, сколь бы ни утверждалось обратное. Как я горжусь тем, что поняла суть этого единственного *моего* театра и никогда ни на какой иной его не променяла...)

«Люди двигались, говорили обыкновенно... а дело-то как раз и было в этой простоте, отсутствии всякой напыщенности, театральности... — пишу

я о спектакле «Царь Федор Иоаннович», — и дальше — о Б. Г. Добронравове в роли царя Федора: «... он вышел своей вялой, усталой походкой, слабый, «обмякший», всей фигурой своей олицетворяя воплощенное бессилие, с выражением усталости и равнодушия на лице... А отчаянный возглас: «Я царь или не царь?» — возглас слабого, несчастного доброго царя, желающего создать тишину и мир в государстве и не понимающего, отчего без конца происходят распри между боярами, возглас царя, вышедшего, наконец, из терпения, останется у меня в памяти, навсерное, на всю жизнь».

(Сегодня говорю: остался.)

Без Владимира Владимировича никогда не было бы этих сочинений, а без них — меня, литератора. Убеждена.



Владимир Владимирович был человеком пристрастным, и этой своей черты скрыть не умел, ибо обладал какою-то детской искренностью. Вообще в нем было много детского, однако в школе мы этого, разумеется, не понимали. Но пристрастность Владимира Владимировича давала себя знать — в степени его увлеченности тем или иным поэтом или писателем. Надо признаться, что классиков он любил больше, чем современников, — это сказывалось на уроках. Уроки Литвинова никогда не были «серыми»; они были интересны в любом случае;

но степень *блистательности* их все же была неодинакова. Если он меньше читал вслух, меньше любовался красотой языка, меньше задавал вопросов «на самостоятельность» — значит, втайне недолюбливал писателя. Впрочем, таких случаев было мало: в русскую словесность Владимир Владимирович был поистине влюблен — и нас этой любовью заражал.

Тех учениц, в ком он видел больше отзыва на эту преданность великой русской литературе, он отличал бóльшим вниманием и приглашал к себе домой. Попасть в его дом было огромной честью и радостью. Большинство посещавших его дом, как правило, вступали в новую фазу отношений с учителем: они узнавали его с совершенно другой стороны и становились личными друзьями — его и Зинаиды Никитичны, его жены, человека, прекраснее которого я не встречала.

Высокая, стройная, худощавая. Неповторимую красоту и очарование лица создавало выражение какое-то тихой доброты и внутренней гармонии. Голос негромкий, мелодичный. Уложенная вокруг головы седеющая коса, прямой пробор. Тетя Зина (так называли ее старшие поколения учеников) была моложе мужа на пять лет, но нам-то казалось, конечно, не очень молодой, и вместе с тем как бы вне возраста. Ослепительная улыбка — не только потому, что у нее были чудесные белые зубы, но из-за неповторимого выражения сердечности, расположения к людям, полного к ним доверия и живейшего интереса. Вся она словно была олицетворением

душевной грации, о чем Владимир Владимирович сказал в прекрасном стихотворении:

И губы накрасила алым,
И розовым ногти покрыла,
Но все же другою не стала
И скромности нежной не скрыла...

Нам было трудно (может быть, по молодости лет) соотнести этот гармоничный женственный облик Зинаиды Никитичны с ее специальностью: она преподавала в школе (не у нас) химию. Так же, как и Владимир Владимирович, была влюблена в Слово, в великую литературу, в поэзию и поэтов; чувствовалось, что знала много стихов, но по скромности своей никогда их не произносила, только слушала. Она вообще очень любила слушать: если муж, увлеченный какой-нибудь мыслью, воспоминанием, стремился высказаться, прочесть, сообщить, Зинаида Никитична не раз мягко останавливала его: «Ну, подожди, Лёдинька, пусть Аня расскажет: Анечка, вы говорили, что были в Тарусе; ну, как теперь себя чувствует Ариадна Сергеевна?..» Степень ее внимательности к людям, сочувствия им, сопереживания не имела себе равных. Можно сказать, что черты эгоцентризма были у нее атрофированы полностью. Это ей могли принадлежать строки Николая Гумилева: «О тебе! О тебе! О тебе! Ничего, ничего обо мне».

Владимир Владимирович тоже был очень внимателен к своим друзьям, сочувствовал им, волновался за них, но по-иному, чем Зинаида Никитична. Ис-

пытывая искренний и живой интерес к их делам и обстоятельствам, он при этом ощущал потребность — и весьма энергичную — поговорить о себе; более того, степень его расположенности, доверия к человеку прямо соответствовала его откровенности; порою ему больше хотелось рассказать о своем, нежели выслушать другого. Эту черту, которую некоторые поверхностно могли назвать мужским эгоцентризмом, я бы назвала эгоцентризмом художника.

Здесь, наконец, пора сказать о том, что Владимир Владимирович Литвинов был писателем — поэтом* и прозаиком. В школе я не имела об этом представления: мы знали только, что наш словесник — автор статей, книг по своей специальности, но не могли даже предполагать, что пишет (с юности!) стихи, а позже стал писать и прозу; что его вторая, после школы, жизнь — дома, за столом, с пером и бумагой. Эту тайну раскрывал лишь тот, кто переступал порог его дома. Не помню, когда я впервые к нему пришла: в девятом или десятом классе; не помню первого прихода, первого впечатления. Тогда Литвиновы жили на улице Воровского**, дом № 17 (летом 1973 года его сломали), на углу Ржевского переулка; старый московский желтый особняк, по фасаду — одноэтажный, со двора — двухэтажный, с мезонином.

* Единственный сборник его стихов под названием «Без Дамы Прекрасной» вышел в 1924 году в городе Глухове (Украина) и является библиографической редкостью.

** Теперь, к счастью, улице возвращено ее прежнее название: Поварская.

Учитель наш жил в этом низкопотолочном полуэтаже, в одной из комнат «коммуналки», узкой, маленькой, не более одиннадцати метров. То была половина некогда существовавшей одной комнаты: вход сохранился общий, в левой полуконате, за тонкой стенкой, жила соседка, у которой разместилась часть литвиновской библиотеки. А библиотека была немалая; Литвиновы не были библиофилами, но все прекрасное в поэзии и прозе нашло свой приют в их жилище; библиофильская ценность издания не имела значения для этих двух романтиков, так удивительно подходивших друг к другу, — двух бескорыстнейших и чистейших людей, для которых смысл жизни был в любимом труде, в общении с друзьями и наслаждении искусством...

Столь различные по характеру, Владимир Владимирович и Зинаида Никитична были не просто единомышленниками и бесконечно привязанными друг к другу людьми — они счастливым образом дополняли друг друга, их союз был поистине чудесным. Однажды, провожая меня на станцию с дачи, где я их навещала, Зинаида Никитична впервые со мной разоткровенничалась. Она говорила именно об этом их с Владимиром Владимировичем дополнении друг друга. Она призналась, что сама она, обычно такая сдержанная, в повседневном быту влияющая на Владимира Владимировича успокоительно (он нервен, мнителен, порою и капризен), становится чуть ли не до невменяемости беспомощной, когда стрясается что-либо серьезное. И тогда они меняются ролями: муж делается внешне спокой-

ным и собранным, берет на себя все тяжести, все решения.

О том, что Владимир Владимирович — поэт, узнавалось поначалу по его шутливым стихам, которых он писал великое множество и щедро посвящал и дарил друзьям. У меня их несколько десятков, не привести некоторые просто невозможно.

Вот отрывки из стихотворения 1961 года:

Ах, как тянет на Воровского!
Так и тащит и зовет!
Там поклонник Маяковского,
Старый гриб ВЭ ВЭ живет.

Моя нелюбовь к Маяковскому — поэту и личности — всегда огорчала Владимира Владимировича.

Старый гриб неплох, мне кажется.
Легкий стих слагать силен.
В голове, конечно, каша,
Но искусством он пленен!
Он венок советов выдюжит,
В раж войдет, так ой-ой-ой!
Но сравнения не выдержит
Он с прелестною женой.
Все, что есть кругом хорошего,
Все, кому не грош цена,
Ею просто огорошены,
Так она мила, умна.
К ней меня и тянет бешено,
А к нему чуть-чуть, слегка.
К тяге к ней едва примешано
Что-то вроде червячка...

.....

Зинаида Никитична неизменно присутствовала в каждом стихе, даже когда не называлась в нем. Вот еще стихотворение — шутливый упрек за то, что я долго к ним не приходила:

Не может больше быть и речи
 О наших встречах на Земле...
 Теперь нам ждать придется встречи
 На сковородке аль в котле.
 ...Ей-Богу, будет даже мило:
 Горим в огне, и пламень рыж!
 Вокруг себя глядим уныло,
 Глядим — а рядом ты горишь!
 — Ну, как тебе горится, Ньюра?! —
 Спрошу. — Привычки нет гореть?
 — Я вся болло, — ответишь хмуро, —
 Горю... Меня осталась треть!
 — Конечно, радости тут мало...
 Но согласись, мой друг: ей-ей,
 Уж если ты не в Рай попала,
 Втроем здесь печься веселей!
 Привыкнешь быть всегда горящей,
 Сложу тебе бодрящий стих...
 Зато встречаться сможем чаще.
 Ведь

ДЕЛ
 не будет

НИ-КА-КИХ!

Когда в ответ раздавался громкий, несдержанный и далеко не всегда благозвучный хохот, детскому ликованию Владимира Владимировича не было предела. Сколько же веселья, юмора, доброты жило в этой каморке «на Воровского», где потолок был столь низок, что высокий хозяин, передвигаясь

с трудом (от тесноты) по комнате, голову пригибал. Небольшой стол, служивший и обеденным, и письменным, буфетик, кровать, диван, остальное — книги, отовсюду выпирающие, втиснутые куда только возможно...

Ушел Владимир Владимирович на пенсию в 1963 году (более десяти последних лет он вел только один класс, совершенно не заботясь о своем будущем, — поэтому пенсия его была чрезвычайно мала). В доме продолжалась та же творческая жизнь, наполненная стихами, обсуждением любимых классиков, спорами по различным проблемам. Добавилось только чтение рассказов, написанных Владимиром Владимировичем, — теперь у него стало больше времени.

К следующему, 1964 году Владимир Владимирович и Зинаида Никитична получили наконец отдельную однокомнатную квартирку, находящуюся, как описывал ее Владимир Владимирович, «во дворе того же дома, где обреталось наше прежнее убогое жилище, в малом флигеле, под номером 33». (Сейчас на месте дома № 17 и флигеля позади него — скверик; посреди стоит старый вяз, который упомянут Владимиром Владимировичем в стихотворении «Вяз во дворе у нас огромен...».) Здесь не было телефона, но было несравненно больше «покоя и воли». Просторная светлая комната с кухней и прочими удобствами — в этом «раю» Владимир Владимирович с Зинаидой Никитичной прожили около десяти лет, покуда флигель не предназначили к слому,

и двум старым людям пришлось опять переезжать. Поскольку переезд в новый, отдаленный район был для них равносильен смерти, кому-то удалось выхлопотать жилище неподалеку — в Трубниковском переулке: две весьма уютные смежные комнаты, но в коммунальной квартире, вдобавок с омерзительной соседкой, все хулиганства которой самоотверженная Зинаида Никитична принимала на себя, оберегая Владимира Владимировича, а он, в свою очередь, страдал за нее... Чтобы кончить о жилище: в 1978 году Литвиновы получили наконец отдельную однокомнатную квартиру на Большой Дорогомиловской, в которой Зинаида Никитична прожила месяцев восемь, а Владимир Владимирович чуть больше двух с половиной лет...

Но самые нежные воспоминания связаны все-таки с комнаткой в мезонине «на Воровского»... Если говорить о шутливых стихах, то подавляющее большинство их написано там, стихов в самых различных жанрах, объединенных единой интонацией дружбы и юмора. Приведу их несколько — для того, чтобы оживить образ человека, чья щедрость души была одним из его главных талантов.

О рыбной ловле (он любил ее страстно и стремился поделиться этой своей радостью жизни с нами, приглашая на рыбалку; тут я оказалась ученицей просто нулевой):

Томилась не тоской неясною
Твоя душа —
Она жила мечтой напрасною
Поймать ерша.

С рождеством поздравляем,
 Акростиков и прочих благ
 Анкеточка! Здоровой, бодрой ^{тебе} будь!
 Крепись, высокий продолжатель пути!
 Я искренне тебе пишу все это,
 Не так лукавства, от меня, поэта!
 Ценю себя не очень я, но вот
 Скромней меня, мутливу кто надежд
 Любого ^{скромнее} ~~свои~~ ^{все} ~~и~~ ^{все ж} ~~скромнее!~~
~~Анкеточка!~~
 Анкеточка! Надеюсь, хоть не шлю,
 И будущий день увидит здесь тебя...
 Ах, как хотелось тебе, тоску и скорбь!
 И бильяонный день "уручить" тебе
 Анкетей, хоть бы на короткий час!

И я мечте твоей поддакивал,
Улов сулил,
Но тщетно поплавок подсакивал,
Кружил, юлил.
Лишь червяков пескарь обгладывал
Под вопль: «Клюет!»
Но нет, ничем тебя не радовал
Мир тусклых вод.

31.VII.60 г.

Ты обшарила в реке
Каждый куст, залив, изгиб:
Не сидят ли в уголке
Там со снастью старый гриб?
Набрела на озерцо.
Гриба нет, но молодой
Там склонил свое лицо
Над закинутой удой.

Ах, к чему еще искать,
Ноги берегом таскать!
Ты, глазами поиграв,
Тихо села в гушу трав.

1.VIII.60 г.

Общение с людьми, с друзьями было главной радостью Владимира Владимировича. Во многих стихах приглашения, упреки (в шутку, конечно!). Вот отрывок:

Я сижу болезненный, слабый,
Еле двигая рукой.
Ты б на час—на два пришла бы,
Я бы стал совсем другой...

.....

Я пигмей пред Пастернаком,
Пред Цветаевой урод.
Не пора ли вам, однако,
Поощрить простой народ?
27.III.62 г.

Еще одно на ту же тему — сонет:

Я полагал, о дочь вершин Кавказа,
Что, если я засыплю Вас стихом,
Вы вновь появитесь «в карете иль верхом»,
Чтоб услышать еще два-три рассказа.

Для грез моих у нас имелась база:
Я верил Вам вполне и целиком,
Хотя с манерой Вашей я знаком:
Я думал, что обет Annette — не фраза.

Но день прошел, и два, и двадцать пять.
А Ньюра не является опять!

Ах, сколько нам послать посланий надо,
Дабы к нам Ньюту снова принесло?
О изреки, родителей Отрада,
Тебе какое нужно их число?
60-е годы.

Сонет получался у Владимира Владимировича, с моей точки зрения, столь изящно, что я упросила его писать «венки сонетов», подобно волошинским, которыми я тогда увлекалась, — «Lunaria» и «Согона astralis». И Владимир Владимирович подарил мне *четыре* таких венка!

Ему доставляла огромное удовольствие эта игра, — начиная с самого процесса писания, «охоты»

за словом и кончая реакцией «адресата», слушателя. Приведу еще одно его «посвящение»:

АКРОСТИХ

А ннечка! Пишу вам в новом духе.
Н ет, не сонет! Он больше мне не мил.
Ю нцом ему когда-то отдал пыл,
Т еперь он мне приелся и постыл—
А льбомный жанр, который чтят старухи!
С оздать сонет—здесь столько нужно сил!
А их во мне давно нет и в помине!
А кростихом тебя венчаю ныне—
К урьезный жанр! В далекие века
Я им грешил в отдельные моменты...
Н о для того, кто любит комплименты,
Ц ена ему не так уже низка!

При такой неиссякаемой энергии, тяге к творчеству, как же ему мечталось (думаю я теперь) увидеть некоторые свои любимые стихи в печати. Но об этом он никогда и никому не говорил. Более того, отправляя лет десять назад (по моему настоянию) несколько стихотворений в «Звезду», он в краткой автобиографической справке написал: «После войны *ни разу* не делал попыток опубликовать стихи».

Ни разу...

Стихи Владимира Владимировича дают нам живые и въяве его самого: «неизлечимого» романтика, влюбленного в жизнь, в людей, в красоту, в природу. «Ах, как славно жить на белом свете... Упиваться разной красотой...» Более всех времен года

любил весну, потом — лето; осень наводила на него грусть, а зиму с ее длинными ночами он претерпевал с трудом. Жил в постоянном *ощущении* природы: «Я без природы не могу...»

Зла он просто не ведал. Недаром он писал:

Нет, гений зла не так силен.
Я верю в силы добрые.

Его можно было увидеть «не в духе», жалующимся на недомогание, но ни разу не помню, чтобы он на кого-нибудь злился или осуждал кого-либо. Обсуждал — да, осуждал — никогда. Эти черты простекали — готова повторять бесконечно — от его жизнелюбия, о чем он написал однажды полушутливое стихотворение:

Мне совсем еще не хочется
Ныть, лежать, в постели корчиться.

Не хочу копить рецепты,
А хочу ходить в концерты;

У реки сидеть дни целые,
Есть поджаренные белые,

Быть средь разных ротозеев
В залах радостных музеев.

Я хочу возиться с гранками,
Черный кофе пить с баранками.

Ах, желаньям нету счета,
И считать их неохота!

Не потому ли о важном он иногда говорил не всерьез, что по бесконечной скромности своей считал себя очень малым поэтом? «Я не умею писать о любви, // Как не способен стихами пророчить». И еще категоричнее: «А впрочем, я ведь не поэт: // Таланта нет — способности».

В этом он, конечно, ошибался. Талант был, в чем читатель убедится, когда прочтет стихи, включенные в эту книгу. А здесь я приведу две пародии Владимира Владимировича на поэтов, которых он ценил очень высоко, однако с великолепной дерзостью сумел «схватить» их стилевую сущность. Одна — на Анну Ахматову (он написал их три и шуточно посвятил мне, ее «тезке», в 1962 году, когда я много рассказывала о своем общении с нею зимой в Комарово):

АННЕ

Заходящее облако рдело.
Это было в предместье Мги.
Ты на правую ногу надела
Босоножку с левой ноги.

Лишь слегка ты, идя, хромала,
Жарче тучки горела щека.
Где-то пели. И напоминало
Это горькую песнь ямщика.

Вторая — на Марину Цветаеву, после того, как они с Зинаидой Никитичной прочитали поэму «Крысолов»; здесь мне брошен дружеский вызов:

«Крысолова» прочел. Ум за разум.
 Стало аж горячо. Сердцу, глазу...
 Тошно стало уму. Как от газу...
 Ни к чему, ни к тому. Мысли, глазу...
 Все обман, все туман, словно

нюхал

дурман.

Будто через карман

я глядел на лиман.

Что такое туман?

Пузырьки, пузыречки.

Что такое

дурман? Призывные цветочки.

Тянет запах, когти плох...

Держит в лапах, как блох...

Щелкнет коготь — и нет...

Сдавит коготь — и нет.

Крови след —

в миллиметр...

Красный цвет — милый метр!

Но спрошу я опять,:

Почему не понять?

Верно, глуп?

Верно, груб?

Меряй глубь!

Серый клуб...

Серны, в клуб!

Иль я туп?

Иль я дуб?

Твердолоб?

Значит, гроб!

Очень жаль...

Анна! Жаль!

Нет, нам не по уму.

Не пойдем, что к чему...

Не желанна нам, Анна,

Эта манна: туманна!

Не для нас — ананас!
Аня — Анна, на нас,
Ты на нас не серчай.
Мы не гении, чай!
Мы не мудрые, не таковские,
Нам Багрицкие, Маяковские,
Не амуры мы
С легким локоном!
Ноем хмуро мы:
«Дайте Блока нам!»
Променяли мы
стих Мариновый*

На меня
и на Мартынова.

Март 1959

А через два года он посвятил Цветаевой три стихотворения, в которых выразил свое преклонение перед нею:

До Цветаевой от Есенина
Год идти — не дойти.
У него только грусть осенняя,
Ей повсюду, везде пути!

Вот от Пушкина до Цветаевой
Не сочтешь и пяти шагов.
Им обоим стоять в горностаевом
На Парнасе века веков!
25 — 26.X.61

* Если бы «Версты» нам
Были сверстаны,
Были б «Версты» нам —
Ширью звездною! (примеч. Литвинова).

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Когда на поэтическом Олимпе
 Возникнет рядом с Пушкиным она,
 С огнем в глазах, с пером в руке и в нимбе,
 В высокий сан навек возведена,
 Посмеют ли над нею издеваться,
 Чей голос в хор богов стиха включен.
 Тогда никто не сможет сомневаться:
 В ней тоже русский гений воплощен.
 25 – 26.X.61.

ПАМЯТИ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Блудных сыновей и блудных дочек
 Принимала родина моя...
 Не у всех у них достало мочи
 Добрести до милого жилья.
 И не всех прибредших к дому встретил
 Ласковой улыбкою отец.
 И не всех домой пришедших светел
 Был пути тяжелого конец.
 Вот она — на родину вернулась
 В черную годину горьких бед.
 Лютым зверем встреча обернулась.
 Спит в могиле. А могилы нет*.
 29.X.61

С годами у Владимира Владимировича все больше росло желание писать прозу. Начал он с автобиографических этюдов, эссе. Они составили его книгу

* В 1983 году, в изданной посмертно книге В. В. Литвинова «Встреча в снегу» («Молодая гвардия»), все три стихотворения были выброшены цензурой. Марина Цветаева все еще была полузапрещена... А стихи о Цветаевой мой учитель так никогда мне и не показал.

«Заглавие не придумано» (замечательное, кстати, название!), которая вышла в 1968 году в издательстве «Молодая гвардия». Это — страницы былого, так называемая «невывдуманная проза». Владимир Владимирович не столько читал ее вслух, сколько просто любил вспоминать свое прошлое, рассказывать отдельные эпизоды. Потом он увлекся — и это увлечение продолжалось до конца жизни — писанием прозы на *выдуманные* сюжеты. И здесь его фантазия оказалась на удивление неисчерпаемой: характеры, взаимоотношения, ситуации — все он умел сделать неожиданным. Потому, должно быть, он так любил читать эти рассказы гостям: они могли быть сильнее или слабее, но развязка, финал каждого, как правило, всегда были непредсказуемы и ожидалась слушателями с нетерпением. Когда я спросила его, откуда он берет свои столь разнообразные сюжеты, он не смог ответить. Теперь жалею, что ни разу не напомнила Владимиру Владимировичу слов любимого им Бунина, который в старости, к собственному удивлению, стал выдумывать сюжеты с необычайной легкостью, сам не зная, откуда черпал эту легкость и изобретательность; в молодости острые сюжеты ему почти не давались. Эта аналогия очень порадовала бы нашего словесника. При всей своей сверхскромности и очень строгом отношении к самому себе он ждал похвал, очень им радовался и огорчался, если в написанном обнаруживались недостатки...

Вспоминаю курьезный и печальный случай. Написал Владимир Владимирович рассказ, которым

остался на сей раз доволен, в особенности же заглавием (а заглавия он умел придумывать прекрасные): «Алмазный мой венец» — пушкинские слова, как справедливо считал Владимир Владимирович, мало известные читателю и редкостные по красоте. Пока рассказ находился в редакции журнала «Юность», под таким же заглавием вышла в «Новом мире» повесть В. Катаева. Огорчению Владимира Владимировича не было предела (ведь он дал это название сборнику рассказов, который готовил для «Молодой гвардии»).

Первым слушателем и рецензентом его стихов и рассказов неизменно бывала Зинаида Никитична, и, лишь сделав исправления после ее замечаний, автор отваживался читать их нам. Но читал он обычно только те, что казались ему наиболее удачными.

Я еще не упоминала о том, что Владимир Владимирович любил писать письма. Приведу в сокращении два его письма 1973 года из Белоруссии:

«...Жизнь моя и жизнь тети Зины протекает неплохо. Тетя Зина как-то на днях сказала: «Живем в Раю». Но есть в этой жизни и некоторые недостатки... До сих пор, несмотря на то, что я ходил на воду уже раз примерно 6 или 7, я не выудил решительно ничего достойного внимания. На одной из рек, где я рыбачил уже три раза, я только однажды поймал так называемого бычка-подкаменщика, портрет которого в натуральную величину прилагаю ниже под номером 1*.

* В тексте — рисунки пойманных рыб. Рисунками Владимир Владимирович любил сопровождать свои послания.

К удивлению моему, жизнь мою украшает общение с некоторыми людьми, чтение Бунина... и некоторых других писателей.

Пытаюсь перечитывать Тургенева, что-то не получается. Не могу одолеть «Клары Милич», которая когда-то мне нравилась; пробовал насладиться «Новью» — не радует меня. Зато с удовольствием читаю дневники Блока. Как грустны все строки о «милой»! И как странно читать о людях, с которыми когда-то был знаком — о Мейерхольде и Городецком!

Как преступно мало я сохранил от Мейерхольда! Ведь мы больше двух недель с утра до вечера были рядом с ним, он даже откровенничал со мной — а остались крохи. Конечно, Городецкий — человек поменьше, но стоило записать разговоры наши, ...очень теперь я жалею, что не написал...

Ты спрашиваешь, дать ли нам «Жизнь Арсеньева»? Да, да, конечно. Но может быть, среди твоих друзей... есть некто, через кого можно было бы... приобрести однотомники Бунина, у нас похищенные? ...Если бы я был моложе, я продал бы свою коллекцию марок и на вырученные монеты купил бы Бунина, похожего на украденного.

Муза моя почти молчит. Написал несколько строк стихами и один рассказ, названный «Конский хвост» (о мальчике, влюбленном в девочку)...

СОНЕТ

Нюре Эс.

О чем писать? Живу я здесь, как барин.
Все делает любимая жена,
Весь день в заботах кружится она,
И я ей бесконечно благодарен.

Не пишется! Я знаю, что бездарен,
Не лезет в голову мыслишка ни одна...
Мой добрый друг! Уже давно до дна
Я вычерпан. Не Фет я и не Гарин.

А ты переживаешь свой расцвет,
Все для тебя раскрыто, друг Аннет!
Тебе доступны и стихи и проза.
Владешь ты и теми и другой*,
А главное — сама цветешь, как роза,
Грядущее приветствуя рукой.

13.VII.73.

«Черная пятница».

Из другого письма:

«Не так давно совершили мы довольно-таки интересное путешествие. В этом году создан в Белоруссии новый мемориал на месте сожженной немцами деревни Дальвы (недалеко от другого мемориала — Хатыни). Возил нас туда идейный организатор Дальвского мемориала инженер Гирилович, чудом спасшийся от гибели в тот день, когда в Дальве сгорели согнанные в один дом все жители Дальвы (кроме нескольких отсутствовавших), и в том числе мать, отец, маленькие братья и сестры Гириловича. Самому ему было тогда 13 лет.

Огромное впечатление производит одиноко стоящая среди лесистых холмов на поляне, где когда-то была деревня Дальва, мраморная фигура женщины, глядящей вдаль. Удивительные глаза! А у ног ее — прижимающийся к матери маленький кудрявый мальчик. Были мы на Пискаревском кладбище в Ленинграде и в Хатыни с ее вечно звучащими колоколами, но, честное слово, впечатление от этого памятника сильнее! И может быть, это потому, что она, фигура, одинока, она очень «видет» к этой глуши, к холмам, к бесконечным лесам, среди старых разросшихся лип — единственное, что осталось от Дальвы. Есть там еще на низкой каменной стене страшный список: фамилии, имена и возраст сожженных.

Это страшно: «Гирилович... 4 лет...»

* Никогда не писала ни того, ни другого.

Вспоминая о Владимире Владимировиче, не могу не сказать еще о двух его чертах — о старинности и современности — свойствах, не уничтожающих, а взаимодополняющих друг друга. Да, он был и современен, и старинен, но никогда не старомоден, не устареваем. Старинность и молодость — вот диалектика его характера. Старинность — романтическая черта, активная, творческая; старомодность, устарелость — бездарная, пассивная. Последнего во Владимире Владимировиче не было ни на йоту. Если, например, ему не нравилось, что женщины носят брюки и сапоги, — то не из-за современности этой одежды, а из-за того, что она как бы приравнивала (внешне) женщину к мужчине, девушку к юноше. Он видел в этом кощунство, нарушающее законы природы, так же как и в нелепых, с его точки зрения, прическах. Вот его сатирическое стихотворение на эту тему:

Улица полна длинноволосых —
Кудри по плечам, едва не косы.
Кое с кем когда б в лесу
Встретился один, лицом к лицу,
Я б не стал раздумывать, что делать:
Отдал бы часы, рубли и мелочь.
Ночь была бы кстати им — не день.
Финка шла б одним, другим — кистень.
Ах, поймите, дорогие дети,
Что к лицу не многим космы эти.

Косы, — считал Владимир Владимирович — лучшая прическа молодой девушки. В то же время он не любил, когда женщина мало занималась своей внешностью, прекрасно понимая, что природе иногда нужно немножко помочь. К женщинам он относился

с каким-то старинным восхищением. «Нет ничего прекрасней женщин // Твоих, о мир! Твоих, о Русь!» — писал он. И еще: «Все в мире женщина решает, // Но незаметно для мужчин».

Старинность и связанные с нею детская простота, иногда даже наивность, привлекали к Владимиру Владимировичу сердца. Радостное удивление перед жизнью вечно молодого романтика — вот что всегда мы в нем ощущали.

И в его рассказах чувствуется эта старинная романтичность действующих лиц, по преимуществу юных. Все они — мечтатели, поклонники Прекрасного, — чем бы оно ни было: поэзией, природой, музыкой, искусством, — но в первую очередь, конечно, — Человеком. Квинтэссенция этих свойств не только героев, но в первую очередь, — самого автора, выражена в любимейшем самом Владимиром Владимировичем рассказе «Встреча в снегу», который он всегда охотно читал и магнитофонная запись которого в его чтении, к счастью, сохранилась.

Что же до современности и молодости самого Владимира Владимировича, то это не подлежит сомнению. Он чувствовал и понимал молодых и молодость, как никто. И молодость сама к нему стремилась — вплоть до последних своих дней он был окружен школьниками — учениками и детьми его бывших учеников. «Мои солнышки» — так называл он восьмиклассниц, в последние годы навещавших его и помогавших ему и в «быту», и в «бытии», возвращавших ему, так и не излечившемуся от горя после смерти Зинаиды Никитичны, минуты радости.

Молодые, пожилые, старые — все возрасты были покорны любви к Владимиру Владимировичу благодаря драгоценным свойствам его души, одним из которых была, как я уже говорила, его деликатность. Примеры тому неисчислимы, приведу один, давний.

В 1951 году скоропостижно умерла от неизлечимой болезни девятнадцатилетняя Вероника Сомова — самая талантливая ученица нашего выпуска; к ней, единственной, применял Владимир Владимирович это слово: талант*. Она писала и прозу, и стихи, обладала блестящей памятью, фантазией... И вот — похороны... Только что ее, с опозданием на год (в прошлом году не выдержала конкурса!), приняли в университет на филологический. Вероника была моей ближайшей подругой; особенно сдружались мы в десятом классе. Все это учитель наш знал. О том, как он ее ценил, говорить не приходится — так же как и о том, чем была для него эта потеря. Однако в эти жуткие минуты он подумал не о себе, а обо мне: старался меня отвлечь, развлечь и даже — насмешить. Ибо знал, что девятнадцатилетними горе переносится тяжелее, чем взрослыми...

С годами Владимир Владимирович не сгорбил-ся, не сохся, был все так же высок и прям, чему, между прочим, по-детски радовался, сравнивая себя с ровесниками. Но, главное, сохранил полнейшую ясность ума, великолепную память и остался верен

* Ее сочинение о «Грозе» А. Н. Островского он вставил в свою книгу «Сочинения в старших классах».

главным своим чертам, среди которых я в первую очередь число гордость и скромность. Гордость, чувство собственного достоинства не позволяли ему унизиться до того, чтобы «пробовать» свои вещи в печати или обращаться с просьбой о том к другим. И это несмотря на то, что в последние годы он жил мечтой об издании своих рассказов.

Скромность, даже застенчивость, — была характерна для него всегда. В сентябре 1974 года он пишет мне о предполагаемой статье о нем в журнале «Литература в школе»:

«Какое было бы счастье, если бы он (очерк — А. С.) — не осуществился! Но оно, увы, недостижимо... Когда очерк выйдет, моя московская жизнь закончится, я почти умру со стыда и спрячусь в какой-нибудь глухой деревушке, выдав себя за отставного работника районной прокуратуры...»

О своих заслугах Владимир Владимирович не только никогда не упоминал, но считал, что это — нескромно; по этому поводу он мог говорить только шутя. Однажды (в 1972 году), желая, по обыкновению, вызвать у меня улыбку очередным стихотворением, которое у него «не пошло», заметил его такую подпись:

«экс-педагог, отличник просвещения, кавалер Орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, сотрудник «Просвещения», «Молодой гвардии» и «Искусства», автор учебников по литературе, книг по методике литературы и прочая, и прочая, и прочая...
рыболов-любитель —

Владимир Литвинов».

Владимир Владимирович ровно на два года пережил Зинаиду Никитичну, скончавшуюся 2 августа 1979 года.

Он переходил Большую Дорогомиловскую улицу неподалеку от поворота, где в тот момент ехал автомобиль. Водитель высунулся из машины и не пожалел голоса, чтобы грубо обругать нескладного старика. Это так потрясло Владимира Владимировича, что он не мог успокоиться и рассказал об этом по телефону не одному человеку. А следующим вечером, 9 августа 1981 года лег спать и не проснулся. Ему было восемьдесят семь лет.

Его кончина, вернее, гибель очень похожа на гибель моего отца в коммунальной квартире 7 октября 1974 года — после матерного окрика соседа, молодого подонка, он добрался до комнаты, лег на диван... и с ним случился третий инфаркт.

Сердца наших стариков не выдерживают российского хамства...



А теперь мне хочется, чтобы с читателем поговорил молодой поэт Владимир Литвинов — со страниц своей единственной книги стихов «Без Дамы Прекрасной». Она вышла в городе Глухове в 1924 году.

1983, 1997

Владимир Литвинов

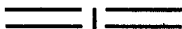
Из книги стихов
«Без Дамы Прекрасной»

ВЕЧЕРОМ

Капелька за капелькой капают минутки.
Скоро канут сутки.
Как он не устанет, часовой кузнечик!
Ровно шлამя свечек.
Потихоньку крадутся карлики и мышки. —
Грызть в потемках книжки.
Где-то ноет ветер. Хорошо быть дома.
Просижу до дрёмы.
В мягких одеялах хорошо уснётся.
Карлик ухмыльнется.
Капелька за капелькой капают минутки.
Скоро канут сутки.

1918

Н.-Новгород



Сегодня вновь захолодало:
Ноябрь оделся январем.
А издалёка все усталый
Артиллерийский тяжкий гром...

Кричат, поют автомобили
И зверем мчатся мимо нас.
И не уйти от страшной были
Хотя б на час!.. Хотя б на час!

1918

Киев

Блажен, кто посетил сей мир
В его минут роковые...

Тютчев.

Пускай я на пиру богов.
Великого свидетель пусть я.
Но вижу я с тоской и грустью,
Как тает нить моих годов...
И каждый день уходит год,
И дни мои часами мчатся,
И молодость идет, идет,
Чтоб никогда не возвращаться.
И юность милую минуя,
В мое грядущее войду я
Уже с измученной душой,
Уже со старческой тоской.

1919

Киев



Под заунывный ветра вой,
Как древний дедушка кряхтя,
В трубе проснулся Домовой
И тихо хнычет — как дитя.
Он милый, добрый, он родной,
Как мы, я верю, он живой,
Но как он может — вот чудной! —
В трубе ютиться дымовой.
Бушует ветер, дождь поет,
В трубе тоскует Домовой,
И на часах двенадцать бьет,
И долог их протяжный бой.
А я сижу и жду: а вдруг

Покажет глазки Домовой,
Как милый, старый, добрый друг
Кивнет мне древней головой.

Дождь перестал, и вихрь устал;
В последний раз провыл совой
И вот спокойней, тише стал.
В трубе умолкнул Домовой.

1920

Полошки

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА

О, поэт, о, нежный романтик!
Ты ушел, твой голос затих...
На груди твоей белый бантик:
Ты Прекрасной Дамы жених.

Но, крещенный в метели белой,
Ты ли примешь вечный покой —
Ведь нельзя, чтоб душа не пела,
И тебе ль расстаться с тоской.

Нет, в неведомых нам глубинах —
Там опять — круженья смерчей
И метанья в снежных лавинах,
И влюбленность белых ночей.

И опять — то тихая нежность,
То порыв, хмельной, как весна,
И тебе ли, кто весь мятежность,
Безмятежность вечного сна!

1921

Глухов

В вагоне душном пахло потом,
Махоркой, дегтем и дождем,
Тревогой, грубым анекдотом,
Тоской дорожной и углем.

По крыше ливень барабанил,
И был напев его уныл,
А в дверь — в качелящем тумане —
В зеленых пятнах город шыл.

Сквозь сетку дождевых волокон
Горели тускло купола.
Ты поправляла мокрый локон
И вся надеждой зацвела.

Был тучи край уже распорот,
Ты встала — в новое идти —
Не зная, что заветный город —
Лишь продолжение пути.

1921

Глухов

СТАНСЫ

Проходят дни. Бегут и скачут.
Все чаще всматриваюсь в даль:
А вдруг мне что-нибудь назначит
Судьбы туманная скрижаль.

И нечем жить, а все живется...
Когда же я устану жить
И все бояться, что порвется
Судьбой колеблемая нить!

Уже стремленьем водопада
Давно влечет меня на дно.
Зачем же мне чего-то надо
В те дни, когда мне все — равно!

Я в даль смотрю, смотрю упорно;
И в брызгах скачущих валов
В дали и светлой, и просторной
Я вижу контур берегов.

Я жду, мне страшно. Я не знаю...
И вдруг исчезнут берега,
И смерть, с бесстрашьем попугая,
Мне кринет мерзкое: «Ага!»

1920

Полошки



Это было — мне помнится с грустью —
Это было далекой весной.
Я был полон весенних предчувствий,
Сам весенний и странно-иной.

Были улицы в смехе и криках*
И в веселой весенней пыли.
Я зеленое счастье все кликал
И вдыхал ароматы земли.

Помню ясное милое утро...
Сердце в грудь мне стучалось, как в дверь.
Сердце знало тревожно и мудро:
Что-то будет, случится теперь.

* У Блока: «Были улицы пьяны от криков»... (примеч. В. Литвинова).

Сердце ждало и рвалось на части.
И дождалось. О, эта весна!
О весеннее, пьяное счастье,
Недопитое мною до дна!

1922

Глухов



С утра за городом ворчало,
Молчал базар, зловеще пуст,
И весть об «них» перелетала
Из дома в дом, в уста из уст.

Уже заспорили по кучкам
О том, как будет город сдан,
И пересек дорогу тучкам,
Соря бумажками, биплан.

Уже грузились нервно штабы,
И, подымая злобно пыль,
Бранил жестокие ухабы
Встревоженный автомобиль.

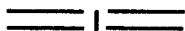
Весь день гремело монотонно,
Весь день шептались по углам,
И город ждал, упрямо-сонный,
Тех, кто стреляет где-то там.

Он ждал, огней не зажигая,
В вечерний час совсем немой,
И кто-то черный, нас пугая,
Стоял над падающей тьмой.

Мы жались, жалкие, друг к другу,
А тот, кто был из нас смелей,
Бранил минувшую разруху,
Пророча близость лучших дней.

И кто-то ехал, кто-то ухал,
Калиткой хлопал, стучал в дверь,
И где-то медленно и глухо
Рычал неведомый нам зверь...

1922



Утром сегодня теплее.
Мокрые листья — душистей.
Хочешь — пойдем в аллею
И соберем эти листья?

Воздух изнеженный чище.
Подняли астры головки.
В золоте листьев отыщем
Пуговку божьей коровки.

Солнце взойдет над лесами,
Будет нам радость — венчаться
Осени грустной венцами.
Это ль не высшее счастье!

Глухов

Кто нам сказал, что всё исчезает?..

Р. М. Рильке

СЛЕДЫ И ПИСЬМА

Сонечка и Володя

По моим наблюдениям, Ариадна Сергеевна, как правило, отказывалась от встреч с прошлым, избегала возобновлений старых, давно канувших в Лету, знакомств. Так было и с сестрами Верой Павловной и Елизаветой Павловной Редлих, — в их доме в Феодосии Марина Ивановна с маленькой Алей жили зимой 1913 — 1914 года, когда Сергей Эфрон сдавал экстерном экзамен на аттестат зрелости.

Спустя много лет, весной 1937-го, когда Аля уезжала из Парижа в Москву, мать поручила ей разыскать Софью Евгеньевну Голлидэй. Ариадна связалась с Е. П. Редлих, и та, со слов старшей сестры Веры, описала дальнейшую судьбу «Сонечки». Это письмо, пересланное Алей в Париж, Марина Ивановна, как известно, включила в «Повесть о Сонечке».

Спустя еще четверть века, когда мы с Ариадной Сергеевной работали над цветаевским томом

«Библиотеки поэта», нам для комментариев «Стихов к Сонечке» понадобились сведения о С. Е. Голлидэй. Мы собирали факты о ней где угодно, но почему-то Ариадна Сергеевна не вспомнила о сестрах Редлих; я же вообще не имела о них представления, ибо никогда не читала вторую часть «Повести о Сонечке».

Прошло еще лет пятнадцать; Ариадны Сергеевны уже не было; я готовила к публикации в «Новом мире» вторую часть «Повести» (первая вышла еще в 1976-м). Мне удалось узнать адрес Веры Павловны Редлих — она жила тогда в Минске. Я написала ей* и получила драгоценный ответ. Вот он:

«Уважаемая Анна Александровна!

Получила Ваше письмо и спешу ответить на него. Я очень близко знала Сонечку Голлидэй, даже нередко жила с ней в одной комнате, но, к сожалению, многое исчезло из моей памяти — так — начисто исчезли нужные Вам имена и даты. Поскольку я помню, отец С(офья) Е(вгеньевны) был известный в Петербурге пианист (М(арина) Ц(ветаева) писала, что он был скрипач). Я не могу утверждать, кто из нас прав. Мать Сонечки была, по-моему, учительницей музыки. У нее (Сонечки. — А. С.) были две красавицы сестры. Обе рано умерли. С мужем ее я была знакома, но имени и фамилии не помню. После моего отъезда из Москвы я работала в Новосибирске, в театре «Красный факел» и в тридцать втором или тридцать третьем году, случайно, на афише Новосибирского ТЮЗа увидела в составе группы имя С. Е. Голлидэй. Конечно, сейчас же пошла в ТЮЗ, и наши встречи продолжались в течение всего сезона.

* Мы переписывались примерно с середины 1977 года.

Уважаемая Анна Александровна!
Полагала Ваше письмо и спасибо
отвечить как же я очень долго
Знаю Софью Голлидей, у нас нередко
жила в ней в одной комнате
Квантальной лампы и через
из моей памяти - так - кажется
исследовала музыку в том смысле
и даже в нескольких томах,
затем же С. Д. был уже слышен
в Петербурге и даже (М. В. Ка-
сава, что он был скрипка.)
Я не могу утверждать что из
нас прот. Анна Софья
была по своему представле-
ния музыки у нас в том
уже красавица и ее музыка.
Она рано умерла. Музыка
ее я была так же, но
имели и другие она не
много. После того отсюда
издали себе, а работала

Ей было нелегко в детском театре. Она как-то позвала меня и моего мужа посмотреть ее на тюзовской сцене. «Посмотрите, до чего я дошла», — с горечью сказала она.

Мы увидели ее в спектакле «Дон Кихот», — кажется, пьесе А. Я. Брунштейн. Режиссер ввел в спектакль ребят, которые бегали за Дон Кихотом и изводили его всевозможными издевательствами и насмешками.

Среди них была и Сонечка. Она должна была проделывать всевозможные акробатические трюки, прыгать с высоты, стремительно взбегать на шаткие лестницы. Сонечка не справлялась со всем этим. Она была близорука. Да и не в ловкости и акробатичности была, конечно, ее сила. Ее громадное духовное богатство, тончайший лиризм, очаровательный тонкий юмор были не нужны в этом поверхностном театре. И кончилось тем, что дирекция решила снизить ей зарплату. Когда мы с мужем, актером С. С. Бирюковым, узнали об этом, то пошли на заседание месткома, на котором решался ее вопрос. Нам удалось добиться отмены этого оскорбительного решения; но все равно жизнь Сонечки не наладилась в Новосибирске, и она с мужем уехала, кажется, прямо в Москву. Ей в Москве нашла комнату Анастасия Платоновна Зуева, актриса МХТ. Кстати, о последних днях Сонечки она, я думаю, может рассказать.

Я бывала у Сонечки уже в больнице во время ее тяжелой болезни, по всей вероятности, рак желудка. Ей сделал операцию проф. Юдин. Ей сказали, что вырезали язву и она скоро поправится. Сонечка была последние дни жизнерадостна и светла. Она верила в выздоровление. Похоронили ее в крематории. Была Алла К(онстантиновна) Тарасова с мужем и я с Сергеем Сергеевичем Бирюковым и, конечно, муж Сонечки. После ее смерти он куда-то уехал, и я его больше не встречала. <...>

Да, чуть не забыла. С(офья) Е(вгеньевна) последние годы в Москве работала в лекционном бюро, иллюстрировала чтением классики лекции. За рассказ Чехова «Дом с мезонином» получила на конкурсе премию».

В другом письме Вера Павловна добавляла, что характер Сонечки был нелегким, взрывчатым, что она была способна на «неожиданные выпады и поступки». Однако ничто не могло затмить ее редкостного обаяния, и те, кто знал и понимал Сонечку, любили ее.

Вера Павловна советовала мне встретиться с А. П. Зуевой. «...Когда Сонечка вернулась в Москву, А. П. приняла в ней большое участие и даже, не глядя на все трудности, нашла ей хорошую комнату в центре города, где она и жила до последних дней», — писала она.

Встретиться нам не удалось — Анастасия Платоновна плохо себя чувствовала, — но мы дважды говорили по телефону. Зуева повторила, в сущности, то, о чем писала В. П. Редлих; сказала, что Сонечка была «удивительным существом», полным неожиданностей: могла «уколоть за добро»; была одновременно «вдумчива и капризна»; что в ней был «аристократизм породы». И с особым волнением несколько раз повторила, что С. Е. Голлидэй обладала совершенно необычайным, не поддающимся никакому описанию голосом, — *стеснительным* (смущающимся?) — однако, другого определения не нашла.

Когда наконец в декабре 1979 года вышел двенадцатый номер «Нового мира» со второй частью «Повести», я послала его в Минск. В своем

радостном отклике 12 января 1980 года Вера Павловна (которой тогда было уже восемьдесят семь!) писала:

«Впечатление от повести огромное, даже больше, чем от первой части. Я и не знала, что Сонечка так странно покинула Марину Ивановну. Это потрясло меня, и восхитила высокая нота человечности, прозвучавшая в последней части. Вообще вся повесть это — живая Марина и живая Сонечка».



Если Сонечку Голлидэй я искала, то другой персонаж цветаевской «Повести» словно явился из небытия сам, — почти через пять лет.

В марте 1984 года ко мне пришло письмо из Калуги — от Татьяны Георгиевны Снесаревской:

«Я племянница того Володи Алексеева, которому посвящена вторая часть «Повести о Сонечке» Марины Цветаевой.

Как только повесть появилась в «Новом мире», муж стал меня уговаривать написать все, что я знаю. Куда? Да хотя бы в «Новый мир».

Но откровенно говоря, я как-то постеснялась тогда... все как-то собраться не могла. А этим летом побывала на экскурсии «Москва в жизни М. Цветаевой». Я подготовилась заранее, захватив фотографии дяди Володи. И когда в Мансуровском переулке экскурсовод туманно заговорила о трагической судьбе Володи Алексеева, я поняла, что надо сказать то, что знаем мы, о семье Алексеевых. Попробовала я заговорить с экскурсоводом, но она не взглянула даже на фотографии... После этого мы обратились в Центральный литературный музей... в комиссию при фондах... В комиссии тоже интереса не проявили, а что-то все

говорили об оплате, хотя для меня этого вопроса не возникало — не об этом речь».

Когда наконец Татьяна Георгиевна обратилась в «Новый мир», то спустя три месяца (!) ей дали мой адрес.

В апреле Татьяна Георгиевна приехала в Москву и была у меня. Мы много говорили; она интересно рассказывала о своей удивительной семье. Описывала их дом — на углу Нащокинского и Гагаринского переулков, впоследствии изуродованный и модернизированный; жили там всей семьей: четыре брата, мать и отец. Вспоминала рассказ бабушки о Володе: он был одаренным пианистом. Когда, спустя очень много лет, бабушка повела внучку Таню на концерт в Консерваторию (исполнялись сонаты Бетховена), она сказала девочке, что Бетховен был любимым композитором Володи, который и исполнял его изумительно. И заплакала...

В таких вот немудрящих, но бесценных семейных преданиях прошла наша встреча. Я попыталась было записывать за Татьяной Георгиевной, однако быстро убедилась, что гораздо выразительнее делает это она сама. Пусть не для печати, — на это она не решалась, но понимала, что записать то, что помнила, — необходимо.

Вскоре я получила от Татьяны Георгиевны эту запись, которую воспроизвожу в точности, без сокращений.

«Володя Алексеев из «Повести о Сонечке»
М. Цветасвой

Во второй части «Повести о Сонечке» много места уделено Володе Алексееву — человеку, с которым судьба свела Марину Цветасву в 1918 г.

Кто же он был?

М. Цветасва немного сообщает о нем: был он актером студии Е. Вахтангова, а о его семье она ничего не знала.

Так как он был студийцем, то, видимо, поэтому в воспоминаниях Цветасвой он возник очень юным. Она была уже известным поэтом и матерью двоих детей и поэтому чувствовала себя старше, а на самом деле они были ровесниками. Да и то, что она ничего не знала о его семье, не совсем верно, просто она не запомнила ничего.

Владимир Васильевич Алексеев был мой дядя, и я с раннего детства слышала рассказ о том, что весной 1919 г. как-то днем дядя Володя зашел домой вместе с Мариной. Мне тогда было месяца 3, я была первой племянницей и даже крестницей дяди Володи, и он захотел показать меня Цветасвой. Она, взглянув на меня, сказала: «Ой, какая обезьянка!» (чем страшно обидела мою маму!).

К этому времени относится воспоминание моего отца о том, что когда он увидел Марину Цветасву, то его поразили на ней мальчишковые башмаки, зашнурованные веревочкой. Такая обувь была тогда не в удивление, но все старались веревочки хоть зачернить чем-нибудь, чтобы сделать их похожими на шнурки. Папа говорил, что его пронзила жалость: о ней некому позаботиться... Сама же она, как известно, бытом пренебрегала.

Еще рассказ родителей о той зиме. Дядя Володя рано поднялся и куда-то собирается. Дома удивляются: куда это ты так рано, Володя? Ответ с иронией:

— Как, разве вы не знаете, что вся Москва собирается на Тверской бульвар смотреть, как Марина с Бальмонтом повезут мешок мерзлой картошки, полученной на паяк?!

Но все эти мелочи запомнились в семье Алексеевых, так как касались Марины Цветаевой. Для нее же дружба с В. Алексеевым была эпизодом в сложной и трудной ее жизни. Не очень-то она приглядывалась к нему. Ведь показался же он ей сначала темноволосым и она долго воспринимала его таким, пока однажды не разглядела, что он русский. Сама она приводит его слова по этому поводу: «Боюсь, что и все остальное вы видели во мне по-своему...»

Знала ли она о его таланте, о его музыкальности? Он был очень одаренный человек, прекрасный пианист.

Конечно, незаурядность его она почувствовала сразу — иначе он бы ее не заинтересовал. Совпадение их вкусов давало ей возможность раскрывать богатства своей души перед ним, как теперь мы говорим — самовыражаться, а он был прекрасным слушателем. И воспоминание о нем тоже в какой-то степени предлог рассказать о себе в ту пору. Ведь образ Володи Алексеева, нарисованный Цветаевой, — это ее представление о нем, а не весь он сам. И его трагический конец окрашен ею в совсем другой тон, чем было на самом деле.

Весной 1919 г. Станиславский и Немирович-Данченко были на спектакле-экзамене студии Вахтангова. И после него они пригласили к себе в Художественный театр актерами трех студийцев: Завадского, Алексеева и Серова (о нем мне ничего не известно). Из повести не видно, что Цветаева знала об этом.

Летом этого же года группа Художественного собиралась на гастроли на юг России. Вперед, для подготовки гастролей, высылалась группа актеров. Завадский опоздал к поезду, с которым они выезжали (может, по безалаберности, а может, и как говорили злые языки, из желания быть поближе к старшим). Так или иначе, но это спасло ему жизнь, так как *вся* младшая группа актеров пропала между Харьковом и Ростовом, что в то тревожное время было, в общем, не очень удивительно.

После этого родители В. Алексеева получили письмо от Станиславского и Немировича-Данченко по поводу случившегося, как, видимо, и родители других пропавших актеров. Долго в семье ждали, надеялись, что вдруг найдутся они, вдруг станет что-то известно об их судьбе.

А в семье Володю очень любили, выделяли, относились бережно.

Так что же за семья это была, из которой вышел В. Алексеев?

Во второй половине 19 века, в тамбовском имении Бенкендорфа «Сосновка» был крепостной садовник Василий, который к тому же владел шорным ремеслом. Фамилии у него своей не было, всех деревенских называли Сосновскими. Поэтому, когда после реформы 1861 г. он получил волю, то взял фамилию по отцу и стал Алексеевым.

В имении он не остался, решил перебраться в город. В конце концов обосновался в Харькове, где стал шорничать. В 1863 г. у него родился сын, которого тоже назвали Василием.

Василий Васильевич Алексеев — мой дед — получил только начальное образование, начав работать еще мальчиком. Но всю жизнь он занимался самообразованием и преуспел в этом (так, например, он выучил немецкий

язык так, что свободно не только разговаривал, но и читал, и писал).

В молодые годы он был коммивояжером по продаже изделий из пеньки, конопли, т. е. канатов, веревок и пр. Ездил по всему югу по заводам и фабрикам.

Как-то, проходя по одной из улиц Харькова, он услышал красивый поющий женский голос. Ему было только 25 лет, поэтому он подтянулся и заглянул в сад. Пела молодая девушка, с косой ниже пояса. Это была Анастасия Кодер. Ее отец, латыш Иоганн Кодер из Риги, во время Крымской войны был взят в солдаты, участвовал в турецком походе, был ранен и, видимо, поэтому задержался на юге России. За долгий срок службы в армии он оторвался от родных в Риге (известно, что у него была сестра Луиза), женился на харьковской мещанке и в 1872 году у них родилась дочь Анастасия. Жили они, видимо, с достатком, так как Настя училась в частной гимназии. Было ей 16 лет, когда она вышла замуж за Василия Васильевича Алексева.

В 1889 г. у них родился сын Сергей, в 1890 г. — Георгий (мой будущий отец), а в 1892 г. — Владимир (т. е. тот Володя Алексеев, о котором пишет М. Цветаева) и в 1894 г. — Николай.

Бабушка очень хотела дочку, но так как к 22-м годам у нее было уже четверо сыновей, решила больше детей не иметь. Она была прогрессивна и не религиозна и не боялась обратиться к врачам.

Первое время Алексеевы жили в Харькове, затем переехали на хутор недалеко от города, где жизнь была дешевле, а детям привольнее. Но когда подошло время детей учить, в конце девяностых годов, переехали в Москву. Дедушка стал управляющим на небольшой канатной фабричке.

Мальчиков отдали учиться в среднее техническое училище, которое было незадолго до этого открыто в Москве. Оно давало общее образование, а к концу обучения разделялось по специальностям. Окончивший получал звание техника, но после года работы мог сдать специальный экзамен и получить диплом инженера.

Братья росли дружными, но склонности у них были разными. Поэтому вскоре мой отец обратился к родителям:

— Я, конечно, могу и дальше делать чертежи и задачи за Володю, но что это даст ему? Надо перестать мучить его и взять из училища. По зрелом размышлении, родители согласились, и Володю перевели в гимназию.

В семье Алексеевых думали не только о том, чтобы дать детям образование. Им давали возможность расширить кругозор. Если еще малых детей мать возила в Крым, то в старших классах они совершили увлекательное путешествие по Волге на лодке под парусом и с веслами. С братьями плавал их знакомый молодой учитель, который был ненамного старше их. Позже путешествовали по Германии, Австрии и Швейцарии. В этот раз с ними была мать, но она ездила во втором классе, а братья — в третьем.

В семье царил «вольный дух». В 1905 г. братья-подростки были близко знакомы с эсерами-максималистами, которые бывали у них дома. Кого-то даже укрывали одно время в своей квартире. Во время декабрьского вооруженного восстания мальчики дежурили в училище, грели кипятком для чая рабочим дружинникам, оказывали другие мелкие услуги. После разгрома у них дома был обыск и двоих старших братьев продержали 2 дня в полицейском участке.

Революцию 1917 г. Алексеевы встретили с пониманием и сочувствием. Моего отца на фронте солдаты единодушно выбрали своим командиром. Старший брат Сергей после тяжелой контузии был к этому времени демобилизован. Младший — Николай — как только создали Красную армию, ушел служить в нее.

Когда началась первая мировая война, Володя учился в университете Шаняевского. Как я уже говорила, в семье к нему было особое отношение — признание его одаренности. Поэтому когда 2 старших брата были уже в армии, самый младший брат Николай после второго курса медицинского факультета пошел добровольно в армию, чтобы не взяли Володю (тогда одного сына оставляли в семье).

Братья все любили шутку, но душой всех розыгрышей был всегда Володя. Рассказывали, что как-то в воскресные утра, когда завтракали всегда всей семьей, Володя, опаздывая, вышел не причесавшись. Бабушка, увидев это, стала ему выговаривать. Тогда он ушел и вернулся гладко причесанный только с того бока, которым сидел к матери.

*Знаю ли вы, что после ка-
кого-то спектакля у Вахтангова,
когда присутствовали Ситани-
славский и Кеммерович-Фанченко
(как иксельгуровские), они при-
ехали в Кургане в еврейский театр
актерами Завацкого, Серова и
дядю Володю? Это было признание
тамантис, но это сыграло роль.*

Фрагмент письма Т. Г. Снесаревской.

Она, близоруко взглянув на него, начала говорить, что вот, мол, совсем другое дело... Сидящие за столом сначала сдерживались, но потом молодость взяла свое и все начали хохотать. Бабушка, не поняв, рассердилась, а потом, когда разглядела его «прическу», присоединилась ко всем.

И вместе с тем, у него было особенное, рыцарское отношение к женщине. Мама моя часто вспоминала, как трогательно-бережно относился он к ней, вошедшей в их семью, совершенно отличную от той, в которой она выросла. Наверное, в таком его отношении сказывалось еще и то, что во время войны мама была сестрой милосердия.

Никого не осталось теперь в живых из той большой, дружной семьи Алексеевых. Кратким вниманием Марины Цветаевой к одному из них — Владимиру Васильевичу Алексееву — осталась память о нем, хотя немного и искажающая его образ. Но это неудивительно, ведь когда она без малого через 20 лет писала повесть-прощание со своей молодостью, романтические воспоминания все окрапывали в такой цвет, какой ей хотелось.

И все-таки, спасибо ей, что она вывела из забвения этого незаурядного человека.

Апрель 1984 г.

*Снесаревская Татьяна Георгиевна
(Алексеева)»*

Больше мы с Татьяной Георгиевной не встречались.

1997

«Н. Н. В.»

Когда в конце семидесятых ко мне попала перепечатка тетради стихов Марины Цветаевой, сделанная Ариадной Эфрон, больше всего меня поразил цикл из двадцати семи стихотворений, явно обращенный к кому-то. К кому? Посвящение Ариадна Сергеевна не указала. Она не жаловала материнских «вдохновителей», — тем более, что Марина Ивановна частенько перепосвящала свои творения*.

Между тем много стихов из цикла, о котором я говорю (он создавался в апреле — мае 1920 года), уже были широко известны, стали хрестоматийными: «Пригвождена к позорному столбу...», «На брешь бедную мою...», «Мой путь не лежит мимо дому — твоего...», «Восхищенной и восхищённой...», «И не спасут ни стансы, ни созвездья...». Интриговал

* Чего проще, казалось бы, пойти в цветаевский архив и выяснить этот вопрос. Но Ариадна Эфрон закрыла значительную часть архива до начала следующего века...

и эпитафия из «Тысячи и одной ночи»: «Не позволяй страстям своим переступать порог воли твоей. — Но Аллах мудрее...» И вставал образ «сурового и статного», *нелюбящего* героя, — от чьей неприступности лирическая героиня, она же — волна морская — *Марина* — спасается, всякий раз возрождаясь:

Дробясь о гранитные ваши колена,
Я с каждой волной — воскресаю!

(«Кто создан из камня, кто создан из глины...»)

Так кто же он, адресат, или, как Цветаева назвала бы его, «автор» (то есть первопричина) этого лирического потока?

Прошло еще некоторое время, прежде чем удалось выяснить: цветаевский цикл (и еще несколько стихотворений) обращен к «Н. Н. В.» — художнику Николаю Николаевичу Вышеславцеву. Затем я узнала, что Ольга Николаевна, вдова Н. Н. Вышеславцева, живет в Москве, и — что в 1921 году художник написал портрет Марины Цветаевой.

Знавшие Ольгу Николаевну говорили об ее уме, благородстве и силе духа, которую она черпала в религии; под ее влиянием находились люди, намного ее моложе...

Принять меня она согласилась сразу, и однажды — было это в начале 1984 года — я пришла к ней в Кривоарбатский переулок, дом 30, в типичную московскую «коммуналку»; там жила и ее младшая сестра Нина Николаевна, взявшая на себя все бытовые проблемы; у Ольги Николаевны здоровье было неважное.

В мужестве Ольги Николаевны я убедилась с первых же минут, когда она сообщила, что их дом будут перестраивать, а жильцов переселять на окраины. Она словно бы не придавала этому значения и, кажется, вовсе и не собиралась переезжать... Общаться с нею было очень легко, очень просто, разница в возрасте не ощущалась, — умные люди всегда молоды душой. Я чувствовала, что с Ольгой Николаевной можно говорить абсолютно обо всем, — и действительно, однажды она оказала мне большую душевную поддержку...

Портрет Марины Цветаевой она показала и подарила мне в первую же встречу. (Его оригинал, вместе с многими другими работами Вышеславцева, она передала в Третьяковку.) Черно-белый этот портрет, сделанный тушью на листе обычной писчей бумаги, многим, в частности, Анастасии Ивановне Цветаевой, не понравился. Его пронзительность, *беспощадность* несколько шокировали и меня. Но ведь уже по стихам можно было судить, что сделан портрет был *нелюбящей* рукой художника, увидевшего в модели не женщину, а — явление бессонного поэта с широко распахнутыми глазами («Все вижу — ибо я слепа...»). Впрочем, не буду повторяться: уже не раз я описывала и публиковала эту работу Вышеславцева.

Подарила мне Ольга Николаевна еще несколько копий рисунков Н. Н. Вышеславцева: портреты И. Бунина, А. Белого, художника В. Д. Миллиотти.

И еще — каталог посмертной выставки мужа (1979 г.) со скудными «профильтрованными» сведениями о художнике. Сама же Ольга Николаевна, вполне доверяя мне, рассказывала «неподцензурно». Сообщила, что Николай Николаевич был незаконным сыном графини Кочубей и управляющего именем Кочубеев Вышеславцева, что он никогда не видел своей матери... Что несколько лет учился живописи во Франции, а в 1914 году, оставив все свои работы в Париже (впоследствии все они, так же, как и его дневники, бесследно пропали), вернулся в Россию. Было ему тогда двадцать четыре года.

В Москве, к моменту встречи с Цветаевой, Вышеславцев работал библиотекарем Дворца искусств на Поварской — знаменитом «доме Ростовых», не раз с любовью описанном Мариной Ивановной. На фотографии той поры голова его обрита наголо — после ранения на войне, куда попал осенью 1915-го, Н. Н. Вышеславцев всегда брился наголо. Ольга Николаевна подарила мне снимок с его автопортрета, сделанного в 1915 году, до фронта.

На стене в комнате Ольги Николаевны я увидела рисунок: бледная темноволосая молодая женщина с раскосыми по-азиатски глазами и высокой прической.

— А это — портрет «японочки Инамэ», — сказала Ольга Николаевна и показала еще несколько. И один (оригинал) — подарила.

Как тут было не забиться моему сердцу?



Портрет японочки Инамэ. Рисунок Н. Н. Вышеславцева (тушь).

«...японочка Инамэ — бледная, безумно волнуемая: «Я не знаю, что мне Вам сказать. Мне грустно. Вы уезжаете. Константин Дмитриевич! (Бальмонт. — А. С.) Приезжайте к нам в Японию, у нас хризантемы и ирисы. И...» Как раскатившиеся жемчужины, японский щебет. («До свиданья», должно быть?) Со скрещенными ручками — низкий поклон. Голос глуховатый, ясно слышится биение сердца, сдерживаемое задыхание. Большие перерывы. — Ищет слов. — Говор гортанный, немножко цыганский. Личико желто-бледное. И эти ручки крохотные!»

(Марина Цветаева. Запись юбилея Бальмонта во Дворце искусств 27 мая 1920 г.)

Так «японочка Инамэ», — следов ее мне, увы, разыскать не удалось, — пришла в мой дом от «Н. Н. В.» и Марины Цветаевой*.



Вдохновленная встречами с Ольгой Николаевной и желая поскорее опубликовать портрет Цветаевой, я поспешила сотворить очерк о поэте и художнике, и его напечатали в майском номере журнала «Огонек» за 1984 год. Беседы мои с Ольгой Николаевной были довольно отрывочными, и я, с чисто

* Сейчас я передала портрет в Литературный музей Марины и Анастасии Цветаевых в г. Александров. А другой подарок Ольги Николаевны — «Портрет тарусянки», 1927 г. — послала в Тарусский городской музей.

журналистской самонадеянностью (ни прежде, ни позже не свойственной мне), не проверив факты, не переспросив, написала, что в том самом 1920 году Ольга Николаевна была невестой Николая Николаевича Вышеславцева. На самом деле они поженились много лет спустя, а тогда она была замужем за другим человеком и ждала ребенка (ее сын впоследствии погибнет на войне). Мало того: говоря о цветаевских стихах, обращенных к Вышеславцеву, я ни словом не упомянула, что в рукописи Марины Ивановны стоит посвящение «Н. Н. В.».

Ольга Николаевна прислала мне заслуженно суровое, но справедливое и даже великодушное письмо, где сожалела, что я не показала ей статью прежде, чем отправила ее в печать.

Я страшно огорчилась и устыдилась (до сих пор мне стыдно об этом вспоминать) и сообщила, что только по чистой случайности, в спешке, не упомянула цветаевского посвящения «Н. Н. В.». Остальное «крыть» мне было нечем.

Ответ от Ольги Николаевны пришел мгновенно.

«22 мая 1984 г.

Милая Анна Александровна!

Только что получила Ваше письмо. Спасибо за Вашу искренность, за Ваш труд. Рада, что Вы подтвердили подлинность «посвящений». Я так же, как и Вы, дорожу правдой и репутацией Марины Цветаевой, которой в жизни досталось много горьких минут. Хочется, чтобы и после ее трагического ухода из жизни, память о М. И. осталась незапятнанной никакой фальшивой нотой, и это сейчас — самое главное.

Вот поэтому, не будучи уверенной в том, что на рисунке (1921 г.) изображена М. И. Цветаева, при передаче его в Третьяковскую галерею, он (прошел) именовался, как «Женский портрет».

Ваш психологический анализ портрета освободил меня от этой неуверенности. Спасибо и за это, и за Вашу горячность.

Все остальное — предадим забвению, будем считать, что произошло недоразумение, в котором, видимо, повинны мы обе.

Пусть наши отношения останутся добрыми и неизменными, т. к. прошли уже испытания, только не огорчайтесь.

Искренне желаю Вам плодотворного труда и всего доброго.

О. Вышеславцева.

Но все-таки нет худа без добра, и «злополучность» моего очерка была, пожалуй, исполнена.

В начале июня 1984 года на мое имя пришло письмо в «Огонек»:

«Уважаемая тов. Саакянц!

Пишет Вам дочь Н. Н. Вышеславцева.

Случайно купив журнал «Огонек», я прочла Вашу статью «Бессонная моя душа» о Марине Цветаевой, где вы довольно много уделяете внимания моему отцу Н. Н. Вышеславцеву, и мне захотелось написать Вам.

Мой отец познакомился с мамой в г. Париже в студии двоюродного брата матери художника Михаила Александровича Широкова, у которого собирались художники, писатели, поэты, преимущественно русские; точно год указать не могу, но в 1913 году мать с отцом поженились, и в 1914 году 11 февраля родилась я. В Россию мы переехали в конце 1914 года. Сначала в г. Киев, а затем в 1915 г. в г. Севастополь, где моя мама, Вышеславцева М. П., проработала врачом 45 лет. Здесь она, находясь на пенсии, умерла в 1979 году.

В 1924 году десятилетней девочкой мама привезла меня в Москву, и у меня была первая встреча с отцом.

Встреча была у двоюродной сестры матери М. А. Широковой. Не знаю сейчас, кто организовал встречу, мама или тетя Маруся, но помню, что я убежала в кухню и просидела в ней до ухода отца.

Вероятно, это произошло потому, что я не знала отца, он никогда не писал мне, не приезжал, не проявлял ни интереса, ни заботы в отношении меня. Я не знаю, почему расстались мои родители, но не могу понять, чем вызвано такое безразличие в отношении меня, его дочери?

Второй раз я встретила с отцом в 1933 году в Москве уже будучи взрослой 19-летней девушкой, но и на этот раз теплых дружеских отношений у нас не получилось. Почему? Опять же затрудняюсь сказать, а жаль. У меня с детства было тяготение к рисованию, в Севастополе я училась в художественной студии в 1931—32 г., но студия распалась. Преподавали нам хорошие художники, *(нрзб)*, Шпажинский, у которого я стала заниматься в 1935—37 г.

Но я отвлеклась; итак в 1933—34 г. я бывала у отца. Он жил на Леонтьевском переулке в небольшой комнате, заставленной книгами, книг было очень много и потому в комнате было очень тесно. В Москве я жила у брата матери Дмитрия Павловича Григоровича, у отца я бывала. Жил он тогда один, о себе, своей личной жизни он никогда не говорил, так что представить себе его женатым я никак не могу, да и мать моя вряд ли носила бы фамилию отца, если б была в разводе... Ни в 1924, ни в 1933 г. никто из нашей семьи не знали, что у Н. Н. Вышеславцева есть жена, возможно, и она не знала, что у него была семья, есть дочь, а теперь уже внучка, внук и три правнучки.

Не удивляйтесь, что я пишу Вам, но хотелось бы подробнее узнать об отце, а в этом может мне помочь только Ольга

Николаевна, а поэтому с Вашего разрешения я хотела бы узнать ее адрес, если она не против.

С уважением

Елена Николаевна.

Р. S. О том, что я родилась в Париже в 1914 г. и крестилась в русской православной церкви, указано в метрическом свидетельстве, находящемся у меня.

Мой адрес: г. Севастополь, ул. Острикова, д. 138, кв. 45. Чернышевой Ел. Ник., инд. 335040».

Милая Анна Александровна!

29/хл 85.

Очень рада здравья и творческих
вдохновлений и успехов в Новом 1986 году.
Не забывайте, что я Вас забыла, совсем
наоборот — в полном смысле с благодарностью,
т.к. Вы помогли Гитеру обрести Отца
а он мне потребовалось лишь поехать
туда. Елена Н. была в Москве, мы
неоднократно с ней виделись; в конце
писем и 28-го декабря расстались друзьями.
Обо всем расскажу при встрече. Это
ните мне проше удачи. От мамы Ник.
привет и поздравление. Откинула Вас. О. Вышеславцев

Открытка от О. Н. Вышеславцевой.

Это ли было не чудом? Конечно, Ольга Николаевна разрешила послать свой адрес. И в том же 1985 году Елена Николаевна приехала в Москву.

«Милая Анна Александровна, — писала мне Ольга Николаевна 22 декабря 1985 года, — желаю Вам здоровья и творческих вдохновений и успехов в Новом 1986 году. Не думайте, что я Вас забыла, совсем наоборот — вспоминаю с благодарностью, т. к. Вы помогли дочери обрести отца; а от меня требовалась лишь помощь этому. Елена Николаевна была в Москве, мы неоднократно с нею виделись; встретились и 28 декабря расстались друзьями.

Обо всем расскажу при встрече. Звоните мне после 7-го янв. От Нины Ник. привет и поздравления. Обнимаю Вас. *О. Вышеславцева*».

И от Елены Николаевны пришла открытка (3 марта 1986 г.):

«...благодарю Вас за знакомство с О. Н. ...я рада, что в Москве у меня кроме дочери и родных есть близкая мне душевно О. Н. ...»



...О дальнейшей судьбе Николая Вышеславцева Ольга Николаевна рассказывала немного, но и этого было достаточно, чтобы представить себе крестный путь художника. Поначалу все складывалось более или менее благополучно: Н. Н. Вышеславцев стал известным графиком и педагогом, иллюстрировал книги и писал статьи. Он работал неутомимо, создал множество портретов, однако, по скромности, никому их не показывал, а прятал в папки или дарил. Несмотря на то, что окончил он всего пять классов Тамбовской гимназии, он обладал энциклопедическими знаниями и держал в доме знаменитую в Москве огромную библиотеку.

Однако его мирозерцание никак не соответствовало советской реальности. Человек незаурядного ума, отлично знакомый с мировой и русской философией, Вышеславцев, разумеется, был «неудобен»

властям и избежал, вместе с Ольгой Николаевной, «посадки» лишь потому, что в 1947 году перенес инсульт и был парализован; несколько же его учеников были арестованы. На его глазах в квартире произвели не один обыск; выносили книги драгоценной библиотеки, рисунки, материалы к монографии о Леонардо да Винчи, которую он мечтал написать, и, конечно, «крамольные» дневники. Умер Н. Н. Вышеславцев в 1952 году.

С Мариной Цветаевой они больше не встретились, хотя Вышеславцев все время жил в Москве, вероятно, и представления не имея об ее скитаниях по чужим углам в 1940 и 41-м... И о том, как она редактировала свое знаменитое, некогда ему адресованное стихотворение «Приговорена...», обращая его теперь к томившемуся в застенке мужу...

А в октябре сорок первого он с ужасом узнал о ее страшном конце, и записал в дневнике:

«Звонил Бобров, потом пришел. Рассказал ужасную новость (для меня, ибо это было известно недели уже две) о Марине Цветаевой, которая уехала с сыном куда-то в глубь Чувашии, рассчитывая на чью-то помощь. Помощи не было, деньги были скоро прожиты, стала судомойкой, потом не вынесла голодовки и нужды и повесилась. Гумилев, Есенин, Маяковский, Цветаева. А Лебедев-Кумач благоденствует, Асеев купил где-то дом в провинции и т. д.»*

Можно сказать, что в эти минуты «Н. Н. В.» был рядом с поэтом.

1997

* Николай Вышеславцев. Дневник 1941—1942. Публикация Натальи Солнцевой. Газета «Сегодня». 1994. 19 апреля.

«Духа не угашайте!»
(Письма Константина Родзевича)

В июне 1977 года совершенно неожиданно ко мне
пришло письмо:

*«Константин Болеславович
Родзевич*

28 мая 1977 г.

Париж.

26 rue Lacretelle 75015 Paris

Дорогая Анна Александровна,

Я посылаю это письмо по адресу, занесенному в мою
памятную книжку целый десяток лет тому назад. Весьма
вероятно, что этот адрес уже не соответствует действи-
тельности. Но если мое письмо все-таки попадет в ваши
руки — пожалуйста, подтвердите по возможности скорей
его получение.

Мне хочется думать, что вам знакомо мое имя пона-
слышке, или, точнее говоря, — со слов Ариадны Сергеевны
Эфрон. Когда я был в последний раз в Москве (в 1967 го-
ду), Аля говорила мне, что вы помогали ей в работе
по созданию посмертного литературного архива *Марины
Цветаевой*. Вот относительно этого архива и пойдет сей-
час моя речь:

У меня сохранилось несколько сделанных мной в да-
леком прошлом рисунков и скульптур, посвященных М. Ц.

Мне было бы очень желательно послать вам *фотографии* этих рисунков и скульптур с тем, чтобы они были переданы в архив М. Ц. и чтобы таким образом они не пропали бы бесследно.

Я обращаюсь к вам с просьбой о посредничестве потому, что в настоящее время у меня не осталось в Москве никаких других живых связей.

Надеюсь на ваше доброе согласие и жду от вас скорого ответа — с товарищеским приветом!

КР.

Мой адрес: Monsieur C. Rodzevitch.

26 rue Lacretelle

75015 Paris — France».

⟨Адрес на конверте: «СССР, Москва 9, Улица Грановского, 5, кв. 48 Анне Александровне Саакянц⟩

Я сразу же отправила телеграмму: «Письмо ваше получила сердечно благодарна ответ послала почтой». Следом — письмо:

«12.6.77

Дорогой Константин Болеславович!

Я была несказанно рада получить Ваше письмо, и в первый момент даже не поверила в это чудо. Письмо пришло в дом, где я прежде жила, и когда сказали, от кого письмо, я попросила немедленно привезти его мне.

Да, конечно, мне знакомо Ваше имя, и очень давно. Если бы Вы знали, какие прекрасные слова говорила и писала о Вас Ариадна Сергеевна, как она была взволнована Вашей с нею встречей! И я заочно прониклась к Вам самыми теплыми чувствами, всегда ощущала, что Вы — существуете.

О Вашей просьбе. Нужно, конечно, чтобы фотокопии Ваших скульптур и рисунков попали в архив Цветаевой. Там же находятся ее письма к Вам — они закрыты до 2000-го года. Вы можете послать фотографии на мой адрес — лучше всего *ценной* бандеролью, или заказным письмом, — фотографии всегда благополучно доходят*. Я передам их в цветаевский архив.

Константин Болеславович, ради Бога, не сочтите, пожалуйста, нескромностью с моей стороны, не подумайте, что я нахальна, — это не так! — Но если когда-нибудь Вы решите расстаться с оригиналами или частью их, то знайте, что их можно было бы передать в Литературный музей в Москве, где они будут, конечно, *выставлены* (то есть: в архиве — фотокопии, в музее — оригиналы). Говорю это Вам на всякий случай и понимаю, что все это произойдет (если произойдет) не сегодня, и ни в коей мере Вас не уговариваю.

Я сейчас работаю над составлением нового сборника М. Ц. — он должен выйти в будущем году. С удовольствием пошлю его Вам. Думаю, что все с книжкой будет благополучно. Это будет издано в Малой серии «Библиотеки поэта» (в 1965 году вышла Большая серия).

Если бы Вам захотелось получить какие-нибудь публикации М. Ц. — стихов и прозы, — которые были в наших журналах за последние годы, — напишите, я пошлю Вам.

На этом кончаю и желаю Вам всего, всего самого доброго. Еще раз благодарю за письмо...»

Так началась переписка с «героем поэм», с «К. Б.», — как называла его Ариадна Эфрон. С леген-

* Только надо запаковать, чтобы их не смяли на почте.

дарным героем испанской войны Луи Кордэ — Луисом Кордесом (псевдоним К. Б. Родзевича). С человеком, в определенные времена оказывавшим несомненные услуги НКВД (или как это там именовалось в разные годы), — о чем я, понятно, не знала и знать не могла. Сегодня об этой деятельности К. Б. Родзевича написано, и не однажды, и не моя задача — пересказывать чужие открытия, равно как и залезать в дела, далекие от моей цели. Моя же цель: дать хотя бы чуточку представления о человеке, уютно доживавшем свои дни в Париже после бурной, противоречивой, авантюристической жизни. А главное: о том, кто был самой сильной в жизни «земной» любовью Марины Цветаевой.

Константин Болеславович с женой приезжал в Москву в конце лета 1967 года. «Встретились мы чудесно, — писала Ариадна Сергеевна Елизавете Яковлевне Эфрон 30 июля, — ее-то (жену. — А. С.) я увидела впервые; она по-русски ни слова, по профессии социолог, а он хоть и изменился (за 30-то лет!), но узнала бы его и в толпе на улице; основное во внешности сохранилось. Он очень плакал, вспоминал папу и маму, и чувствуется, что никогда не забывал их. Более того, переживает как бы второе их в себе рождение с вершин возраста и дарованной этим возрастом мудрости... Потрясен и сознанием того, что он в Москве — столько десятилетий спустя!» А в письме ко мне и в разговорах Ариадна Сергеевна повторяла, что «мотыльковость сущности» в сочетании

с «железобетонностью судьбы» вылепили, в конечном счете, незаурядную личность этого человека.

На мое письмо Константин Болеславович ответил быстро:

«30 июня 1977 г.

Дорогая Анна Александровна,

Спасибо за поспешное уведомление телеграммой и за посланное ему вслед письмо с вашей дружеской готовностью исполнить мою просьбу.

Итак, наше многолетнее знакомство, остававшееся до сих пор «негласным», приобретает, наконец, конкретные очертания.

Мы обменялись приветствиями и адресами, и теперь я твердо надеюсь, что, несмотря на разделяющие нас сотни километров, мы и впредь не будем терять друг друга из виду.

Конечно, установившейся между нами почтовой связи я предпочел бы настоящую — живую! — встречу, при которой нам было бы дано вдоволь наговориться.

Но увы! — сложившиеся обстоятельства не поддаются моей воле. В моем уже «нестойком» возрасте (без малого 82!) пускаться снова в путь до далекой Москвы не рекомендовано мне врачами.

А мечтать о том, что вы хоть ненадолго заглянете в Париж как моя желанная гостья, — это значит предаваться несбыточным иллюзиям...

Не правда ли?

Так что, за неимением лучшего, да здравствует почта!

Как и было условлено между нами, я посылаю вам первые четыре фотографии моих рисунков, предназначенных для посмертного архива Марины Цветаевой.

Эти рисунки были сделаны мной по памяти — в разные времена и при несходных поворотах моей судьбы. Поэтому в них не столько строго портретных черт, сколько чисто субъективных отображений.

Судите сами — заслуживают ли эти рисунки кое-какого интереса и стоит ли их помещать в Цветаевский архив.

В другой раз я пошла вам новую серию фотографий, снятых с единственной сохранившейся у меня скульптуры, посвященной М. Ц.

Тогда мы вместе и порешим, что делать с оригиналом этого моего произведения.

Пожалуйста, подтвердите мне получение моей посылки и дайте знать, когда лучше всего отправить вам мое следующее письмо: ведь на время летних каникул вы, вероятно, покинете Москву.

Предпринимаемое вами новое издание стихов и поэм Марины Цветаевой — прекрасное и нужное дело: ему, несомненно, порадуются тысячи советских читателей, и оно послужит в то же время вдохновляющим и поучительным образцом для начинающих советских стихотворцев (а очень многим из них еще не достает ни подлинного накала, ни требуемого ремесла).

Крепко жму вашу руку! Желаю вам и больших успехов в работе, и счастливо заполненных отдохновений!

Жду скорого ответа

КРодзевич.

Р. S. — Я с благодарностью думал о вас, читая в «Новом мире» повесть М. Ц. — «Сонечка».

Все четыре фотографии дошли благополучно; два рисунка я знала прежде. Ариадне Сергеевне

очень нравился тот из них, где Марина Ивановна улыбается и держит в руках дубовые листочки.

«Советски-лояльные» фразы в письме К. Б. меня удивили и немного рассмешили; но я ведь совсем не знала его... Попросила его прислать свое изображение. Он долго молчал; ответил более чем через месяц:

«Дорогая Анна Александровна!

Как и было договорено между нами, я посылаю вам с этим пакетом новую серию фотографий — всего 5!

Поступайте с ними по вашему собственному усмотрению.

Одновременно я пишу вам длинное письмо в ответ на ваше от 12.7.77.

Буду рад, если вы подтвердите мне получение этого пакета — хотя бы коротенькой открыткой.

Крепко жму вашу руку!

С товарищеским приветом!

КРодзевич.

9 августа 1977 г.»

Вскоре пришло новое письмо:

«20 августа 77 г.

Париж.

Дорогая Анна Александровна,

весь июль месяц я был в отъезде из Парижа. А после моего возвращения домой опять тяжело заболел...

(Такое случается со мной все чаще и чаще... Ничего не поделаешь — годы!)

Вот почему я только теперь отвечаю на ваше последнее (июньское) письмо.

Очень тронут вниманием, с которым вы отнеслись к моим рисункам, посвященным М. Ц. — Вы спрашиваете меня — согласен ли я поставить свою подпись под рисунком, который, может быть, когда-нибудь окажется принятым в печать? Да, согласен! И, конечно, не ради саморекламы, а просто потому, что у меня нет никаких оснований для сокрытия моего авторства.

До сих пор мне казалось нужным оберегать мои отношения с М. Ц. от всяких досужих россказней и от праздного любопытства со стороны. Но из этих отношений, запечатленных самой М. Ц. в ее стихах и поэмах, я никогда не делал тайны.

В шестидесятых годах, когда после долгой разлуки мне удалось наконец связаться с Алей, я собрал все имевшиеся у меня материалы, касавшиеся жизни М. Ц. (письма, книги, портреты и т. д.), чтобы при содействии случайных посредников переслать их в Москву. Потом мне не представилась возможность проверить, все ли эти материалы были доставлены по назначению. Поэтому в два посланных вам теперь пакета я, по ошибке, вложил рисунки, уже ранее побывавшие в ваших руках.

Известно ли вам, что недавно в Англии издана книга стихов М. Ц. в переводе на английский язык. На всякий случай, посылаю вам фотокопии титульной страницы и оглавления этой книги. — Мое недостаточное знание английского языка не позволяет мне судить о достоинствах данного перевода. По-моему, цветаевская поэзия вообще почти не переводима и для того, чтобы по-настоящему

проникнуться ею, — ее надо читать в подлиннике. Так как главное во всем написанном М. Ц. — это «равенство дара души и глагола» (как она сама когда-то выражалась).

Вы пожелали иметь мою личную фотографию? Вот она! — (это снимок со сделанного мной в недавнем прошлом автопортрета. Я немножко польстил себе, или, вернее — преувеличил свою молодость, но кажется, все же не погрешил по части сходства).

Надеюсь, что к вашему следующему письму, которого я буду терпеливо дожидаться, вы не откажете приложить для меня соответствующий подарок: читая ваше письмо, я тоже хочу вас *видеть!*

Дружески обнимаю!

КРодзевич.

В письме Константин Болеславович прислал свой автопортрет, сделанный карандашом несколько лет назад, — на фоне более современной фотографии, где он старше. «Таким я рисовался еще недавно! А таким выглядываю теперь!» — шутливо написал он.

Вообще должна сказать, что в письмах этого старого человека, — ему было тогда почти восемьдесят три! — проглядывал образ *того*, неотразимого Родзевича, «Арлекина», которому писала Марина Цветаева, «маленького Казановы», которого, естественно, не любили многие мужчины... Я особенно это почувствовала, когда в одном из писем он прислал мне свою, действительно *неотразимую* фотографию, с надписью: «А это — я, в мои молодые годы! Прага 1923».

Наша переписка была довольно регулярной. Моих писем, за исключением самого первого, нет: мне в голову не пришло снимать с них копии (кроме первого, когда я от волнения написала сперва черновик). Я теперь жалею об этом, так как далеко не всегда помню, что посылала Константину Болеславовичу, на что конкретно он отвечает мне. Поэтому порою мне остается лишь приводить его письма, так сказать, «в чистом виде».

Я тоже послала Константину Болеславовичу свою фотографию, а также очерк Ариадны Эфрон «Самофракийская победа» — о встрече в Париже Аветика Исаакяна и Марины Цветаевой. Это была посмертная перепечатка в ереванском сборнике («Литературные связи». Т. 2, 1977) — с моим предисловием. Не знала я, что Ариадна Сергеевна отправила Константину Болеславовичу этот очерк, напечатанный в журнале «Литературная Армения» десять лет назад...

«22-9-77.

Дорогая Анна Александровна!

Многочисленное спасибо за ваше письмо (от 10-9-77) и за приложенные к нему подарки.

В особенности — за вашу чудесную фотографию, от которой мне стало тепло и радостно на сердце.

Вы действительно такая, какой я уже ранее представлял себе вас по вашим выразительным письмам: внимательная, сосредоточенная, *настоящая!*

К тому же ваши черты,.. но я воздержусь от слов, которые могли бы быть восприняты вами, как нарочитые и неуместные комплименты!

Спасибо также за брошюрку с воспоминаниями Али о состоявшейся в Париже встречи между А(ветиком) И(саакяном) и М. Ц. По правде говоря, эти воспоминания мне уже с давних пор известны. Это я послал в Москву приобретенный мной в Лувре снимок Ники Самофракийской, за что и был потом вознагражден журналом (Литерат. Армения, № 8—1967), который до сих пор хранится в моей домашней библиотеке.

Однако присланная вами брошюра не оказалась для меня напрасной: я с большим интересом прочел в ней написанный вами вступительный очерк. Ваши правдивые и волнующие строки, посвященные А. С. Э., нашли во мне самый трепетный отклик...

Вы спрашиваете, не осталось ли в моем личном архиве каких-либо других материалов, касающихся жизни М. Ц. Нет, не осталось!— Все что мне удалось сберечь, я (как вы знаете) давно переслал в Москву. А остальные, хранившиеся у меня рукописи и предметы, погибли во время войны, — когда я был сослан в немецкий концлагерь (за участие во французском Сопротивлении) и когда мое парижское обиталище было подвергнуто полному разгрому.

Конечно, мне и сейчас памятно многое из трагически-сжатой и все же неукротимо яркой жизни М. Ц. за рубежом. Но обо всем существенном из этой жизни уже было рассказано в советской печати, а докапываться до случайных подробностей вряд ли необходимо.

Главное сейчас в том, что поэт Марина Цветаева опять у себя — на родине.

Помните, как сказал С. Маршак:

«Пусть безогляден был твой путь
Бездомной птицы-одиночки,
Себя ты до последней строчки
Успела родине вернуть.»

Над укреплением и расширением этого «возврата»
долгие годы трудилась Аля...

А теперь трудитесь вы!

Когда найдется время и придет охота — пишите!

Дружески обнимаю

К. Родзевич

Téléphone: 250-13-05

К. Б. настолько привык к нашей переписке, что начинал волноваться, когда ему казалось, что от меня долго нет вестей.

«15 декабря 1977 г.

Париж

Дорогая Анна Александровна,

Ваше последнее письмо ко мне датировано 12-м октября. С тех пор прошло уже более двух месяцев, а от вас — ни слуху, ни духу...

Сначала я примирялся с этим долгим вашим молчанием, и находил ему целый ряд оправданий (отъезд из Москвы, отдых в Эривани, и снова Москва с ее грудой ежедневных дел и делишек).

Но теперь во мне нарастает беспокойство — Как ваше здоровье? — Как идет ваша работа? — Как складывается ваша личная жизнь? — Короче говоря, — все ли у вас благополучно? —

Прошу вас, дайте мне знать о себе, не откладывая ответа в долгий ящик.

У меня нет к вам сейчас никакой деловой просьбы. Мне просто очень хочется побыть вместе с вами, хотя бы на протяжении вот этой нашей переписки.

О себе самом не могу сообщить ничего нового. Живу по-прежнему тихо и замкнуто, так как всякого рода телесные недочеты не позволяют мне ни большого физического труда (так любимого мной в моем прошлом!), ни далеких передвижений (без которых я раньше никак не мог обходиться!).

Но этому моему подневольному и порой очень тягостному «домоседству» я все-таки стараюсь противопоставить так сказать «духовную подвижность»: по мере сил помогаю жене в ее профессорской деятельности, много читаю, а иногда мысленно скитаюсь по не совсем еще затерянным путям моей собственной прожитой жизни.

К счастью, у меня есть о чем вспомнить и есть что заново пересмотреть.

Дорогая Анна Александровна, это письмо, вероятно, попадет в ваши руки в конце декабря.

Поэтому я заранее поздравляю вас с Новым Годом (с предстоящим!) и от всего сердца шлю самые горячие и самые лучшие пожелания!

Хотел бы сделать вам подарок, но не знаю какой. Пожалуйста, напишите — чем я мог бы вас хоть немножко поразвлекать?

А пока посылаю вам на дружеский суд несколько снимков моих скульптур по дереву (в недавнем прошлом они выставлялись мной в Парижских галереях). Не удивляйтесь имени, помеченному на этом небольшом «проспекте» — Louis Cordé — это мое второе (партийное!) имя,

с которым связаны многие важные, я сказал бы даже — узловы́е этапы моей судьбы.

Но об этом, как-нибудь — в следующий раз.

Крепко обнимаю!

Родзевич-Кордэ.

Р. S. Я получил письмо от товарища Н. В. Шахаловой, в котором она сообщает мне, что некоторые мои рисунки, посвященные М. Ц., приняты Государственным литературным музеем. Очень этому рад!

А что случилось с материалами, которые я — в начале 60 — 70-десятых годов — переслал Ариадне Сергеевне Эфрон (письмами, рукописями, рисунками и т. д.) —

Были ли они, как это предполагалось, переданы в посмертный писательский архив Марины Цветаевой?

Если что-нибудь знаете об этом — напишите.

КР».

О деревянных скульптурах Константина Болеславовича — речь особая. Прежде всего, — это единственный скульптурный «портрет» Марины Цветаевой. Я бы назвала ее Сивиллой, выросшей из дерева, из ствола. У меня есть цветные и черно-белый снимки этой скульптуры, сделанные в различных ракурсах. Где теперь оригинал, сохранился ли он?..

Прислал мне Константин Болеславович также каталог своей парижской выставки скульптур: «Sculptures in Wood by Louis Cordé», — и часто посылал в письмах отдельные снимки своих работ. Вот некоторые: «Огонь», «Рыбы», «Сатир», «Лисица», «Вьетнамская женщина», «Воскрешение», «Ведьма»,

«Разбуженный», «Огонь жизни» — все эти скульптуры воспроизведены в каталоге. А кроме того, часто я получала снимки скульптур, которые К. Б. Родзевич посылал в письмах.

«28 января 1978

Дорогая Анна Александровна,

Спасибо за ваше хорошее письмо от 28-XII-77. И за очень порадовавшие меня подарки. С вашим дружеским участием я вступил в Новый Год в отличном расположении духа. Постараюсь не терять этой «бодрой формы» («garder la bonne forme!») и в течение всего предстоящего зимнего месяца (холодного, ветреного и сырого!) — Ну, а если доберусь до весны — тогда наряду с другими буду опять радоваться жизни.

Кстати сказать, эта будущая весна обещает принести большие перемены на французской политической арене. Парламентские выборы, которые должны состояться в марте, будут, вероятно, выиграны социал-демократами.

Это, конечно, не приведет еще к резкому повороту влево, но все-таки намного расчистит удушливую и лицемерную атмосферу, царящую здесь при ныне господствующем правом большинстве.

Однако покончим с вопросами о политике — ведь письмо мое не газетная передовица! Вернемся, как говорят французы — «к нашим барашкам» («revenons à nos moutons!») — т. е. к нашей частной, повседневной жизни.

У меня, к счастью, все обстоит благополучно. Без заметных перемен и без заслуживающих особого внимания событий. Я по-прежнему «ассистирую» мою жену в ее научных трудах (по французскому школьному образова-

нию), занимаюсь чтением, рисованием и скульптурой (в очень миниатюрных масштабах), а по воскресным дням хожу гулять в Люксембургском саду.

В последнее время на меня нашло наваждение — увлекся переводами стихов моих любимых немецких поэтов. — Посылаю вам черновики двух моих переводов. Они далеко не удачные, но над ними я поработал не без удовольствия. Может быть, в следующий раз я добьюсь лучших результатов.

Это все, что я могу сейчас рассказать вам о себе. Как видите, я во многом повторяюсь.

Что же касается вашей просьбы — кратко обрисовать образ Марины Цветаевой, каким он представляется мне в моих глазах — тут я беспомощно пасую!

Личность М. Ц. настолько широка, богата и противоречива, что охватить ее в немногих словах для меня совершенно немыслимо!

Очень хорошо она сказала о себе сама:

«Восхищенной и восхищённой
Сны видящей средь бела дня,
Все спящей видели меня,
Никто меня не видел сонной».

— такой она являла себя и за своим письменным столом, и в своих далеких и одиноких прогулках...

Но с какой готовностью и с каким неослабным вниманием участвовала она в беседах!

И как живо и остро восставала она против всего, что шло наперекор ее жаркому правдолюбию.

Еще одно замечание: в произведениях М. Ц. нередко слышатся трагические ноты — отзвук ее тяжелой, разбитой и неустроенной судьбы.

По существу же у М. Ц. светлый, страстный и жизнеутверждающий характер.

Не это ли роднит все творчество М. Ц. с народным эпосом, с народной стихией стиха и слова...

Ну вот, мой ответ, который, согласно с вашими пожеланиями, должен был быть сжатым и «спонтанным», — я растянул на целую страницу.

Простите, не сумел иначе!

До свидания, дорогая Анна Александровна!

Крепко вас обнимаю!

Когда найдете свободную минутку — пишите!

КРодзевич

К письму приложены переводы:

Rainer Maria Rilke — «Das Karussell»

(jardin du Luxembourg)

(ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО)

КАРУСЕЛЬ (ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ САД)

Под круглой крышей, где и тень, и краски,
Мирок лошадок пестрых заведен.

Они бегут и исчезают в пляске

И снова тут, как неотвязный сон.

Одни из них запряжены в коляски,

Но вид у всех, как на показ, спесивый,

Вслед красный лев трясет сердито гривой,

А вот идет вдогонку белый слон...

Здесь и олень, он как в лесу живой,

На нем в седле девочка голубая

От счастья машет трепетной рукой...

Вот белый мальчик в страхе стиснул губы,

На спину льва шутя взобрался он,

А лев бежит, оскалив злобно зубы...

А вот идет вдогонку белый слон

.

Не уловить всех жестов, всех повадок,
 Веселый бег заворожил ребят,
 Но те, что старше, томно вдаль глядят,
 Превыше здесь танцующих лошадок...

А вот идет вдогонку белый слон...

И все спешит, стремится, пробегает,
 Все кружится без цели, без конца,
 Вот красный, серый, синий цвет мелькает,
 Вот легкий профиль юного лица,
 А вот улыбка нежная сверкает,
 Спит глаза и вдруг мгновенно тает,
 Лихой игрой разволновал сердца...

Rainer Maria Rilke — «Herbsttag»

(ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО)

ОСЕННИЙ ДЕНЬ

Господь: пора. Окончен лета зной.
 Пускай кругом опять густеют тени.
 И слышится осенних ветров вой.

Минувших дней вернуть нам не дано.
 Но дай теплу на краткий срок продлиться,
 Позволь плодам всей сладостью налиться,
 Чтоб щедрым стало новое вино.

Кто кинул кров, тому весь век блуждать.
 Кто одинок, тому лишь с горем знаться,
 Грустить, мечтать, над книгой забываться,
 Не ведать сна, шальные письма слать
 И по путям заброшенным скитаться.

В одном из более поздних писем К. Б. Родзевич прислал еще один перевод:

Rainer Maria Rilke — «Vorgefuhl»

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Я словно флаг, на высоту подъятый,
 Я чую ветра дальние раскаты,
 Когда внизу все спит еще устало:
 Бесшумны двери, не дрожит окно,
 Камин погасший замолчал давно
 И вещи крыты пылью залежалой.
 Мне ж выпал жребий с бурей потягаться,
 Вздвигаться, падать, а потом опять
 В себе самом, как в море, утопать
 И до конца самим собой остаться,



Герой поэм — переводчик Рильке! Это было невероятно. Конечно, отзыв мой мог быть только похвальным.

«7 апреля 1978 г.

Простите меня, дорогая Анна Александровна, за то, что я отвечаю вам с таким большим опозданием: сначала был очень занят (помогал моей жене по подготовке к изданию ее новой книги), а потом на долгие недели беспомощно раскис из-за дурных климатических условий.

Rainer-Maria Rilke - "Vorgefühl"

Предчувствие

Я словно флаг, на высоту подымаю,
Я тую вохра дальние раскаты,
Когда внизу всё спит еще уснуло:

Тясицаны двора, не дрожи око,
Камни повисший замочкай девко
И вещи крошки пылью заледяной.

Мне же вытан жеребий с дурей порзается
Вздыхаться, падаю, а тогда отидь
В себе сама, как в море, утонушь
И до конца самим собой остаешься.

Вопреки календарным датам, весна у нас в Париже все еще не вступила в свои права. До последнего времени здесь держалась отвратительная погода, подавлявшая меня и физически, и морально.

Конечно, мне — бывшему моряку, бывшему участнику четырех войн и бывшему спутнику двух с половиной революций* — не годится впадать в убожество только потому, что плох́а погода! —

Но в том-то и состоит теперь моя беда, что говоря о себе, мне все чаще приходится пользоваться не всегда утешительным словом «бывший»...

Спасибо за ваше хорошее письмо и за все приложенные к нему материалы, подбор которых, вероятно, потребовал от вас немало часов и усилий.

Очень горжусь вашим одобрительным отзывом о моих переводах Рильке. Оказывается, эти мои случайные литературные упражнения и вправду могут поравняться с переводами, сделанными настоящими профессионалами.

Меня порадовало сообщение о состоявшемся недавно в Москве и посвященном М. Ц. литературном вечере, который, по вашим словам, собрал многочисленную аудиторию и прошел с большим успехом.

Но признаюсь, — присланные вами мне стихи Беллы Ахмадулиной до меня не дошли: —

* Впрочем вам неизвестна моя уже очень длинная и довольно заполненная биография!

Я заблудился в непроходимой чаще слов, образов и ассоциаций... Против многого внутренне восстал*, многого попросту не понял и, прочитав стихи до конца, горько затосковал по ясности, по умеренности, по высокой простоте...

Посылаю вам со своей стороны кой-какие материалы и среди них выдержку из работ Али, касающихся литературного наследия М. Ц.

Эта выдержка вам, вероятно, уже давно известна, но мне захотелось еще раз привлечь к ней ваше внимание.

М. Ц. — признанный поэт. Но до сих пор еще бытуют мнения, рисующие М. Ц. как поэта чисто лирического склада, как поэта, творчество которого было предельно насыщено только личными переживаниями. Вот против этих неверных мнений и выступает Аля, убедительно показывающая, на какой широкой народной базе воздвигнута значительная часть произведений М. Ц.

До свиданья, дорогая Анна Александровна!

Будьте здоровы, преуспевайте в работе, но и не перегружайте себя трудом.

Напишите мне, когда и куда собираетесь вы отправиться на летний отдых.

Крепко и нежно вас обнимаю!

КРодзевич.

* Я не принимаю «Елабугу» как какой-то роковой символ, как неотвратимое завершение изначально намеченного пути. Нет, Елабуга — это ужасная катастрофа, обрушившаяся на плечи М. Ц. по причинам, лежавшим вне ее воли и подорвавшим ее волю... Скажу еще — «опоэтизированное» изображение акта самоубийства представляется мне не в меру выпяренным и, если хотите, даже бестактным!

Константин Болеславович волнуется, что мое письмо задерживается:

«7 июня 1978 г.

Вы до сих пор не откликнулись на мое последнее письмо, посланное вам в самом начале апреля. Я, конечно, не собираюсь попрекать вас за это, — у вас свой собственный круг интересов, свои каждодневные заботы и дела.

Но мне становится грустно от вашего долгого молчания и порой меня даже охватывает беспокойство: как вам живется, дорогая Анна Александровна? Как ваше здоровье? Все ли у вас благополучно? —

Если найдете свободную минутку, порауйте меня хотя бы коротенькой открыткой.

Итак, до скорого свиданья!

Крепко вас обнимаю.

К. Родзевич.

Р. S. А вот снимок с цветов, которые я мысленно приношу вам в подарок!»*

Константин Болеславович и сам задержался с ответом: он уезжал в Германию; его вторая жена — ее фамилия Бергер, — была немецкой еврейкой. По-русски она не говорила; должно быть, поэтому Константин Болеславович искал повода чаще писать в Россию.

* В письмо была вложена фотография двух алых роз.

«4 сентября 1978

Дорогая Анна Александровна,

На днях я вернулся в Париж после моего месячного пребывания в немецком «Шварцвальде».

В скопившейся за это время у меня дома личной корреспонденции я нашел вызов на почту для получения пришедшего из Москвы заказного письма. Но увы! — на почте этого письма уже не оказалось — из-за моего долгого отсутствия оно было переправлено обратно в Москву, на имя отправителя.

Предполагаю, что дело идет о вашем ко мне письме, а потому очень огорчен всей этой почтовой неразберихой. Пожалуйста, найдите поскорей свободную минутку, переложите письмо в новый конверт и не покуситесь на новые почтовые марки. Я не успокоюсь, пока злополучное письмо не попадет наконец в мои руки.

Мои каникулы в Германии прошли очень удачно. Почти все время стояла отличная погода, что позволило мне и вдоволь нагуляться по животворным лесным дорожкам, и вволю надышаться пропитанным хвоей воздухом. Теперь как будто я подкопил немножко свежих сил, чтобы вновь окунуться в мое прежнее парижское существование. Существование не особенно приятное ни по своим «экологическим» условиям, ни по своей бытовой обстановке. Опять придется приспособляться и к запаху бензина, и к уличной суетлоке, и шумихе.

По тому, что вы писали мне в последний раз, я вижу, что и вам уже давно пора хотя бы на краткий срок отложить вашу увлекательную, но ох! какую беспокойную

московскую работу. От всего сердца желаю вам скорейшего осуществления всех задуманных вами отдохновительных поездок.

Счастливого пути!

Крепко вас обнимаю!

КРодзевич.

Р. С. У меня к вам небольшая просьба: напишите мне, как называется сборник избранных стихов Ярослава Смелякова, в каком году он издан и в каком издательстве.

Мне хочется выписать этот сборник через русский книжный магазин в Париже (Le Globe). Заранее благодарю вас за эту справку!»

Не помню, о каком сборнике Я. Смелякова (который я, конечно же, послала Константину Болеславовичу), шла речь. А до этого я отправила ему «Вопросы литературы», № 4 за 1978 год, с перепиской Цветаевой, Рильке и Пастернака. Тогда же, вероятно, я сделала первые попытки попросить Константина Болеславовича сообщить хотя бы краткие сведения о своей жизни. Ответом на все это и стали два последующих письма.

«Париж — 28 сентября 1978 г.

Дорогая Анна Александровна,

Очень рад, что возникшая между нами почтовая неразрядица благополучно уладилась.

Ваше «заблудившееся» письмо, вновь направленное ко мне Розой из Тулузы, — у меня на руках!

А вам теперь уже, должно быть, известно, что я все еще не покинул этого грешного мира и до сих пор нахожусь в Париже, на прежнем месте!

Итак, давайте продолжим нашу беседу, только временно прерванную в силу независящих от нас обстоятельств.

Вы пишете, что в советской печати — в одной из книг, посвященных Пастернаку, — опубликованы кое-какие биографические справки обо мне. По вашим словам, в этих справках вместе с правдивой информацией допущены и досужие измышления. Каково мое мнение на этот счет?

— Правда то, что я служил на советском красном флоте и был командиром Нижнеднепровской советской красной флотилии.

— Правда также, что под конец гражданской войны я угодил в плен к белым.

— Но то, что я поддался увещаниям добровольческого генерала Слащева, — сплошная ерунда! —

Дело обстояло тогда совсем по-другому! Ведь в справках обо мне речь идет о том случайном времени, когда сплошь да рядом возникали самые непредвиденные и запутанные ситуации. — Порой и мне приходилось тогда разыгрывать роли, являвшиеся только внешним прикрытием и имевшие в действительности другие — скрытые предназначения...

Вот беглые объяснения по моему личному вопросу. Они, конечно, слишком краткие и очень выиграли бы от дальнейших подробностей. Но, увы, — как вы сами понимаете — в письме всего не расскажешь!

Ах, как жаль, что нам не представился случай встретиться друг с другом и с глазу на глаз вволю наговориться!

Большое спасибо за присланный вами журнал «Вопросы литературы». Я не без интереса прочитал выдержки из переписки — Рильке — Цветаевой — Пастернака (о которой уже раньше слышал со слов самой М. Ц.). —

Что можно сказать об этой напряженной, замысловатой и порой доходящей даже до экзальтации переписке?

Она, конечно, грешит чрезмерной отвлеченностью. Но в ней все же затрагиваются вопросы, не утратившие до сих пор своего значения. И в ней отражены переживания, которые и сейчас живо хватают за сердце!..

Мне кажется, что эта переписка найдет широкий отклик у читающей публики, потому что число поклонников поэзии Пастернака и М. Цветаевой непрерывно возрастает.

По этому поводу позвольте привести вам небольшую выдержку из статьи некоего Евг. Богата, помещенной в одном из последних номеров Лит. Газеты*. Вот она:

...«Стихи Пастернака, которые рассматривались как нечто элитарное и труднодостижимое, читаются сегодня сотнями тысяч. Стихи Марины Цветаевой молодежь сегодня поет. Трудное становится общедоступным, элитарное — популярным, а мы часто не учитываем этого!..»

Не правда ли — верно сказано! —

Всего хорошего, дорогая Анна Александровна!

Будьте здоровы и счастливы и давайте почаще о себе знать — это приносит мне такую большую радость!

КРодзевич.

Р. С. Мне подарили книгу Ольги Ивинской (Otage de l'Eternité)**, переведенную на французский язык.

В ней я нашел несколько строк, касающихся меня. Кроме некоторых маловажных неточностей — все в этих строках вполне приемлемо.

* Богат В. «Дойти до самой сути» — Литературная газета, № 32 от 9 августа 1978 г. — стр. 6.

** «Заложник вечности» (*фр.*).

Автор сопровождает мое имя следующими лестными словами: — ...«Mr. K. B. R., qui fut par la suite un héros de la guerre civile en Espagne et de la Résistance française»*

Спасибо автору: даваемая им характеристика освобождает меня от смущения быть упомянутым рядом с Мариной.

Р. Р. S. Книгу «Мой Пушкин» мне *не* посылайте. Она у меня есть!

КР».

«15 октября 1978 г.

Дорогая Анна Александровна,

Я просил у вас справку о книге, а вы прислали мне саму книгу (Я. Смелякова) —

Очень смущен (и признаюсь — обрадован!) вашим великодушным жестом.

Чем бы я мог вас отблагодарить?

Желаю вам длинного, приятного и животворного отдыха!

Крепко обнимаю!

КРодзевич».

В то время я работала над составлением и комментированием долгожданного издания, о котором мы с Ариадной Сергеевной хлопотали долгие годы и осуществления которого она так и не дождалась: над «Сочинениями Марины Цветаевой» в двух томах. Мне хотелось, чтобы комментарии к двухтом-

* К. Б. Р(одзевич), который является героем гражданской войны в Испании и французского Сопротивления (фр.).

нику были как можно интереснее, чтобы они читались не как пояснения, примечания к текстам, а как последовательное повествование, рассказывающее о жизни и творчестве поэта. И, в частности: я мечтала, чтобы люди узнали наконец подробнее о легендарном герое цветаевских «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца». Я спросила Константина Болеславовича, согласен ли он, чтобы я написала о нем, и если — да, то не поможет ли он мне в этом, не напишет ли о себе.

В ответ я получила конверт, в который была вложена фотография его скульптуры под названием «Огонь». На обороте карандашом были нарисованы два дубовых листка и крупными буквами написано: «ДА!» Дата — 17 novembre 78.

Следом пришло письмо:

«22 ноября 1978 г. — Париж

Дорогая Анна Александровна,

Я уже сказал вам «да» на поставленный мне вами вопрос.

Теперь, когда в новых книгах, посвященных Марине Цветаевой, кое-что говорится и обо мне (с полным обозначением моего имени), было бы нелепо блести «incognito».

Я согласен — пишите на мой счет все, что вам хочется написать. Только ради Бога, не выставляйте меня сторонником «белых»: под господством «белых» мне приходилось порой находиться, но я никогда не стоял в действительности на их стороне.

Моя долгая жизнь переполнена множеством событий, впечатлений и увлечений. Чтобы отдать о ней полный и правдивый отчет, понадобились бы многие страницы. К тому же был бы нужен настоящий повествовательный талант, которого у меня нет.

По этим причинам я сообщаю вам (в моем следующем письме) только основные моменты моего жизненного пути.

Предоставляю вам самой выбрать из моего краткого рассказа все то, что вы найдете заслуживающим внимания. Напоминаю вам, что обо мне уже писали:

- 1) Анастасия Цветаева — «Новый Мир» — 1966 — № 2 — стр. 123.
- 2) Ариадна Эфрон — «Звезда» — 1975 — № 6 — стр. 179.
- 3) Ольга Ивинская — в своей книге, посвященной Пастернаку.

Всего хорошего! Крепко обнимаю!

КРодзевич.

Приложение: 4 копии документов

Р. S. Пожалуйста, подтвердите мне получение вами этого письма».

Какие же документы прислал мне Константин Болеславович?



Всего их было пять:

студенческое удостоверение юридического факультета Карлова университета в Праге; выдано в 1922 году;

студенческое удостоверение факультета права Парижского университета — 1927 г.;

удостоверение, выданное Испанской республикой (со штампом Интернациональной бригады)

на имя Кордэ-Авера; выдано в 1937 г.; там возраст героя уменьшен на три года и указано, что он уроженец Испании.

FILIACION		NOMBRAMIENTOS	
	Estatura _____	Grado <i>Comandante</i>	
	Pelo _____	Empleo _____	
	Ojos _____	Nombrado dia <i>3. I. 1937</i>	
	Cara _____	visado el _____	COMANDO FGR
	Nombre _____	Comandante _____	
	Particulares _____		
	(Firma del interesado)		
Fecha de nacimiento <i>18. 5. 1888</i>			
Lugar de nacimiento <i>Francia</i>			
Nacionalidad <i>Española</i>			
Profesion <i>N. C. bar</i>			
Estado civil <i>Soltero</i>			
DOMICILIO: Pais <i>España</i>			
Pueblo <i>Benimamet, Valencia</i>			
Calle _____ num. _____			
Partido Político <i>Anti-fascista</i>			
Fecha de entrada en las B. I. <i>30. I. 1937</i>			
Fecha de entrega de la libreta <i>18. IV. 1937. 4.</i>			

- 2 -

- 3 -

Удостоверение К. Родзевича — участника войны в Испании. Дата его рождения указана неверно (на самом деле — 1885 г.)

Наконец, два свидетельства, выданные во Франции в 1948 году, подтверждающие участие К. Б. Родзевича в Сопротивлении, аресте его в нояб-

ре 1942 года и депортации в Берлин в январе 43-го и освобождении в мае 45-го.

Таков был «костяк» биографии. Следом пришел пакет:

«Краткий биографический очерк*

Я родился 2-го ноября 1895 года в Ленинграде. Мой отец, человек либеральных взглядов, был, по своей профессии, военным врачом. В начале первой мировой войны он управлял медицинским отделом юго-западного фронта, которым командовал в то время генерал Брусилов. Он умер в 1916 году.

По окончании среднего образования (в Люблине — 1913 г.) я поступил в университет — сначала на математический, а потом на юридический факультет (Варшава, Киев, Ленинград). Но курса университетского учения не закончил, так как из-за патриотических побуждений решил добровольно пойти на военную службу.

В середине 1917 года я был назначен мичманом на Черноморский флот.

Передо мной развернулся тогда целый ряд быстро сменяющихся политических ситуаций:

- и немецкая оккупация Крыма,
- и короткий период реакционного Гетманского режима, извне навязанного Украине,
- и переменчивый исход борьбы против белых,
- и неослабное отражение коммунистами всех попыток иностранной интервенции...

В течение всего этого времени я служил на флоте:

* Этот текст воспроизведен в моей книге «Марина Цветаева. Жизнь и творчество». Считаю, однако уместным дать его еще раз (примеч. автора).

- как младший офицер на военных кораблях,
- как комендант Одесского красного порта,
- как один из командующих Нижнеднепровской красной флотилии.

Под конец гражданской войны я, по несчастью, угодил в плен к белым, в зоне которых мне пришлось оставаться до полной победы большевиков.

В начале 20-х годов я уехал в Прагу, получив (наряду со многими другими русскими офицерами) стипендию со стороны Чехословацкого правительства для обучения в университете.

Мое двухлетнее пребывание в Праге позволило мне пройти целый курс юридических дисциплин, получить соответствующий диплом и даже быть предназначенным к дальнейшей научной работе в области публичного права. Но этим перспективам не суждено было осуществиться. Моя последующая судьба сложилась иначе.

Покинув Прагу, я с 1926 года обосновался в Париже. Сначала был студентом на юридическом факультете парижской Сорбонны (для соискания докторского титула), а потом забросил свое учение и — (под псевдонимом «Луи Кордэ (Louis Cordé)» — втянулся в активную политическую борьбу на стороне левых французских группировок.

При образовании во Франции правительства Народного Фронта я сотрудничал в так называемой «Ассоциации Революционных Писателей и Артистов» («А. Е. А. Р.»), объединявшей наиболее выдающихся представителей французского литературного и артистического мира (как-то: Барбюс, Арагон, Нидан, Элюар, Вайян-Кутюрье, Пикассо и пр. и пр.). Главной задачей этой ассоциации было возможно более тесное сближение творческой интеллигенции с рабочим классом.

В 1936 году, когда за Пиренеями вспыхнуло восстание генерала Франко, я из «Луи Кордэ» превратился в «Луис'а Кордес'а» («Luis Cordes») и поставил себя в полное распоряжение республиканской Испании.

Принял участие (при поддержке Андрэ Мальро) в выполнении «Интернациональных Бригад» военными специалистами, а потом сам командовал отдельным батальоном «подрывников» («dinamiteros»), сплоченным из воинов, принадлежащих к различным народам, но объединенных единой антифашистской идеологией.

После крушения Испанской Республики я снова вернулся в Париж к моим прежним повседневным занятиям. Но мое мирное существование продолжалось недолго: грянула вторая мировая война, уже ранее зачатая фашистами, и, когда Франция оказалась оккупированной немецкими войсками, я вступил в ряды французского Сопротивления.

В 1943 году я был арестован и сослан в немецкие концентрационные лагеря (Ораниенбург, Кюстрин, Берген-Бельзен и др.). Там, в этих лагерях, вопреки ужасающей обстановке, на всех «сопротивленцах» лежала обязанность по возможности отстаивать моральную выдержку, а иногда и попросту жизнь заключенных.

В мае 1945 года меня освободила победоносная русская армия — в немецком городе Росток (Rostock), куда я был загнан обращенными в бегство вожаками лагерей. После короткой передышки мне опять удалось пригрести в Париж — к моим прежним боевым товарищам по сопротивленческому движению.

Два следующих года я должен был лечиться (во Франции и в Швейцарии) от полученных мной в лагерях тяжелых недугов.

А потом я возобновил мою постоянную жизнь в Париже, совмещая мои личные интересы со стоявшей на очереди политической работой.

Тогда же, вступив в устойчивый послевоенный период, я испробовал мои силы в скульптуре. Это было своего рода возвращение к моему далекому прошлому, так как уже в моей ранней юности я мечтал об артистической карьере.

Признаюсь, славы на этом новом поприще я достичь не сумел, но некоторых уважительных результатов как-никак добился: мои вырезанные по дереву «произведения» выставлялись во многих художественных галереях Парижа (даже в изысканном «Grand Palais») и иногда (о, непреложный знак успеха!) приносили мне поощрительный денежный доход.

В заключение должен подчеркнуть: хотя большая часть моей жизни протекла за границей, моя идейная и эмоциональная связь с Родиной никогда не прерывалась.

Теперь мне исполнилось 83 года. Это возраст, когда, как полагается, уже давно пора уходить на покой. Но все ли удастся на склоне лет достигнуть душевного покоя?

Кто-то очень правильно сказал: трагедия старости не в том, что ты стареешь, а в том, что ты остаешься молодым.

В конце этого краткого биографического очерка мне хочется сделать еще несколько замечаний, касающихся моего пражского отрезка жизни, знаменательного для меня по особой причине.

Там, в Праге, произошла моя встреча с Мариной Цветаевой, память о которой я бережно пронршу сквозь все нарастающую гущу времен.

Наша любовь и наша разлука живо отражены в стихах и поэмах самой Марины Цветаевой. Поэтому я воздержусь от всяких комментариев. Можно ли заурядными словами передать то, что уже стало достоянием поэзии?

Ноябрь 1978 г.»

«25 декабря 1978 г.

С предстоящим Новым Годом!

Дорогая Анна Александровна,

желаю вам от всего сердца полного успеха в работе и всяческих радостей в часы отдохновения.

Не забывайте меня и когда найдется время — пишите! Крепко вас обнимаю

КРодзевич.

P. S. Надеюсь, что посланный мной вам «Краткий биографический очерк» не подорвал вашего доброго мнения обо мне.

Есть ли у вас особые вопросы?

КР».

На другой стороне поздравления — фотография розы: нежно-розовый цветок.

Но прежде чем я успела ответить Константину Болеславовичу, от него внезапно и скоро пришел новый пакет. В нем было три послания: копия письма к нему корреспондентки из Ленинграда, ответ Родзевича и его записка ко мне. Корреспондентка обращалась к Константину Болеславовичу в связи с ее исследовательской работой, посвященной жизни и творчеству Марины Цветаевой. В частности, она хотела получить его «комментарий», «простой

биографический подстрочник» к «Поэме Горы» и «Поэме Конца»: «когда, как, где именно» он познакомился с Цветаевой, «насколько верен действительности» диалог в «Поэме Конца», произошел ли реальный их разрыв к концу 1923 — началу 1924 года, или же «до конца было еще очень далеко». И что сказал бы Константин Болеславович теперь, спустя много лет, о причинах расставания. Извиняясь за свои, так сказать, рискованные вопросы, корреспондентка резонно замечала, что лучше, если жизненный «комментарий» к цветаевским творениям будет сделан героем поэм, нежели — впоследствии — все это будут домысливать лица сомнительные и посторонние. Кроме того, корреспондентка задавала вопросы, связанные с судьбой Родзевича, когда он попал в Чехию, принимал ли участие в чешской прессе, когда переехал в Париж; как сложилась его жизнь до Испании, был ли в Испании Сергей Эфрон...

Константин Болеславович отнесся к письму на удивление резко. Оставив абсолютно без внимания последние вопросы, почти напрочь отбросив всякую «элегантность», он писал, что «биографический подстрочник» «никому не нужен и на деле он может очень легко соскользнуть к бестактности».

«Ну скажите — кому придет в голову интересоваться тем, проживал ли я в самой Праге или в ее предместье?..

И для чего я призван вами уточнять — где, когда и при каких обстоятельствах происходили мои встречи с Мариной?.. — Нет, не надо никаких побочных комментариев, — ни бытовых, ни географических, ни календарных!

Пусть стихи и поэмы Марины Цветаевой говорят сами за себя. Пусть их яркое и непреложное свидетельство остается выше всех житейских мелочей и всяких подсобных истолкований.

Не толкайте читателя в преходящую повседневность («жизнь как она есть»), позвольте ему нерушимо пребывать в нетленном мире, преображенном поэзией».

Впрочем, письмо кончалось весьма учтиво. (Я не упомянула, что в начале письма, изрядно путая факты, Константин Болеславович советовал корреспондентке обращаться ко мне, так как мне, по его мнению, хорошо известна его жизнь.)

В записке ко мне он просил меня постараться «охладить эту беспокойную поклонницу Марины Цветаевой».

Разумеется, я не стала вмешиваться в эту историю и отправила Константину Болеславовичу нейтральное письмо, выражая вежливое согласие с его точкой зрения. А что еще я могла сказать?

Тем более, что его «Краткий биографический очерк» показался мне настолько «обтекаемым» и чуть ли не «просоветским» (вплоть до слов о том, что он родился... в *Ленинграде!*), что было бы просто бессмысленно выпытывать у автора то, о чем он умолчал. Ибо К. Б., казалось бы, сообщивший немало фактов, ухитрился, однако, при этом умолчать

о многом на поворотах своей судьбы. В его автобиографии я узнала стиль, столь привычный по нашим газетным статьям: обход острых проблем, закругленность, зацементированность формулировок, между которыми уже нельзя было вставить ни вопроса, ни уточнения. Только тогда я начала догадываться (очень смутно) о прошлом К. Б., связанном с его тайной службой в пользу «Страны Советов».

Но все это оставалось «за сценой», «за кадром», и, признаться, в ту пору не особенно меня интересовало, — да просто ничего и не могло быть известно. Мне для Цветаевского двухтомника необходимо было получить краткую канву жизни героя «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца».

Составив из «Краткого биографического очерка» предварительный комментарий, я отправила его на суд автору.

«12 февраля 1979 г.

Дорогая Анна Александровна,

Я получил от вас два письма и еще один ценный подарок — «Альманах поэзии 1978», в котором помещена ваша отличная вступительная статья к стихам М. Цветаевой.

В ответ на ваше первое письмо (от 23.1.79) я могу только сказать, что меня глубоко обрадовало наше с вами единомыслие.

Об «Альманаше» напишу подробнее, когда ближе у ним ознакомлюсь.

А сегодня спешу ответить на ваше второе письмо (от 4.2.79), в котором вы послали мне «текст» комментариев, подлежащих опубликованию в новой книге стихов М. Ц.

Так как вы сами считаете этот «текст» только «приблизительным», я внес в него кой-какие изменения, против которых вы, вероятно, не станете возражать.

Я, конечно, понимаю, что окончательная форма «текста» будет зависеть от решения издательства. Но мне очень хотелось бы, чтобы моя редакция комментариев оказалась приемлемой.

Пожалуйста, подтвердите мне получение вами этого письма.

Крепко вас обнимаю.

Цыц! Больше не хворать!!

К.Родзевич.

Приложение: Комментарии».

Эти «Комментарии» начинались словами: «Герой «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца» (как и ряда других стихов Марины Цветаевой) был Константин Болеславович Родзевич...» и представляли собой сокращенный автобиографический очерк. Я частично использовала их в своих комментариях к нескольким изданиям Цветаевой.

«2 марта 79 г.

Дорогая Анна Александровна,

Сегодня получил ваше письмо от 22-го февраля с. г. — Итак, в вашем распоряжении имеются теперь: и моя довольно подробная биография, и соответствующие этой биографии документы, и проект «текста» подлежащих опубликованию комментариев. — Устанавливайте сами,

по вашему усмотрению и по согласию с издательством, окончательный «текст». (Вы можете, конечно, внести в мою редакцию и нужные сокращения, и стилистические поправки — но, пожалуйста, сохраните суть!)

Отвечаю на ваши вопросы, касающиеся Сергея Яковлевича:

1) Приехав за границу в качестве эмигранта (он воевал в Добровольческой армии), С(ергей) Я(ковлевич) вскоре *открыто* отказался от своих прежних политических позиций и стал горячим сторонником Советского Союза.

2) Во французскую компартию *не вступал*, но придерживался «левых» убеждений.

3) В Испании *не был* в силу личных и семейных обстоятельств, хотя и полностью сочувствовал борьбе Интернациональных Бригад.

Спешу отправить это письмо, а потому нашу не деловую, а дружескую беседу откладываю до следующего раза.

Желаю успеха в работе и нового притока и телесных, и духовных сил!

Крепко обнимаю!

КРодзевич.

P. S. Я сам работал прежде во *французской* компартии, а теперь по старости лет стал беспартийным».

Комментарий К. Б. Родзевича пошел в набор почти без изменений.

Теперь, по-видимому, деловая часть нашего эпистолярного общения подходила к концу. Я понимала, что ожидать от Константина Болеславовича новых воспоминаний не приходится, и ни о чем его не спрашивала и не просила. Однако наша дружеская переписка еще продолжалась.

«25 июня 1979. Париж»

Дорогая Анна Александровна,

Давно не получал от вас никаких известий.—Группу!—Вопрошаю!—Беспокоюсь!—Найдите поскорей свободную минутку, чтобы хотя бы несколькими словами рассеять мою тревогу. Как ваше здоровье?—Удачно ли складываются предпринятые вами дела? Каковы ваши планы на предстоящие каникулы?..

У меня все пока в относительном порядке. Стойко перетерпев и суровость прошлой зимы, и все капризы недавней весенней погоды, я особенно радуюсь теперь наступившему лету.

Уезжать никуда не собираюсь, так как строгий медицинский режим привязывает меня к дому.

Грядущие дни я буду по-прежнему коротать в Париже, пополняя своей собственной фантазией однообразие внешних обстоятельств.

Пожалуйста, не приостанавливайте надолго происходящей между нами переписки.

Каждое ваше новое письмо для меня как бы сближающее нас со-бытие. Почти что живая встреча, от которой становится тепло на сердце.

Итак, до скорого свидания!

Дружески вас обнимаю!

КРодзевич».

«24 июля 1979»

Дорогая Анна Александровна, несмотря на мои настойчивые просьбы (два письма!), я все еще не получил от вас в ответ ни единого слова. Почему? Это, конечно,

не просто упрек, а новое выражение моего растущего беспокойства. Где вы? Что с вами? Каковы причины вашего долгого молчания?

Пожалуйста, пришлите поскорей хотя бы коротенькую открытку — из сострадания ко мне!!

Крепко обнимаю

КРодзевич».

«26 июля 79.

Ура! Ура! — Это просто телепатия: вчера я послал вам свою слезную открытку, а сегодня мне вручили ваше письмо (от 18.7.79), полное радостных известий и дружеского сочувствия. Спешу оповестить вас о нашей восстановившейся почтовой связи. На днях напишу вам подробнее.

Крепко и нежно обнимаю!

КРодзевич».

(Последние два послания были написаны на карточках-открытках с фотографиями деревянных скульптур К. Б.)

«5 сентября 79.

Дорогая Анна Александровна,

Ваша подруга, Chislaine Limont, с которой вы встретились в Москве (о, как я завидую ей в этой встрече!), известила меня недавно по телефону из Лиона, что вы встревожены моим долгим молчанием. Спасибо за этот новый знак вашей дружбы и вашего внимания ко мне.

Я не писал вам потому, что тяжело хворал. И только несколько дней прошло с тех пор, как моя болезнь полегчала. Увы! — Она и теперь еще не позволяет мне послать вам желанное мною письмо. Тем не менее я прошу вас

не тревожиться—у меня есть уже надежда, что такое письмо окажется вскоре в ваших руках.

А вот эту краткую «весточку жизни» я заканчиваю словами, лежащими в глубине моего сердца,—

Я счастлив, что встретился с вами на моем пути!—

КРодзевич.

В это письмо была вложена фотография автора: элегантный пожилой человек в модной кепке, клетчатой рубашке и небрежно расстегнутом пальто, стоящий посреди парижской улицы. На обороте—надпись:

5 сентября 1922.

*Колёса качаются,
Годы трачутся —
Теперь я стар,
И дрожи, и сед...*

(Надпись эта не соответствовала тому, я бы сказала, восторженному впечатлению, которое произвела фотография на сотрудниц моей редакции.)

«7 ноября 1979 г. Париж»

Какое неожиданное и чудесное совпадение! — посланный мне вами «Огонек» я получил 1-го ноября, а 2-го — это день моего рождения! — Вы оказались, таким образом, моей желанной гостьей на моем традиционном празднике и придали ему новую отраду.

Я с увлечением прочитал посвященную вами МЦ. статью. В ней вы так талантливо увязали воедино и многогранное литературное творчество МЦ., и ее яркий, «не знающий меры» характер, и внешне расторгнутые этапы ее трагической судьбы. Из написанных вами строк выступает цельный и захватывающий образ поэта, неизменно устремленного к исканию правды и всегда пронизанного страстным «родинолюбием» — поэта, к живому слову которого теперь тянется с любовью советская молодежь —

Великолепная статья! —

Дорогая Анна Александровна! — Вместе с моей благодарностью за «Огонек» я шлю вам сегодня мое запоздалое спасибо и за ваше письмо от 17-го сентября, и — в особенности! — за вашу фотографию. Вы угадали — лучшего подарка я и сам не мог бы у вас попросить!

В своем последнем письме вы извещали меня о ваших намерениях хоть ненадолго отлучиться из Москвы — сначала в Ленинград по какому-то особому делу, а потом в родную Эривань — для отдыха. — Я от всей души посочувствовал вам в этих ваших намерениях: ведь мне было хорошо известно, сколько упорства и сил потребовала от вас ваша из года в год совершаемая редакционная работа. Жаль только, что поездка ваша на берега Невы должна была состояться поздно осенью,

когда туманы и первые холода делают «мой» Ленинград менее гостеприимным. Мне показалось также, что вы слишком поспешили сроком на ваше пребывание в Эривани: одна лишь неделя! — разве это достаточно, чтобы полностью отдышаться в домашнем уюте от напряжения и суматохи московской жизни.

Напишите мне, как удались вам ваши импровизированные «каникулы». Вероятно, теперь вы снова за кормилом все той же текущей работы.

Передайте мой товарищеский привет всем вашим сотрудницам по редакции, которым вы упоминали обо мне. Поздравляю вас всех с новой годовщиной Октября. —

О своей собственной жизни напишу вам подробнее в следующий раз. А сегодня примите вот только этот краткий доклад: я помню о вашем строгом приказе не поддаваться телесным слабостям и стараюсь держать свою голову высоко! —

Крепко вас обнимаю!

КРодзевич».

Наш «эпистолярный роман», как шутили друзья, понемногу истаивал... В конце 1979-го я получила от Константина Болеславовича поздравление, написанное на карточке с нарисованными им женской головкой и голубем.

На обороте текст: «Лучшие пожелания к Новому Году! — Здоровья! И успеха в работе! Крепко обнимаю! К. Родзевич. 20-е декабря 1979 года! Париж».



Рисунок К. Б. Родзевича.

По-видимому, не все мои письма доходили до Парижа: весной пришла записка. На обратной стороне — фотография деревянной скульптуры — вознесенные вверх две руки — и текст:

«Февраль 1980 г.

Как вам живется теперь, дорогая Анна Александровна?

В вашем последнем письме ко мне вы жаловались на простуду, на перегруженность в делах и на вызванные этими обстоятельствами хандру и усталость. — Надеюсь, что это были лишь временные неурядицы и что они благополучно миновали.

Найдите свободную минутку, чтобы хотя бы несколькими словами рассеять мое беспокойство о вас.

Я сам чувствую себя сейчас слабовато и очень нуждаюсь в притоках оптимизма.

В ожидании добрых вестей от вас крепко вас обнимаю

Ваш

КРодзевич.

Р. S. Дошло ли до вас мое письмо, посланное вам в ответ на «Огонек»?»

И вновь почтовое недоразумение:

«30 мая 1980 г.

Париж

Дорогая Анна Александровна,

давно не получал от вас никаких вестей—очень этим огорчен и обеспокоен... Знаю, что вы много работаете над литературным наследием М. Ц. Оторвите все ж от ваших дел свободную минутку и напишите мне хотя бы несколько слов.

У меня самого все в относительном порядке—хотя я и прихварываю теперь чаще прежнего, снова собираюсь с силами и продолжаю ковылять на собственных ногах.

Шлю вам мои наилучшие пожелания и крепко вас обнимаю,

До скорого вашего письма!

КРодзевич.

Последнее новогоднее поздравление К. Б.:

«25 декабря 1980 г.

С новым Годом!
Всегда Радуйтесь!
Духа не угашайте!

Крепко целую!

Родзевич Константин.

На другой стороне — дивная фотография: морская (или речная) кочка, из нее устремляется вверх «деревянная» рыбка, а из длинной стеклянной вазы-трубки, тоже как бы растущей из кочки, выглядывают три желтые розы... Сколько таких собственноручных изящнейших натюрмортов украшало дом Константина Родзевича, эстета, «Авантюриста» (слова Цветаевой), неумолимого поклонника женщин?..

В самом конце 1980 года вышел двухтомник сочинений Марины Цветаевой, с комментариями Родзевича к поэмам «Горы» и «Конца» и с портретом Цветаевой его работы. Весной 1981 года мне удалось отправить двухтомник Константину Болеславовичу; его ответа я ждала с нетерпением...

«16 мая 1981

Дорогая Анна Александровна!

Получил от вас письмо и два тома произведений Марины Цветаевой. Большое спасибо за память и подарки. Отвечаю с опозданием, потому что до сих пор хворал. Теперь опять все в порядке.

Крепко вас обнимаю и шлю вам наилучшие пожелания. Всегда радуйтесь — духа не угашайте!

Ваш Родзевич Константин.

Р. С. Тронут тем, что вы выбрали книги М. Ц., в которых помещен ее портрет моей работой».

(Слова из последней фразы: «...выбрали книги» — очень удивили меня. По-видимому, Константин Болеславович забыл о своем согласии поместить в том сочинений Цветаевой портрет его работы...)

На этом наша переписка оборвалась.

Постскрипtum 1

В следующем, 1982 году, в Константине Болеславовиче произошла неожиданная перемена: он вдруг начал высказываться весьма откровенно. Беседа в течение трех часов с парижской исследовательницей и переводчицей Марины Цветаевой, Вероникой Лосской, он был даже несколько многословен, хотя при этом чего-либо конкретного сообщил не слишком много. Судя по всему, он уже мало что помнил, — но теперь ему хотелось говорить о Цветаевой, которую, по его словам, он не забыл за все прожитые годы. В своей книге «Марина Цветаева в жизни» (М.: Культура и традиции, 1992) В. Лосская приводит его сбивчивую и порою противоречивую речь (курсивом даю его буквальные слова):

Итак, в старости Константину Болеславовичу казалось, что у него было к Марине Ивановне *глубокое чувство*, что их отношения были *восторженными и радостными*, вплоть до самого последнего времени. С другой стороны, он признавался, что *был слаб*; именно по моей вине, по моей слабости наша любовь не удалась. И дальше: *я не мог устроить ее бытовую жизнь; я был разбросан политически*. Он не смог ни подтвердить, ни опровергнуть легенду о том, что Мур — его сын. О своей женитьбе на М. С. Булгаковой он сказал: *это оппортунизм, мне нужно было устроиться в Париже; женитьба обеспечивала быт*. Но, быть может, самым главными словами

Родзевича о Цветаевой были следующие: я не мог осознать той глубокой любви, которую сейчас к ней испытываю.

Постскриптум 2

Константин Болеславович Родзевич умер 1 (или 2) марта 1988 года в доме для престарелых под Парижем; кажется, он был помещен туда под фамилией покойной жены.

Его архив (разные книги, в большом числе марксистские), пачки писем, фотографии, тетради, документы) — все выбрасывалось на помойку и сжигалось в камине «наследницей» (дочерью?). Последние четыре года его жизни прошли в крошечной комнатенке приюта; столик у кровати был завален журналами; посетитель запомнил «Новый мир»... Сам Константин Болеславович был сумрачен, пуглив, неразговорчив. Ему было неполных девяносто три...

Что от него осталось? Две лучших поэмы Марины Цветаевой, ее стихи и письма к нему... И еще вот эти его слова, которым он наверняка следовал, куда мог:

«Всегда радуйтесь!
Духа не угашайте!»

Супротив греха и покаяние.

П о с л о в и ц а

ПОЧТИ ДЕТЕКТИВ

Одна непростительная история

1

Романы бывают не только с людьми. Романы бывают с природой, с животными, с вещами (так, по крайней мере, современники вспоминали о Марине Ивановне Цветаевой), с историческими деятелями прошлого и литературными героями, — и, конечно, с книгами. Расскажу о моем «романе» с книгой Александра Солженицына «Бодался теленок с дубом».

«Теленка» — первую часть — Александр Исаевич разрешил дать мне прочесть в конце января 1971 года. К тому моменту уже почти полтора года я с восторгом помогала ему в его работе над «Августом Четырнадцатого»: переписывала в библиотеке разные материалы по газетам и журналам; читала первую редакцию этого романа, участвовала в перепечатке его для «первочитателей».

— Говорят, вам понравился «Теленок», — сказал Александр Исаевич, когда мы встретились 4 февраля.

Понравился... Это слово говорило слишком мало. В книге Солженицына было запечатлено мое время, мое *литературное* время, с которым я неустанно спорила (внутри себя), не принимая ничью сторону, хотя по возрасту могла бы вполне принадлежать к «шестидесятникам», о коих сегодня так бесплодно и запутанно судят и рядят их ровесники и новые поколения. И деятельность «новомирцев», при всем к ним уважении, была, на мой взгляд, чрезмерно преувеличена «либералами». Да и Твардовского я, человек другого поколения, а главное — воспитания, не могла принять до конца. Атмосфера в моей семье была *внесоветской*, пусть и пассивной; но то, что «они там друг друга кушают» — выражение моего отца — было впитано мною с самых ранних лет. И должно быть потому изумительная книга Солженицына оказалась для меня откровением. Я не говорю уже о том, что она — гениальная литературная автобиография писателя; не говорю о великолепной «наполеониаде» книги и ее главного героя, одного — против всех, и эти «все» расступаются перед его беспримерным умом и мужеством (многие — трусливо ненавидя его). Повторяю: я подчеркиваю *литературную эпоху*, отраженную в книге. Ее автор был единственным человеком, под каждым суждением которого я могла бы подписаться. Меня пленял, завораживал, восхищал потрясающий здравый смысл автора, его оценок, ничем не замутненных и не искаженных, его абсолютная естественность мировосприятия, — что

лишь сильнее «высвечивало» уродливость, воприродность, «прибитость» людей при всем их самообманном апломбе; их опутанность, окованность «липкой системой», породившей множество разновидностей рабства, главным из которых было «уравнительное действие красных книжечек» (партбилетов) даже на самых храбрых, небесталанных, оригинальных...

Понравился... Это был воздух для свободного дыхания.

Единственный упрек, и то с оговорками, который я себе позволила выразить Александру Исаевичу, состоял в том, что, как мне казалось, он, рассказывая о своих действиях, о своей борьбе, — несколько «обеднил», «обделил» самого себя, почти не дав свой образ, в его первородности и непосредственности, — в то время как образ Твардовского, трагический, детский и обаятельный, вышел просто потрясающим. Я считала, что автору следовало бы дать себя самого как бы со стороны, явить собственный художественный портрет (Солженицын, думаю, вовсе не стремился к этому, но у меня было иное мнение).

«Вы себя «не дописали»... Посмотрите, например, — советовала я, — страницы <такие-то, — А. С.>. Александр Трифонович жалуется, а где Вы? Молчите? Сочувствуете? Думаете о своем?» И дальше: «Стр. (такие-то) неужели все так и молчите? И на этом молчании пышным цветом расцветает наивный большевик с переломленным хребтом — во всем своем трагическом обаянии. Нельзя Вам так

стусевываться! — продолжала я заклинять. — Ведь Александр Трифонович вас полюбил не только за Слово, но и *человечески* (а Вы его — тоже ведь немножко, да?). Мне кажется, три-четыре фразы (Ваши реплики, а также какой-нибудь «штришок», относящийся к Вам) — были бы очень уместны, — в этих хотя бы диалогах с А. Т....»

В феврале или в начале марта Александр Исаевич дал мне прочесть только что им завершенное продолжение «Теленка»: «Второе дополнение (февраль 1971)». «Там много о Лакшине — вам будет интересно», — сказал он.

Владимир Лакшин, ближайший в то время к Твардовскому человек, был моим однокурсником (филфак МГУ мы закончили в 1955 году). Мне казалось, что Александр Исаевич слишком преувеличивает масштабы его личности — как с литературной, так и с моральной точек зрения. Однако я убедилась в своей ошибке, прочитав две новые главы «Второго дополнения». Я очень горячо приняла их; вспомнила, как в конце 1965 года я приносила в «Новый мир» прозу Марины Цветаевой, — а там уже лежали воспоминания Анастасии. Меня постигла неудача, о чем я вспоминаю в записке Александру Исаевичу. Радуюсь, что он не обольстился Лакшиным, не перехвалял его, увидел его суть. И пишу:

«Когда он (Лакшин. — А. С.) прочел «Пушкина и Пугачева» Марины Цветаевой (после Дементьева, reagировавшего темнó и вяло), он написал снисходительно, что обе сестры (Марина и Ася) талант-

ливы, и обеих можно, пожалуй, печатать. Напечатал, конечно, Асю... Марина же, как умершая и потому беззащитная, была возвращена мне. Вот результат примирения в Лакшине двух «правд», о которых Вы говорите».

Когда мы встретились после этого с Александром Исаевичем, он сказал, что был взволнован моим отзывом о Лакшине и сообщил, что эпизод с Мариной и Асей вставит в «Теленка»*.

И вскоре показал мне свою переписку с Лакшиным — я записала об этом 9 марта 1971 года. У меня было примерно полчаса на прочтение; то, что увидели мои глаза, так меня поразило, что я помню эти семь писем по сей день, во всей их неправдоподобной дикости (со стороны, разумеется, оппонента Солженицына).

«Переписка эта, — отзывалась я в записке Александру Исаевичу, — просто сокрушительный документ. Она так ясно и так цинично показывает (письма Лакшина), что ему подобные — такие же Ваши враги, как кочетовы, а в иные моменты — и более лютые...». Я говорила о том, что меня потрясло не столько даже «увеливание от правды» корреспондента Солженицына, его «обтекаемость», изнурительное многословие, советскость и непонимание истины, — а более всего, прямо-таки сразил — тон

* В главу «Душат» из «Второго дополнения» (см. Солженицын А. Бодался теленок с дубом. Paris, YMCA-PRESS, 1975; и М.: «Согласие», 1996).

по отношению к Александру Исаевичу: «В том-то и ужас, что Лакшин может себе позволить раздражительно-назидательный тон с А. Солженицыным, ибо в «номенклатурном» смысле, официально в этом обществе А. Солженицын — никто, даже уже не член СП. Значит, с огромным писателем можно себе позволить поучительный (на грани пренебрежительности!) тон назидания (реванш за то, что перед любым чиновным ничтожеством приходится пластаться). Изувеченность, ставшая сутью характера, — что может быть страшнее? ...Как больно за наше поколение, и как скверно на душе, что такую подделку, как Лакшины, принимают, по безрыбью, за голос совести и чести, принимают люди интеллигентные, мыслящие...»

Так, в очередной раз, убедилась я все в той же известной рабской психологии, в ее обратной стороне — хамстве...



Многое могла бы еще я сказать о солженицынской книге, о ее *гениальной злободневности* (не надо удивляться такому сочетанию!), о публицистическом и художественном блеске, — словом, об ее огромном влиянии на меня. Скажу лишь одно: я не могла разлучиться с книгой; мысль о том, что я с ней расстанусь, была нестерпимой. Мой роман с нею не мог оставаться платоническим.

И я... перепечатала всего «Теленка» на машинке. Сначала первую часть, затем — вторую. Когда и как?

Ведь времени было мало: рукопись давали мне на три-четыре дня... Значит, сидела с утра до ночи дома и перестукивала на драгоценной тогда машинке «Эрика». Самое поразительное, что я ничего не помню об этом. «Теленок» как бы подшутил надо мной, лишив меня памяти.

Безусловно, эта работа слилась в моем сознании с множеством других перепечатываний солженицынских и около-солженицынских документов: писем, обращений, отзывов — всего того, что «ходило» с его ведома и согласия. Но одно четко осталось в памяти: октябрь 1970 года, когда я, взяв отпуск на две недели, тщательно перепечатывала в нескольких экземплярах роман «Август Четырнадцатого» (пополам с Е. Ц. Чуковской). Мне досталось двести пятьдесят страниц, и надо было выполнять ежедневную «норму» — пятнадцать страниц, чтобы поспеть к сроку; притом, согласно «Инструкции» автора, печатать густо, через полтора интервала, а обзорные главы — через один. Пройдя такую «школу», «Теленка» я печатала тоже через полтора интервала, и с уже большей скоростью, вероятно. В *единственном* экземпляре.

Держала я книгу дома, совершенно не думая о том, что в один прекрасный день «Лубянка» может нагрянуть в нашу комнату в коммуналке на Грановского, 5 (ныне Романов переулок, между Воздвиженкой и Никитской), и... хотя отлично знала,

что за мной следят*, — только никогда не видела этого: при моей ненаблюдательности озираться по сторонам было бессмысленно. Кстати, у меня много чего еще находилось дома: пиратские западные издания «Ракового корпуса» и «В круге первом», и много не только солженицынского тайного**. Не помню, кому доверяла я свои сокровища, но «Теленка» ревниво не давала решительно никому.

Так прошло несколько месяцев. А в самом начале января следующего, 1972 года, я не вытерпела. И дала прочесть «Теленка» близкому другу — единственному человеку, которому до конца доверяла, — Николаю Николаевичу Бунину. Фронтвик, прошедший немецкий плен и сталинский лагерь, он

* «Лубянка» появилась позже, после высылки А. И. Солженицына. Один из «литературоведов в штатском» назначил мне на улице встречу и предложил написать нечто вроде очерка, эссе: портрет Александра Исаевича, его работа с «Новым миром» и т. п. — толком и не помню. Я отказалась. Тогда собеседник спросил, кого бы я могла посоветовать. Я назвала Лакшина, и тот некоторое время спустя исполнил «их» поручение. О позднем отзыве на его «работу» см.: Солженицын А. Отрывки из второго тома «Очерков литературной жизни»: Еще о «Новом мире» // Вестник русского христианского движения. III, 1982. С. 124 — 129.

** К слову: недавно набрела в своем архиве на толстый пакет с материалами о толстовцах в России. Переписала я их в библиотеке по просьбе Александра Исаевича. «Если хотите, займитесь вопросом о судьбе толстовцев (общих и вместе) в 1917 — 1920 годах» (его записка от 2.9.1969 г.). Получился целый том, настоящий исторический роман (позднее был мне возвращен за ненадобностью).

всего на два года моложе Солженицына. Именно такие люди, невинно пострадавшие от ненавистного мне с юности режима, влекли меня: в числе их, конечно, сам Александр Исаевич, — и еще Ариадна Эфрон. Но она в тот период своей жизни, вдруг с огромной силой покотившейся к закату, не стала бы читать «Теленка», — я и не предлагала ей. Когда в апреле 1971 года, во время моей поездки с Александром Исаевичем в Рождество на Истье, он рассказал о своем замысле издавать журнал критики и предложил пригласить туда Ариадну Сергеевну, которую глубоко уважал и чтит, — я эту мысль отклонила. Потому что знала, что лишь понапрасну пробудила бы в ней тяжелые, сложные чувства, не говоря уже о том, что получила бы резкий отказ; она была в плохой форме, и к тому же с нее было вполне достаточно шестнадцати лет ГУЛАГа.

Итак, «Теленок» был отпущен на волю. Поступила я так же, как десятки других поклонников, почитателей, читателей Александра Исаевича. Когда сегодня листаешь новое дополненное издание книги «Бодался теленок с дубом», то и дело натыкаешься на «криминальные» повороты: один дал знакомым солженицынскую вещь без разрешения автора, другой (без разрешения же!) сделал себе копию, третий — не уничтожил экземпляр, как обещал.

Мы любили вас, Александр Исаевич, любили ваши творения — и рисковали — не меньше, чем когда помогали вам...

Теперь — история короткого путешествия «Теленка». И моей вины.

2

— Как-то, — вспоминает сегодня Н. Н. Бунин, — ты мне позвонила и сказала, что на одну ночь или дня на два хочешь дать что-то очень интересное. Взял я эту папку и начал читать, не отрываясь. Потом — мелькнула мысль: надо бы дать почитать Вильмонтам. В то время я часто встречался с ними, относился с огромным уважением к этому семейству... Я очень гордился, что прочитал это, подумал, что им тоже интересно будет. Доверял я им вполне, тем более, что все остальное Солженицына — все, о чем мы говорили при встречах, они читали.

Итак, я позвонил Вильмонтам, сказал, что могу привезти кое-что интересное, но ненадолго. Они жили тогда на Самотечной, — где теперь Олимпийский проспект. Приехал туда в конце дня, и отдал им папку. Было это после Нового года, кажется, в первых числах января 1972 года. Приехал, отдал, они при мне открыли, я не стал сидеть, попросил вернуть мне быстрее, и уехал.

Не помню, прошел день — нет, скорее два дня. Под вечер звонит мне их дочь Катя. Перепуганный голос, говорит с захлебом: «Вы можете сейчас приехать — срочно, срочно!.. Берите такси! Ничего не могу вам сказать. Звоню из автомата».

Приехал к ним, звоню, Катя открывает. У них, какходишь, прямо две смежные комнаты, и я, пока

раздеваюсь, вижу в открытую дверь — там большая кушетка и сервант, сидит хозяйка и с ней какая-то пожилая женщина, мне незнакомая.

Хозяин вышел навстречу: «Проходите», — и как только я вошел — направо маленький столик, мне из-за стены не было видно, — сидит он. Я рот разинул, сияю (в комнате еще стояла украшенная рождественская елка). Н. Н. Вильмонт говорит ему: «Вот, познакомьтесь. Кстати, вы сейчас между двух тезок, Николаев Николаевичей, задумайте что-нибудь»...

Он сказал тогда: «Здравствуйте, здравствуйте. Садитесь, я буду краток, выслушайте. Вы отдали им это мое произведение читать?» Я отвечаю: «да». «Я, как автор, — ведь вы у меня не спросили разрешения, — заберу его. Как попала к вам эта рукопись? Кто передал?»

Я молча посмотрел на присутствующих, потом на него. Вижу взгляд совершенно бездонный, притягивающий с необычайной силой. Чувствую: если этот человек позовет — на край света за ним пойду. Вот такое первое ощущение было.

Публика с интересом ждет, что я отвечу. Но я, по старой эковской привычке, молчу, достаю блокнотик и пишу:

«Аня С.».

Он читает, трет лоб и говорит: «Не могу понять. Кто?»

Я тогда пишу полностью фамилию, он хлопает себя по лбу, — мне показалось, что на улице

было слышно, как он себя хлопнул! Сейчас уже не помню: то ли он сказал: «Надо немедленно с ней связаться», или, кажется, я предложил: «Хотите, я ей позвоню?», а он ответил: «Да, сделайте это, пожалуйста».

Я вышел в переднюю — там был телефон — позвонил тебе в редакцию; рабочий день еще не кончился, — и попросил позвать Анну Александровну. Когда ты подошла, я сказал: «Сейчас с вами будут говорить», — кажется, так сказал. Это все для публики делалось. Протянул *ему* трубку, он закрыл за собой дверь и что-то долго, тихо-тихо с тобой говорил. Потом вернулся в комнату и стал быстро собираться, не обращая ни на кого внимания... Был еще какой-то разговор с хозяевами: не то о немцах, не то о военнопленных; *он* как-то вполуха слушал, не принимал участия, нагнулся к своему огромному потертому портфелю, набитому, и сунул туда еще эту рукопись.

«Я на вокзал поехал, все».

Вид у него сделался какой-то отрешенный, словно он был здесь один, удалился от нас заранее. Мысленно удалился. Вот такое впечатление осталось.

После его ухода начался, естественно, «разбор учений». Познакомили меня с этой дамой, которую я увидел, когда вошел. Была это, оказывается, Берзер. Да, должен добавить, что блокнотик, где я ему написал твое имя, я тут же спрятал, так что записки о Саакянц они не видели.

Катя мне говорит: «Боже мой, мы читали двое суток, не спали... Знаете, я вам звонила из автомата, специально вышла, будто в магазин, авоську взяла с пустыми бутылками молочными, а под ними папка с рукописью, — на всякий случай я ее носила, чтобы ее дома не было».

Когда я принес им рукопись, они в тот же вечер, видимо, позвонили какой-то знакомой, а та — дальше, Берзер, — сказали ей, что есть такая папка. Та вскоре позвонила и сказала, что сейчас приедет, а перед этим, наверно, связалась с Александром Исаевичем. Он, конечно, разволновался, потому что никому не давал читать. Он тогда мне сказал: «Было три экземпляра. И вдруг — раз! — еще один экземпляр — откуда? где? Проверил: все на месте! Неужели — провал?»...

— А помнишь, — спросила я, — ты говорил о записке?

— Когда я пришел, он сказал: «Да! Чтобы не терять времени — я не знал, удастся ли нам встретиться или нет, я вам заготовил письмо». И он вкратце там все записал: так и так, — то, что он сказал устно. Маленькое такое письмецо...

3

Был четверг, 6 января 1972 года. Сочельник. Подходил к концу рабочий день в редакции. Меня зовут к телефону. Трубку берет начальница, — она любит иногда задержаться в секретарской, особенно, если слышит, что кому-то из нас (редакция-то женская!) звонит мужчина.

А звонит мне мужчина. И тотчас передает трубку другому мужчине. А тот настойчиво и незамедлительно назначает мне встречу в подземном переходе — не помню, какого — московского вокзала. Долго, обстоятельно объясняет, в каком именно месте.

Я соглашаюсь, повторяю (!), где будет встреча. Начальница внимательно слушает.

Я обращаюсь к ней весьма решительно:

— Звонит мой армянский дядюшка, говорит, что достал мне ватное одеяло, просит срочно подъехать.

— Конечно, конечно, — соглашается начальница. — Беги, не опаздывай.

Скоро я должна переехать в новую квартиру. Ватные одеяла в тот отрезок истории нашей страны исчезли напрочь, — как и постельное белье, зубные щетки и многое другое. — Штрихи времени... — Однако я, при помощи упомянутого дядюшки, уже была всем этим обеспечена. Так что лгать начальству, имея за плечами крупную вчерашней правды, было совсем нетрудно, и слово моей приятельницы-коллеги: «В тебе умерла Ермолова», — считаю сильным преувеличением.

Итак, я лгала.

Потому что встречу назначил мне Александр Исаевич Солженицын.

И я поспешила на вокзал.

*Соревнования короста
В нас не осилила родства...*

Марина Цветаева

ДВЕ СУДЬБЫ

Два поэта — две женщины — две трагедии
(*Анна Ахматова и Марина Цветаева*)*

Конец XIX века принес России четыре удивительных года.

В 1889-м родилась Анна Ахматова.

В 1890-м — Борис Пастернак.

В 1891-м — Осип Мандельштам.

В 1892-м — Марина Цветаева.

Каждый год выдавал по гению. И что, может быть, самое удивительное: судьба распорядилась поровну — из четырех поэтов — две женщины, женщины — ПОЭТЫ, а не поэтессы. На этом настаивали обе: и Анна Ахматова, и Марина Цветаева. (*Поэтесса* — понятие психологическое, и вовсе не зависит от величины таланта...)

Две звезды, две планеты (уже открыты и названы их именами). До них пока не было дано подняться ни одному женскому имени в литературе. Два поэта, две женщины, две судьбы, два *характера*...

* Прочитано в Венском университете 19 мая 1995 года.

Анна Ахматова (Горенко) родилась 23 июня 1889 года в пригороде Одессы «Большой Фонтан», в семье морского инженера. Она была третьей из шестерых детей. Когда ей исполнилось одиннадцать месяцев, семья переехала под Петербург: сначала в Павловск, потом — в Царское Село. Это место навсегда освятилось для Ахматовой именем великого Пушкина. Летом ездили к Черному морю. В одиннадцать лет девочка тяжело заболела, еле выжила, и на какое-то время оглохла. С этого момента стала писать стихи.

Марина Цветаева родилась 8 октября 1892 года в Москве, в семье профессора. Детство провела в Москве, в Тарусе (между Серпуховом и Калугой), в швейцарских и немецких пансионах; в Ялте: мать болела туберкулезом, и все переезды были связаны с ее лечением. Училась музыке: мать хотела видеть ее пианисткой. По-видимому, лет в девять-десять уже сочиняла стихи — к неудовольствию матери. Детей было четверо: от первого брака И. В. Цветаева — дочь и сын, и от второго — Марина и ее младшая сестра — Анастасия. Когда сестрам было четырнадцать и двенадцать лет, мать умерла от чахотки. (Чахотка царила и в семье Горенко: две сестры Анны Ахматовой погибли от этой болезни.)

Детство той и другой было печальным: «И никакого розового детства», — сказала Ахматова, — то же могла сказать и Цветаева.

Анна Горенко была тоненькой, изящной и болезненной девочкой — девушкой — дружила с морем, плавала, как рыба; отец в шутку звал ее «декаденткой». Марина в детстве и отрочестве отличалась неплохим здоровьем, была полновата, румяна, застенчива. К морю, которое впервые увидела в детстве, не привыкла никогда, не полюбила, — не оправдав тем самым свое имя Марина («морская»).

В ранней юности обе мечтали о любви. Анна Горенко в семнадцать лет безнадежно влюбилась в петербургского студента Владимира Голенищева-Кутузова, все время мечтала о встрече с ним, много плакала, даже падала в обмороки (здоровье ее всю жизнь было очень слабое). Между тем еще несколько лет назад, когда ей было всего четырнадцать, или даже чуть меньше, в нее влюбился будущий поэт Николай Гумилев. Позже он несколько раз делал ей предложение, но она отказывала; есть сведения, что он дважды пытался покончить с собой. Но она не любила его; по-видимому, все ее душевные силы были истрачены на безответную любовь к Голенищеву-Кутузову.

Об этой ее любви свидетельствуют несколько писем 1907 года к С. В. фон Штейну, мужу ее старшей сестры. Они единственны в своем роде. Никогда позже ни в стихах, ни в прозе, ни в письмах Анна Горенко (будущая Анна Ахматова) не выражала так бурно, так «напрямую» любовные чувства. С той поры, постоянно совершенствуясь, ее

любовная лирика словно бы уйдет «за занавес», музыка стиха никогда не превысит «полутонов» — и всегда будет печальной...

А за Гумилева она все-таки вышла — когда ей был 21 год: в 1910-м. Но счастья у них не получилось. Ведь оба были личностями, оба были поэтами. По гениальному слову Марины Цветаевой:

Не суждено, чтобы сильный с сильным
Соединились бы в мире сём...

Каждый хотел быть сам по себе. Гумилев не мог жить без путешествий, надолго уезжал. Она же погрузилась в творчество: писала свою первую книгу «Вечер», которая принесет ей славу...

У Марины Цветаевой все было иначе. Познав «трагическое отрочество» (ее собственные слова), она теперь переживала «блаженную юность». Но до «блаженной юности», еще будучи гимназисткой, она успела написать множество стихов. В 1910 году, когда Ахматова вышла замуж, Цветаева уже выпустила в свет первый стихотворный сборник: «Вечерний альбом». А в следующем, 1911 году, познакомилась со своим будущим мужем — Сергеем Эфроном. Ей было восемнадцать лет, ему — семнадцать. Это был союз на всю жизнь, несмотря на сложные перипетии судьбы и отношений. И права была дочь Цветаевой, когда говорила, что Сергей Эфрон был единственным человеком, которого Марина Цветаева любила по-настоящему. «Я прожила с ним

30 лет и лучшего человека не встретила», — так напишет она незадолго до кончины.

В 1912 году вышел сборник стихов «Вечер». Имя автора: «Анна Ахматова» — псевдоним, который Анна Горенко взяла по имени своего татарского предка, хана Ахмата; имя Анна ей дали в честь бабушки. Эта книга любовной лирики уже была гармонична и совершенна; в стихах не было ничего детского; они принадлежали перу зрелого, сформировавшегося поэта, и уже тогда были истинными творениями *Анны Ахматовой*.

Осенью того же года у Ахматовой и Гумилева родился сын Лев.

1912 год знаменателен и для Марины Цветаевой. Она соединяет свою судьбу с Сергеем Эфроном; осенью появляется на свет их дочь Ариадна; и в этом же году — выходит вторая книга стихов «Волшебный фонарь». Несмотря на несомненные приметы большого таланта, эта книга тоже еще незрелая. Но поэзия Цветаевой, ее поэтический «почерк», теперь начинает очень быстро развиваться и меняться. Она создаст стихи, настолько несходные по творческой манере, что, кажется, они принадлежат разным поэтам. «Почему у Вас такие разные стихи? — Потому что годы разные», — напишет она. И еще: «Из меня можно выделить по крайней мере семь поэтов» (это она скажет в 30-е годы).

Стихи Ахматовой (их духовный, психологический смысл, драматизм и т. д.) тоже будут меняться

в зависимости от времени. Но то, что принято обозначать как ФОРМА, — останется до самого конца гармонической, классически-ясной. Анна Ахматова — поэт пушкинской школы.

Хорошо сказал о поэтическом и психологическом различии той и другой известный русский эмигрантский исследователь литературы Константин Мочульский — еще в 1923 году:

«Цветаева всегда в движении; в ее ритмах — учащенное дыхание от быстрого бега. Она как будто рассказывает о чем-то второпях, запыхавшись и размахивая руками. Кончит — и умчится дальше. Она — непоседа. Ахматова — говорит медленно, очень тихим голосом; полулежит неподвижно; зябкие руки прячет под «ложноклассическую» (по выражению Мандельштама) шаль. Только в едва заметной интонации проскальзывает сдержанное чувство. Она — аристократична в своих усталых позах. Цветаева — вихрь, Ахматова — тишина... Цветаева вся в действии — Ахматова в созерцании...»

Ахматова и Цветаева были резко противоположны, полярны, — и прежде всего, по своим природным качествам, которые даются от рождения и остаются неизменными.

Прежде всего, каждой был отмерен свой жизненный срок; Ахматова немного не дожила до 77 лет, Цветаева — до 49-ти. Между тем литературное наследие Цветаевой значительно обширнее, нежели ахматовское.

Одна из важнейших загадок природы состоит в запасе энергии, по-разному отпущенной каждому человеку. У Анны Ахматовой эта энергия была гармонично распределена на протяжении ее долгой — притом весьма трагической, жизни — и не иссякала до последнего дня. Я не говорю уже о ее слабом здоровье, о постоянных болезнях с юных лет (слабые легкие и сердце). Откуда и возник классический образ полулежащей Ахматовой, запечатленный на фотографиях и рисунках Модильяни.

Представить в подобной позе Марину Цветаеву немислимо. Недаром она называла свое здоровье железным: имела крепкое сердце, была неутомимым ходоком, спала мало, и ранним утром спешила к письменному столу. И исписывала десятки столбцов вариантов рифм, слов, строк, не щадя сил, потому что они (до поры до времени) не предавали ее.

Но люди, наделенные необычайной творческой, психической энергетикой, никогда долго не живут. Я имею в виду не болезни, от которых никто не застрахован. Просто мощная, бурная энергия у таких людей так же бурно и мгновенно обрывается. Так было с Мариной Цветаевой, о самоубийстве которой существует множество различных неумных версий. В то время как о самом главном почему-то не говорят: о том, что жизненная сила, психическая энергия иссякает. Цветаева ушла из жизни, убедив-

шись, что она больше ничего не может: ее воля к жизни иссякла.

Здесь, вероятно, уместно будет сказать об отношении обоих поэтов к смерти. (Тот факт, что и у Ахматовой, и у Цветаевой в юности были попытки самоубийства — ни о чем не говорит; речь идет о закате жизни; зрелость Цветаевой, старость Ахматовой.)

Когда жуткие обстоятельства стали неотвратимо и явно уничтожать мощный цветаевский дух, она написала такие строчки:

Пора снимать яantarь,
Пора менять словарь,
Пора гасить фонарь
Надверный...

Она всегда знала, что уйдет из жизни. Рано или поздно. Вопрос был только во времени.

Ахматова, невзирая ни на какие обстоятельства, никогда бы добровольно не ушла из жизни. Но в старости она, по-видимому, часто думала о смерти, не боясь ее, принимая как неизбежную данность. Об этом она говорит в нескольких своих стихотворениях.

Но продолжу, однако, сопоставление жизненных, творческих, психологических обстоятельств.

Анна Ахматова выпускает вторую книгу стихов: знаменитые «Чётки»; множество раз они будут

переизданы. В 1918 году разводится с Н. Гумилевым. (Их сын Лев воспитывался в новой семье.)

Цветаева, которая впервые прочла стихи Ахматовой, по-видимому, в 1912 году, увлеклась ее поэзией, а также личностью, стоявшей за стихами. Она сотворила себе образ «роковой красавицы», называла ее «Музой Плача» и «Златоустой Анной всея Руси». Очень хотела встретиться и отправилась в 1916 году в Петербург с чувством и желанием *соперничества*: Москва против Петербурга. Но встреча не состоялась: Ахматова болела и находилась в Царском Селе. Впоследствии, когда Цветаева будет писать ей восторженные письма, Ахматова отнесется к ним с присущей ей сдержанностью.

В этих, можно сказать, неравноправных отношениях, пожалуй, сильнее всего выявился контраст натур Ахматовой и Цветаевой. И здесь нужно говорить о такой важнейшей вещи, как любовь — в жизни, а значит, и в творчестве обеих.

Слово *любовь* для Марины Цветаевой ассоциировалось со словами Александра Блока: *тайный жар*. Тайный жар — это состояние сердца, души, — всего существа человека. Это — горение, служение, непрекращающееся волнение, смятение чувств. Но самое всеобъемлющее слово все-таки — любовь. «Когда жарко в груди, в самой грудной клетке... и никому не говоришь — любовь. Мне всегда было

жарко в груди, но я не знала, что это — любовь», — писала Цветаева, вспоминая свои детские переживания.

Она утверждала, что начала любить, «когда глаза открыла». Это чувство, состояние тайного жара, любви — мог вызвать исторический или литературный герой («ушедшие тени»), какое-нибудь место на земле, — например, городок Таруса на Оке, где прошли лучшие месяцы в детстве; и, конечно, конкретные люди, встреченные в жизни. «Пол и возраст ни при чем», — любила повторять Цветаева. И на этих живых, реальных людей она, не зная меры, обрушивала весь шквал своих чувств. И «объект» подчас спасался бегством. Он не выдерживал раскаленной атмосферы страстей, требований, которые Цветаева предъявляла к нему. Потому-то она и говорила, что умершего, «ушедшую тень» легче любить, что «живой» никогда не даст себя любить так, как нужно *ей*; живой хочет *сам* любить, существовать, *быть*. И даже договаривалась до того, что ответное чувство в любви для нее, для любящей — помеха. «Не мешай мне любить тебя!» — записывает она в дневнике. Ее открытость, распахнутость отпугивала мужчин, и она это понимала и признавала: «Меня любили так мало, так вяло».

Ахматова, как уже было сказано, познала в юности сладкую отраву безответной любви, а с другой стороны — любовь к себе, на которую

не могла ответить. С ранних лет у нее было множество поклонников, но, пожалуй, никто не смог вызвать в ней костер «тайного жара», подобного цветаевскому.

Ахматова обладала поразительной внешностью. Современник, поэт Георгий Адамович, знавший ее смолоду, вспоминает: «Теперь, в воспоминаниях о ней, ее иногда называют красавицей: нет, красавицей она не была. Но она была больше, чем красавица, лучше, чем красавица. Никогда не приходилось мне видеть женщину, лицо и весь облик которой повсюду, среди любых красавиц, выделялся бы своей выразительностью, неподдельной одухотворенностью, чем-то сразу приковывавшим внимание. Позднее в ее наружности отчетливее обозначился оттенок трагический... когда она, стоя на эстраде... казалось, облагораживала и возвышала все, что было вокруг... Бывало, человек, только что ей представленный, тут же объяснялся ей в любви».

Облик Ахматовой просился на портрет; художники, что называется, «наперебой» писали ее: А. Модильяни, Н. Альтман, О. Кардовская — это только до 1914 года! Кардовская записала в дневнике: «Я любовалась красивыми линиями и овалом лица Ахматовой и думала о том, как должно быть трудно людям, связанным с этим существом родственными узами. А она, лежа на своем диване, не сводила глаз с зеркала, которое стоит перед диваном, и она себя смотрела влюбленными

глазами. А художникам она все же доставляет радость любования — и за то спасибо!»

Так, с молодых лет, родился образ *Анны Ахматовой*: образ «роковой», печальной женщины, которая, помимо даже собственной воли, не прикладывая никаких усилий, покоряет мужские сердца. Чувствуя это, юная Ахматова написала стихотворение (ей было 17 лет):

Я умею любить.
 Умею покорной и нежною быть.
 Умею заглядывать в очи с улыбкой
 Манящей, призывной и зыбкой.
 И гибкий мой стан так воздушен и строен,
 И нежит кудрей аромат.
 О, тот, кто со мной, тот душой неспокоен
 И негой объят...

Я умею любить. Я обманно-стыдлива.
 Я так робко-нежна и всегда молчалива.
 Только очи мои говорят...

.
 И в устах моих — алая нега.
 Грудь белее нагорного снега.
 Голос — лепет лазоревых струй.
 Я умею любить. Тебя ждет поцелуй.

В дальнейшем это «кокетство» Ахматова не пускает на порог своей лирики; там будут царить полутона и все чувства будут пребывать как бы за сценой, за занавесом:

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

(«Песня последней встречи», 1911)

Много лет спустя Цветаева с восторгом писала об этом стихотворении: «〈Ахматова〉 ... одним росчерком пера увековечивает исконный нервный жест женщины и поэта, которые в великие мгновенья жизни забывают, где правая и где левая — не только перчатка, а и рука, и страна света... Посредством... поразительной точности деталей утверждается... целый душевный строй...»

Но это — восхищение *формой*, точностью поэтического образа. Восхищение *чуждым*. Ибо ахматовская сдержанность была полярно противоположна цветаевской безудержности. Весь «любовный крест», всю гору любви лирическая героиня, — а значит, и сам поэт — берет на себя. Так было не раз в жизни Цветаевой. И с роковой неизбежностью все завершалось одним: разочарованием, даже, порой — презрением. Ее дочь Ариадна говорила, что всякое увлечение матери кончалось тем, что, перестрадав, она развенчивала своего недавнего кумира, убедившись, что он — слишком мелок, ничтожен.

Если Анну Ахматову бесспорно считают олицетворением женственности, то по отношению к Мари-

не Цветаевой существуют два прямо противоположных мнения. Что такое ее максимализм? Одни находят его сугубо женским свойством, доведенным почти до крайнего предела. Другие, наоборот, приписывают эту склонность к «захватничеству», «собственничеству» в любовных чувствах некоему мужскому, активному началу. Как бы там ни было, Цветаева мужественно признавалась, что не нравится мужчинам. Да и как могло быть иначе, когда она не скрывала, что считает их слабыми, неспособными к сильным чувствам? Своих незадачливых знакомых, в которых разочаровалась, она выводила в стихах и поэмах. Так возникали образы «комедьянта», маленького, вечно спящего царевича в поэме «Царь-девица» и т. д. Речь, однако, сейчас не о творчестве.

Для Анны Ахматовой мужчины всегда оставались «поклонниками», — чему я сама была живым свидетелем. Причина, думается мне, была в том, что Ахматова никогда не переставала быть женщиной. Тоненькая, грациозная в молодости, «роковой» она оставалась всегда. Сильно располнев, огрузнев в старости, она превратилась... в королеву. Величавая осанка в сочетании, казалось бы, с несочетаемым свойством: крайней простотой обращения, — делали из нее фигуру неизменно обаятельную для всех, кто с нею общался, включая автора этих строк.

Однако для того, чтобы более или менее исчерпывающе сопоставлять эти два поэтических характера — Ахматовой и Цветаевой — необходимо поместить их в «контекст» событий, исторических и житейских. История России, наложившаяся на личности обеих, продиктовала им выбор своей судьбы.

Летом или осенью 1917 года, во время империалистической войны, человек, небезразлично относившийся к Ахматовой, по-видимому, предложил ей уехать. Она отвергла это предложение в стихотворном ответе осенью 1917 года, а в следующем году напечатала стихотворение не полностью, — вторую его часть, — и оно, после октябрьского переворота, стало звучать весьма патриотически; а главное — политически безупречно:

Мне голос был. Он звал утешно.
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.

.....
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Дело было не в патриотизме и тем более не в политике. Просто есть люди — космополиты по душевному складу; к ним Анна Ахматова не принадлежала. За границу она знала в молодые годы; по-видимому, жизнь там не прельщала ее

по неким неисповедимым внутренним, творческим причинам. Она была русским, и только русским поэтом, и с каждым годом это выявлялось в ней все сильнее. Она приговорена была Жизнью нести свой крест у себя дома, в «краю глухом и грешном», в России, где с каждым годом становилось жить все невыносимее. Как верно утверждает лучшая исследовательница жизни и творчества Ахматовой англичанка Аманда Хейт, поэт пытался укрыться, спастись от невзгод в семейной жизни, но безуспешно. Союзы с мужчинами, любившими Ахматову, и для которых она пыталась стать верной спутницей, рушились так же, как рушилась, уродовалась сама жизнь. Нужно было *не* рождаться поэтом, чтобы обрести подобие дома на родине. «Роковая» женщина не создана для быта; более того, при соприкосновении с бытом она искажается, — так же, как и ее партнеры.

Существование Анны Ахматовой после октябрьского переворота являет собой страшную картину.

То же можно сказать и о Марине Цветаевой; ее жизнь в так называемой «послереволюционной» Москве достаточно известна... Когда она узнала, что Сергей Эфрон остался в живых, находится в Турции и едет в Прагу, она, не раздумывая, начала собираться в дорогу, обмирая от ужаса, — вдруг поездка не состоится... Она уезжала с тяжелым серд-

цем: она потеряла в Москве младшую дочь, погибшую от голода; она ехала «в никуда». Но она ехала к мужу; без него она не мыслила жизни.

И, что особенно важно: ее творческая энергия была настолько мощной, что она буквально ни на день не прекращала писать (стихи, дневники, письма). Приехав в мае 1922 года в Берлин, еще не встретившись с Сергеем Эфроном, который задерживался в Праге, она сразу же ощутила прилив творческих сил, импульс, невольный посланный человеком, захватившим ее воображение, — и полился поток лирических стихотворений... А то обстоятельство, что произошло все это не «дома», а на «чужой стороне», — не имело значения. Отрыв от родины никогда не скажется на цветаевском творчестве.

Если Ахматова вырастала в поэта России, если она несла в себе свою эпоху (ее потом так и звали: «Эпоха»), то Цветаева-поэт превращалась как бы в «гражданина Вселенной». Недаром ей были близки слова Каролины Павловой:

Я — вселенной гость,
Мне повсюду пир,
И мне дан в удел
Весь подлунный мир!

«Жизнь — это место, где жить нельзя», — утверждала Цветаева. «В жизни ничего нельзя». Поэт

на земле — это *пленный дух*, он творит «в просторе души своей», и там ему подвластно все. Лирика Цветаевой — это лабиринт человеческих страстей, перипетии любовных чувств, где «она», лирическая героиня, — сильнее, мудрее объекта своей любви. В стихах Цветаевой нет примет времени, места; они — вселенские, мировые. Герои же ее крупных произведений — драм и поэм — литературные либо исторические персонажи, которым тоже нет места на земле. А главная и постоянная коллизия — разлука, разминовение, *невстреча*. В финалах многих ее вещей — все завершается неким вознесением — в иной, вышний мир: не рай и не ад, не Божий или дьявольский, — в *небо поэта*, которое, по Цветаевой, — «третье царство со своими законами... первое от Земли небо, вторая земля. Между небом духа и адом рода — искусство, чистилище, из которого никто не хочет в рай».

Ответ на вопрос: была ли Марина Цветаева верующим человеком, — не может быть однозначным. Цветаева-поэт ощущала над собой некий высший, *горный мир*, таинственную стихию, подчинявшую себе поэта, Гения поэта (*в мужском роде*; слово *Муза* она употребляла редко).

Это было БЫТИЕ поэта (слово самой Цветаевой). Что же до БЫТА, то есть земной обычной человеческой жизни, «в которой *жить нельзя*», — то именно здесь Цветаева на удивление покорно

соблюдала «правила игры» семейной женщины с двумя детьми (сын родился в 1925 году), почти безработным мужем и удушающими обстоятельствами полуничего существования: уборкой, стиркой, кухней, штопкой и т. п. Но цветаевской феноменальной энергии, о которой уже говорилось, — хватало на все. И на писанье стихов и прозы, и на выступления (для заработка) на литературных вечерах, и на воспитание детей.

Она жаловалась, громко жаловалась на существование, многих просила о помощи (и получала ее), проклинала убогую, приземленную жизнь — и продолжала жить, и творить, и печататься. Подавляющее большинство ее произведений увидело свет. Стихов со временем она будет писать меньше, перейдет на прозу, — но писать не перестанет ни на минуту. И прибавим: увлекаться людьми...

Счастлива она не была, да и не могла быть по трагическому складу натуры. Однако объективно ее жизнь за границей (Берлин, Чехия, Франция) в течение примерно 15—16 лет, не считая последних двух, — можно назвать *благополучной*, несмотря ни на что...

С точки зрения благополучия или хотя бы минимального, бытового «устройства» жизнь Анны Ахматовой являет собою сущий ад, и чем дальше, тем хуже. В июле 1922 года, когда Цветаева собиралась переезжать из Германии в Чехию, Ахматова написа-

ла стихотворение, где выразила не только отношение к России, к ее судьбе, но как бы приоткрыла частицу своей души:

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.

Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Польнью пахнет хлеб чужой.

А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час...
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

В двух последних строках — вся Ахматова: сдержанна, величественна, проста. Она приготовилась нести свой крест, испить свою чашу. Чашу немислимого одиночества, потому что никогда не была она «ни с теми, ни с другими». Ее жизнь разрушалась. И тогда она, поэт Анна Ахматова, примет всю тяжесть свершающегося в стране на свои плечи.

Поначалу у нее еще выходили книги стихов: политическая, литературно-конъюнктурная обстанов-

ка в стране еще балансировала на последний грани возможного. А затем все оборвалось. «Между 1925—1939 годами меня перестали печатать совершенно... Тогда я впервые присутствовала при своей гражданской смерти. Мне было 35 лет...» — писала Ахматова.

Нищету, в которой она жила, представить невозможно. Современники вспоминают, что порой в доме не было сахара к чаю — да и самого чая; зарабатывать она не могла; постоянно болела, бесконечно температурила и часто просто не могла поднять головы от подушки, лежа дни напролет.

Конечно, были преданные друзья; навещали, приносили еду, помогали, вернее — брали на себя бытовые хлопоты и дела. Ахматова ничего и никого не просила, — да это и не было нужно; люди видели, что она не может заниматься житейскими делами, и ее поручения подразумевались сами собою и исполнялись с радостью. Все понимали, что она не рисуется, не строит из себя некую «барыню». Она была естественно и органично отрешена от быта — как вещи, для нее абсолютно непосильной. И так же стойчески, не жалуясь, переносила свои вечные недомогания, не терпела и не допускала, чтобы ее «жалели».

Но ее дух работал постоянно. В двадцатые годы, когда она почти прекратила писать стихи, она стала изучать Пушкина, его трагедию, его гибель, психо-

логию творчества. Долгие годы Ахматова посвятит своей «пушкиниане», — и эта работа будет соответствовать ее натуре: неспешное обдумывание, сопоставление различных источников, и, конечно, множество важных и тонких открытий.

Марина Цветаева займется пушкинской темой несколько позже, не изучая Пушкина так углубленно, как Ахматова. Ее суждения, «формуль» беспощадны, пристрастны; ахматовские наблюдения — сдержанны, хотя и не бесстрастны; за каждой мыслью стоит гора переработанных, обдуманных источников. Хотя обе были диаметрально противоположные «пушкинистки» (Цветаева в этом отношении очень раздражала Ахматову), их роднила нелюбовь к Наталье Николаевне Пушкиной.

Вообще сам процесс творчества проходил у них совершенно по-разному. Цветаева подчиняла свое вдохновение по-мужски деловому, четкому режиму. «Вдохновение плюс воловий труд — вот поэт», — утверждала она. Она исписывала десятки страниц в поисках нужной строки, или даже слова. К Ахматовой стихи приходили иначе. Уже немало написано о том, как она, лежа и закрыв глаза, что-то невнятно бормотала, или просто шевелила губами, а потом записывала то, что ей услышалось. Естественно, так же они работали и над переводами. Цветаева заполняла рабочую тетрадь столбцами рифм, вариантов строк и т. п. Эти тетради я видела неоднократно. С Ахматовой в этом смысле дело обстояло, конечно, «по-ахматовски».

Однажды, по просьбе редактора, я передала Анне Андреевне подстрочники двух нерифмованных стихотворений болгарского поэта Пенчо Славейкова. А потом увидела их перевод. Ахматова лишь слегка прикоснулась к подстрочнику: где изменила фразу, где слово, — и произошло чудо: стихи зазвучали музыкой. За всем этим также стоял *труд поэта*; только бумаге доверялся не *поиск* (как в цветаевских черновиках), а *результат*.

...Советский режим, террор и репрессии, царившие в стране, планомерно добивали Ахматову. В 1939 году был арестован ее сын (в первый раз — в 1935 году, но тогда его вскоре выпустили).

Эта трагедия сделала Ахматову великим поэтом России.

За пять лет, с 1935 по 1940 годы, ею написано не более двадцати стихотворений. Но дело было не в количестве. Зазвучал трагический голос из преисподней — голос миллионов, казненных и замученных. Заговорила страдающая, поруганная Россия — устами поэта, который «в глухом чаду пожара» остался со своим народом и «подслушал» у него те самые, единственные слова, которыми только и смог выразить весь кошмар происходящего.

Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река,
Но крепки тюремные затворы,
А за ними «каторжные норы»
И смертельная тоска...

Эти стихи составили цикл «Реквием». В России они будут напечатаны лишь через двадцать лет после ее кончины...

Трагедия России настигла, наконец, и Марину Цветаеву. Обстоятельства ее возвращения в июне 1939 года в Москву, когда она, спасаясь от одной гибели, прямиком угодила в пасть другой, — широко известны. Ее дочь Ариадну и Сергея Эфрона арестовали в том же самом, 1939 году, что и Льва Гумилева. Ахматова носила передачи в ленинградский застенек, Цветаева — в московский. Как много знали они друг о друге в это время?

Поглотила любимых пучина,
И разрушен родительский дом.
Мы с тобою сегодня, Марина,
По столице полночной идем,
А за нами таких миллионы,
И безмолвнее шествия нет,
А вокруг погребальные звоны,
Да московские дикие стоны
Вьюги, наш заматающей след.

(«Невидимка, двойник, перемешник...», март 1940)

Этих строк Цветаева никогда не узнала.



Остается напомнить об их встрече, уже много раз описанной. Они виделись 7 и 8 июня 1941 года, перед самой войной, в Москве, куда Ахматова приезжала хлопотать за сына. О содержании их разговора почти ничего не известно. Известно лишь,

что Ахматова больше молчала, а Цветаева много и нервно говорила. По-видимому, внешне они не особенно понравились друг другу. «Просто — дама», — равнодушно отозвалась Цветаева в ответ на чей-то взволнованный вопрос. Ахматова же с юмором заметила: «Она была сухая, как стрекоза». И другому собеседнику: «В сравнении с ней я телка».

Несомненное и взаимное любопытство друг к другу, конечно, сильно померкло под тяжестью и горечью бед, свалившихся на плечи обеих. Однако попытка творческого общения поэтов все же состоялась. И обернулась взаимным непониманием, *не-встречей*, как могла бы сказать Цветаева. Она читала (и подарила Ахматовой) «Поэму Воздуха». Ахматова прочла начало своей заветной «Поэмы без героя», работе над которой она впоследствии посвятит много лет, — поэму о наваждении теней прошлого века. (Напомню, что новый, «не календарный» XX век для *Анны Ахматовой* начался с войны 1914 года, положившей начало гибели *ее* России). Когда Цветаева слушала главу «Решка», в которой как бы «подводным течением» проходили мотивы «Реквиема» — вряд ли она что-нибудь поняла; о «Реквиеме» же вообще не имела представления; эти стихи находились глубоко под спудом и читались единицам... Она могла воспринять лишь то, что лежало на поверхности: условность, театральность имен и названий. «Надо обладать большой

смелостью, чтобы в 41 году писать об Арлекинах, Коломбинах и Пьеро», — вспоминала Ахматова слова Цветаевой.

В свою очередь Ахматова не приняла цветавскую «Поэму Воздуха», обращенную к памяти Р. М. Рильке, — гениальную *поэму смерти, поэму ухода, поэму расставания с земной стихией, поэму перехода* в великую стихию Духа, Разума, Творчества. «Марина ушла в заумь, — писала Ахматова много лет спустя, в 1959 году о «Поэме Воздуха». — Ей стало тесно в рамках Поэзии... Ей было мало одной стихии, и она удалилась в другую или в другие».

Два больших поэта не поняли друг друга. Так случается: слишком велика была творческая индивидуальность каждой. Да и обстановка в России не способствовала *подробным, откровенным* отношениям. На взаимопонимание необходимо время, — его не было.



Через две недели началась война. 31 августа в татарской Елабуге Марина Цветаева покончила с собой. Ахматова отправилась в эвакуацию в Ташкент. После Цветаевой она прожила без малого двадцать пять лет. Она осталась «домучиваться». Ей предстояла еще целая цепь трагедий. И лишь в конце жизни пришло международное признание — премии в Англии и Италии.

Трагические перипетии еще больше утверждали Анну Ахматову в сане русского национального поэта, вобравшего в себя, несшего в себе все беды своего народа.

Быть может, одно из лучших свидетельств тому — стихотворение, написанное в 1961 году, за пять лет до смерти:

Если б все, кто помощи душевной
У меня просил на этом свете, —
Все юродивые и немые,
Брошенные жены и калеки,
Каторжники и самоубийцы, —
Мне прислали по одной копейке,
Стала б я богаче всех в Египте,
Как говаривал Кузмин покойный.
Но они не слали мне копейки,
А со мной своей делились силой.
И я стала всех сильнее на свете,
Так что даже *это* мне не трудно.

Новая прежняя Цветаева*

То была встреча, словно наконец увидела человека, которого давно знала, и после долгой разлуки он предстал вновь: прежний и незнакомый, изменившийся и одновременно верный себе.

Листаю «Сводные тетради». Узнаю пространные отрывки, подробные психологические планы и замыслы трагедий «Ариадна» и «Федра», записки к «Крысолову», к «Поэме Горы», «Поэме Конца»... Афоризмы, меткие суждения, наброски к стихам и поэмам... Все это были выписки, которые делала Ариадна Сергеевна**. Так что встреча моя со «Сводными тетрадями» — глубоко *личная*, как, уверена, ни для кого другого.

* Написано к предполагавшемуся Международному парижскому симпозиуму, посвященному 105-летию со дня рождения Марины Цветаевой. Не прочитано в связи с переносом симпозиума на 2000-й год.

** См. об этом в главах «Как мы готовили издания Марины Цветаевой» и «Священная ревность».

Как рассказать о них, вобравших в себя столько удивительных, интереснейших вещей, что по ним можно написать целый роман о Марине Цветаевой? Все здесь главное, и все — равнозначно, — и вместе с тем достаточно сумбурно, с прерываниями и с возвратами к уже сказанному. Марина Ивановна никогда, естественно, не издала бы эти разрозненные записи в том виде, в каком составила из них четыре сводные тетради. Ведь она переписывала туда все, что хотела сохранить и увезти с собой в Россию. Ни о каком «построении» тетрадей, плане — речи не было и не могло быть; планы поэм перемежаются с записями лепета трехлетнего Мура; варианты стихотворений — с набросками личных писем; афоризмы, перенесенные из ветхих записных книжек, которые уничтожала — с воспоминаниями отдельных эпизодов, и т. д. и т. п.

Начну, пожалуй, с записи, особенно меня обрадовавшей: *встреча узнавания*.

Предыстория: когда-то Ариадна Сергеевна подарила мне маленький листок бумаги с такими словами Марины Ивановны (июнь 1925): «...потому что считали, что слишком мало — люди не давали мне НИЧЕГО. Поэтому, должно быть, Б<орис> П<астернак> не посвятит мне ни одного стихо<творения>...»

Читаю в «Тетрадах» (март того же года):

«Б. П., Вы посвящаете свои вещи чужим — Кузмину и другим, наверное. А мне, Б(орис), ни строки. Впрочем, это моя судьба: я всегда получала меньше чем давала: от Блока — ни строки, от Ахматовой — телефонный звонок, который не дошел, и стороннюю весть, что всегда носит мои стихи при себе, в сумочке, — от Мандельштама — несколько холодных великолепий о Москве (мною же исправленных, досозданных!), от Чурилина — просто плохие стихи (только одну строку хорошую: Ты женщина, дитя, и мать, и Дева-Царь), от С. Я. Парнок — много и хорошие, но она сама — не-поэт, а от Вас, Б. П. — ничего...»

Она делает выписку из неотправленного, по-видимому, письма к Пастернаку о «Лейтенанте Шмидте» (1 июля 1926 г. она послала более мягкое письмо); она пишет, что его герой «ноет», «слюнит», он — «нытик»: «слезы и слизь». О том, что письма Шмидта — «срифмованный жаргон 1905 г.» (В отправленном письме Марина Ивановна была сдержаннее: «Письма (Шмидта. — А. С.) — сплошная жалость. Зачем они тебе понадобились?»)

Новая — прежняя Цветаева...



Известно, что во второй половине двадцатых годов Цветаева почти перестала писать лирические стихи, да и вообще стихотворные вещи стали да-

ваться ей тяжело (пушкинское «лета к суровой прозе клонят»?). И вот подтверждающая запись 1929 года — во время работы над «Поэмой о царской семье»:

«— Почему я в 1920 г. (когда уже *хорошо* писала!) — писала так легко? (Все Ремесло, напр., написанное в *год*! Бывало — по два стиха в день!) Что со мной сделалось? сделали? — Сплошное непопадание в волну (ритмическую). Ничто не *несет* (раньше уносило: заносило — как метель!). Если я еще пишу — и *хорошо* пишу — то только благодаря упорству. От отчаяния. Голое сознание долга — перед кем и чем? — Раньше: не пишу — не дышу, сейчас: не пишу — не вправе дышать.

Другие ждут «вдохновения»... Если бы я ждала вдохновения (<...> Ведь если не *сесть* (засесть) — стихи себя сами не напишут. Придут («в голову» — пройдут сквозь нее облаком) — и пройдут. Я ведь тоже могу не писать — месяцы! (Не внутренно — могу, стихотворно — могу.) Больше того: я *чаще* всего — каждый день, каждый раз, когда сажусь — *не могу писать*. (Особенно не могла — Федру. Точно воз везла! А как вышла! Самое коварство, что ни малейшей приметы — этого моего возо-везения: *водо-воз'ства*: сплошной *поток*!) Скажем честно: большие стихотворные вещи — моя каторга.

Последнее вдохновение — Письмо к Р (<ильке>) (Новогоднее). Федра — уже колодки. Перекоп — вдохновенность не стихом, а темой».

И дальше, о «Поэме»:

«Неделю бьюсь над восемью строками. Чтобы написать эту вещь так, как она была, нужно *любить* и *смочь*, т. е. быть мной, человеком, и мной, поэтом (рукою, слухом). Дай мне Бог написать эту вещь хотя бы в год. (Нынче 1-го июля 1929 г.) Столько мыслей — и так мало строк! Столько строк — и так мало *связи!*»



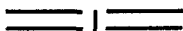
Неожиданностью для меня оказалась вторая «попытка беловика» главы из «Егорушки» — «Лазорь-река» — январь 1923 года, вскоре после окончания «Молодца». В свое время мне удалось получить тетрадь «Егорушки» 1928 года; я думала, что это и есть вторая «попытка» поэмы. Оказалось — третья. (Так в мою книгу о Цветаевой вкралась неточность, в которой я неповинна, но которая — досадна.) Марина Ивановна вскоре бросила поэму: старый прототип остался в далеком московском прошлом, новый же не просматривался нигде вокруг, да и *жизнь души* поэта пошла по совсем другому руслу: романтическая переписка с Пастернаком и А. Бахрахом; осенью — сокрушивший все роман с Родзевичем... «Остатки» поэмы Марина Ивановна тем не менее терпеливо переписала в первую «сводную тетрадь».



Разбирая «Тетради», я, конечно, не могу быть последовательна; их естественная непоследователь-

ность, отрывочность, даже — хаотичность заставляет и меня писать отрывочные наблюдения...

Великолепен цветаевский отзыв на полускандалный в то время роман Д. Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей». С одной стороны, спокойное восприятие Мариной Ивановной шокирующей публику эротики (вспомним, однако, ее письмо к Родзевичу в сентябре 1923 года, с легкой руки В. Б. Сосинского давно известное). С другой — высокая верность Духу, Высоте. И вот, в результате Цветаева дает блистательный, гармоничный — и ироничный отзыв о романе. Герой, пишет она, «слишком духовен для такой физики, какой-то принципиальный любовный Геракл. Вроде пропагандиста». И дальше: «Все ощущения книги — верны, а большинство рассуждений героя — излишни». Ее вывод: «Странная книга. Прекрасная по авторскому бесстрашию. Но есть — тошнотворность, перегруженность *сластью* — пресыщающая — и отвращающая читателя».



С юности — и всю жизнь — искала она *абсолют* в любви. Никогда не находила и не нашла; как только казалось, что приближается, — идеал рассыпался в прах. Рассуждения лишь заводили в тупик, как, например, эта запись, сделанная еще в Москве, до отъезда:

«Любить только женщин (женщине) или только мужчин (мужчине), заведомо исключая обычное обратное — какая жуть!

А только женщин (мужчине) или только мужчин (женщине) заведомо исключая необычное родное — какая скука!

И все вместе — какая скудость.

Здесь действительно уместен возглас: будьте как боги!

Всякое заведомое исключение — жуть».

А много лет спустя, «нырнув» на дно своей души, внезапно признается себе, что тянулась к таким, как герой «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца», — которого некогда назвала «любовником любви», и в сущности, к нему обращает очередное свое откровение:

«8-го сент(ября) 1932 г.

Есть, очевидно, люди одаренные в любовной любви.

Думаю, что я, отчаявшись встретить одаренность душевную, а сама в любовной любви если не: бездарная, то явно-неодаренная, во всяком случае *явно* (обратное от *тайно*) *не* одаренная — к этой одаренности, в них, тянусь, чтобы хоть как-нибудь восстановить равновесие.

Образно: они так целуют, как я — чувствую и так молчат, как я — говорю.

Ничем иным такое тяготение всегда к тем же, к таким же, при моей холодной в любви (и только в любви!) крови не объяснишь. (Разве что надежда на горячую кровь (собственную)?)

Тянусь к их единственному дару (моему единственному — отсутствующему).

Еще одно — и очень сильное.

Эти люди (и только эти!) делают меня другой, новой собой, не-собой. Соблазн собственной новой души, а не чужого тела. И соблазн — чужой души, только тогда — беззащитной, разверзтой (*моя — всегда!*) и только так заполучаемой.

Только в этом они сильнее, цельнее, полнее меня.

К людям высокого духа я — любовно — не влеклась. Мне было жаль их на это, себя на это (Володя А<лексеев>). Что — это? Да на эту *невысокую* беду».



Родзевич. В записях, относящихся к нему, она хочет сохранить — всю себя, до беспредельных откровений, порой обнажая душу буквально до последнего предела, так что трудно читать эти страшные по своей незащищенной искренности мысли и чувства, которые она поверяет «Тетрадам». Она пишет (так ей кажется в ту минуту), что рассталась с Родзевичем, когда услышала от кого-то, что он не навестил в больнице ее умирающую «предшест-

венницу» — и вообще-то обратил свой взор на нее, Марину Ивановну, оттого, что ему просто была нужна женщина... Ее отчаяние так велико, что она «увекочивает» чужие грязные сплетни, которые я не рискую приводить. Мы никогда не узнаем (да и не надо!), что было на самом деле. Важно одно: она продолжает любить его и не представляет, как будет (и будет ли) жить дальше. Об этом — душераздирающая запись:

«Итак, другая жизнь: в творчестве. Холодная, бесплодная, безличная, отрешенная, — жизнь 80-летнего Гёте.

Это: будучи ласковой, нежной, веселой, — живой из живых! — отзываясь на все, разгорающейся от всего.

Рука — и тетрадь. И так — до смерти. (Когда?!) Книга за книгой. (Доколе?) Еще: менять города, дома, комнаты, укладываться, устраиваться, кипятить чай на спиртовке, разливать этот чай гостям. Да, гостям, ибо на другое я не вправе.

Никого не любить! Никому не писать стихов! И не по запрету, дареная свобода — не свобода, моих прав мне никто не подарит.

Друзья? Мало, вяло, не по мне, не для меня. Я «подруга», а не друг. Die Freundin, а не die Frau*.

* Подруга, а не жена (нем.).



1957 г. Тогда я еще не думала о мемуарах. (Публикуется впервые).



«В первый мой приезд Ариадна Сергеевна показала мне Тарусу во всей красе. Научила пристально вглядываться в каждую травинку, в каждый цветок. Во все разнообразие красок». Июль 1961. Фото А. А. Шкодиной. *(Публикуется впервые)*.



Новый год в Тарусе. 1 января 1963 г. Фото И. И. Емельяновой.
(Публикуется впервые).



Тарусский домик Ариадны Сергеевны. 1961—1963. Фото автора.
(Публикуется впервые).



Ариадна Сергеевна Эфрон с детьми любимой кошки Шушки.
Лето 1961 г. Фото автора. (Публикуется впервые).



Ариадна Сергеевна Эфрон и Евгения Михайловна Цветаева на вечере в Государственном литературном музее 27 октября 1962 г.
Фото В. С. Молчанова (фрагмент). *(Публикуется впервые).*



Анастасия Ивановна Цветаева и Ариадна Сергеевна Эфрон.
Паланга, около 20 августа 1963 г. Фото автора. *(Публикуется
впервые)*.



Ариадна Сергеевна Эфрон , Ада Александровна Шкодина и Александр Христофорович Саакянц. Мой папа провожает нас в Красноярск. Казанский вокзал, 15 июля 1965 г. Фото автора. *(Публикуется впервые).*



А. А. Шкодина и А. С. Эфрон на борту теплохода «А. Матросов».
Фото автора. (Публикуется впервые).



Казачинские пороги. 24 июля 1965 г. Фото автора. «Странно и страшновато от сознания, что справа и слева — речные рифы и на дне — кладбище вспоротых ими старых кораблей».

(Публикуется впервые).



«Мы... устремились к самому-самому морю, чтобы сфотографироваться на гряде камней, то есть уже на самом-самом краю острова». Диксон, 30 июля 1965 г.
Фото проходившего мимо туриста.



Пристань Туруханск, куда мы приплыли на обратном пути,
2 августа. Фото автора (*Публикуется впервые*).



Ариадна Сергеевна на туруханской земле. 2 августа.
Фото автора. (Публикуется впервые).



«Домик, где коротали ссылку две беззащитные, невинно осужденные немолодые женщины, — больше не существовал... А позже там были сделаны ступени с перилами... На них я и сняла Ариадну Сергеевну...»



С В. Б. Сосинским на Вторых цветаевских чтениях в московской библиотеке (Факельный переулок, 3). Декабрь 1978 г.
Фото Артёма Задикяна. *(Публикуется впервые).*



На дне рождения В. Б. Сосинского. Июнь 1982 г.
Фото Л. Турчинского.



Анна Ахматова. На обратной стороне фотографии — надпись:
«Милой Анне Александровне на память об Ахматовой. 27 февраля 1962. Комарово.»



Анна Ахматова. Дата на фотографии проставлена ею. Надпись на обратной стороне фотографии: «Милой Ане после Комарова. Ахматова. 1962. 28 мая. Москва.»



Ахматова подарила мне три фотографии!..



С Анастасией Ивановной Цветаевой на Первых цветаевских чтениях, состоявшихся в квартире Л. А. Мнухина. Октябрь 1978 г.
Фото Артёма Задикяна. (Публикуется впервые).



Ираклий Андроников. Фото на пригласительном билете на его вечер «Лента воспоминаний» в ЦДЛ 6 апреля 1963 г.



Ц. Л. Мансурова в роли Турандот.



А. А. Саакянц. 1985 г. Фото А. В. Ханакова.



И. В. Одоевцева после приезда в Россию. Слева: Анна Колоницкая, справа: Тамара Воронина.



С И. В. Одовцовой. Переделкино, июль 1988 г. Сзади стоят:
Н. Буланкова, Т. Бачелис, Э. Ананишвили.
Фото Л. М. Турчинского. *(Публикуется впервые)*.



В. В. Литвинов. 1962 г. Фото автора.



В. В. Литвинов с женой Зинаидой Никитичной. Начало 60-х гг.
Фото автора. (Публикуется впервые).



Н. Н. Вышеславцев. Автопортрет. 1914—1915 гг.
(Публикуется впервые).



К. Б. Родзевич. На оборотной стороне фотографии — надпись:
«5 сентября 79 г.

Колёса катятся,
А годы тратятся —
Теперь я стар,
И дряхл, и сед...»



К. Б. Родзевич. Автопортрет. *(Публикуется впервые).*



К. Б. Родзевич. Деревянная скульптура. (Публикуется впервые).



Александр Исаевич Солженицын.



На презентации книги «Марина Цветаева. Жизнь и творчество».
Болшево, 25 января 1997 г. Фото Муниры Уразовой.
(Публикуется впервые).

Замысел моей жизни был: быть любимой семнадцати лет Казановой (Чужим!) — брошенной — и растить от него прекрасного сына. И — любить всех.

М. б. в следующей жизни я до этого дорвусь — где-нибудь в Германии. Но куда мне загнать остаток (боюсь, половину) *этой* жизни — не знаю. С меня — хватит».



И это пишет Марина Цветаева, для которой между жизнью, творчеством и любовью (*тайный жар!*) всегда стоял знак равенства... Но в тот роковой момент ее жизни все рухнуло, казалось, навсегда.

Какая беспощадность самопризнаний, какая бездна отчаяния — и какое страстное желание увековечить свои трагические метания... И — столь же отчаянно, не щадя себя, упоминает она эпизод, когда «герой поэм» понял, что ее будущий ребенок — *не его*: «Не забыть записать этой дичайшей сцены ревности, в кафе, когда узнал, что у меня будет сын. Сначала — радость, потом, когда сообразил — ревность. Но все это смыто потоком крови рождения». К этой сцене Марина Ивановна не вернулась. А к Родзевичу, *переболев им*, она, как обычно, охладела, а впоследствии они стали, что называется, «встречаться семьями». Мария Сергеевна («Муна») Булгакова, на которой женится Родзевич, будет,

в числе прочих, нянчить новорожденного сына Цветаевой.



Сын Мур. О нем в «Сводных тетрадах» разбросана, в отрывках, целая поэма: *Муриана* (надеюсь, Марина Ивановна не рассердилась бы на меня за это слово). Поэма в прозе: рождение, первые слова малыша, и не только. Так же, как некогда в России Марина Ивановна вела летопись дней маленькой Али, а потом вставила ее стихи в свою книгу «Психея», так и теперь она переносит свои, а также дочерние записи и письма в «Сводные тетради», — то, что относится к Муру — кумиру и домашнему божеству. К летописи *его* дней.

Когда он родился, «...в тот день были поставлены на́ ноги все Мокропсы и Вшеноры. Я и не знала, что у меня столько друзей. Радость, когда узнали, что сын, была всеобщей. Поздравления длились дней десять», — вспоминает Марина Ивановна.

Затем — чередá лиц: добровольных помощников (в большинстве — помощниц), пришедших на помощь. (О, Марина Ивановна, мы помним, умела не просто просить: *требовать* помощи...)

Подробные записи об этих первых днях, когда Цветаева была вырвана из зачарованного круга своего одиночества — одиночества Поэта и Женщины, — самые радостные и жизнеутверждающие в «Тетрадах». Но мне хочется предоставить слово пятнадца-

тилетней Але, которая описала знаменательный день два года спустя:

«Когда Мур родился он был немножко меньше моего медведя... но вскоре его перерос.

При его рождении присутствовали многочисленные феи: А<лександра> З<ахаровна> — фея шитья и кулинарного искусства, Вал<ентина> Георгиевна — фея вечной молодости, няня — фея трудоспособия (мыла пол), Анна Ильинична — фея того же, что и В<алентина> Г<еоргиевна>, но даже скорее — фея вечной красоты и беззаботности, Анна Миха<айловна> Игумнова — фея хозяйственности, Н. Е. Ретивова — фея домовитости, В. А. Альтшуллер — фея равнодушной неряшливости и Наталья Матвеевна — фея рабства и робости. И потом фей — сам Альтшуллер, — фей медицины, высокого роста, худобы, доброты и еще всяких хороших качеств».



Как в Москве она заносила в тетрадь удивительные диалоги с маленькой Алей, так теперь записывает разговоры с сыном, — они пронизывают множество страниц. Если Аля-ребенок была гармоничной, не по летам развитой умницей, обожающей мать, то Мур — остер, шаловлив, ироничен, по-детски недобр. Но — во всех проявлениях — умен и талантлив, как и сестра.

«— Мур, не беги так — еще нос себе расквасишь!

— По крайней мере квас будет, если нос расквасю».

«— Иисус Христос был женат?

— Нет.

— Холостяк, значит?»

(Ему — шесть. Он и стихи пробовал писать.)

Конечно, семья «выталкивала» Марину Ивановну в «жизнь, как она есть» — в добром смысле, со всеми житейскими подробностями, драгоценными «домашними» мелочами. И Марина Ивановна переписывает, сохраняет остроумное, жизнерадостное «Письмо Али про Мура»:

«Вчера мы (мама, Мур и я) были на Grande Côte, на поездке до St. Palais, и пешком оттуда. В поезде Мур сидел очень важно, и от удовольствия жевал свой собственный язык. В лесу он говорил, что запах там соснѣнный, пил молоко и спрашивал, скоро ли поедем обратно (из-за поезда!). До Gr<ande> Côte шел хорошо, а там от восторга лег на живот перед самым казино'м и стал орать нечеловеческим голосом, болтая ногами. Наконец, по зыбучим пескам дошли до свободного местечка (было воскресенье, и много народу) и стали Мура кормить. Он один жевал как целое стадо коров. Посреди еды он вдруг сказал d'une voix lugubre*: — «Мама я хочу», и т. д. Я жертвенно, при всем честном народе его посадила. Потом мама, к<отор>ой, как известно, никогда на месте не сидится, решила лезть на дюны — чтобы оттуда полюбоваться чудесным видом. И мы полез-

* Мрачным голосом (фр.).

ли. Я, за мной Мур, за ним мама. Я его ташу, мама пихает, мы все ссыпаемся. Ну, наконец, влезли. Стоим, смотрим вниз, и вдруг кто-то произносит: — Il est six heures moins dix*, а наш поезд — без пяти. Мчимся. Мур летит с нами и невинным голосом спрашивает, стоит ли наш поезд, не уехал ли он, и что наверное он давно уехал. (А он — последний!) Мама шипит (keucht)** — Молчи, Мура! — Наконец прибегаем. Садимся. Ждем 25 мин. Едем. Приезжаем.

Рукой Мура: — Милый папа, я был на Грандкот.

Мур

и Аля

21-го авг(уста) 1928 г., понедельник

Понтайяк»

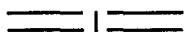


Но в целом — мало радости в «Сводных тетрадах». Более того: они — трагичны, они пронизаны душевной болью, ощущением неизбежного одиночества, утоляемого лишь общением с тетрадами, которым можно поведать самое-самое тайное, в чем признаться в этой жизни — НЕКОМУ. Цветаева словно испытывала удовлетворение, повторяя подчас уже высказанное, еще раз перестрадав, еще раз «развенчав». Не только мужчин, не любивших ее. Как горько, думаю, было ей уже в 1938 году,

* Без десяти шесть (фр.).

** Здесь: тяжело дыша (нем.).

вспоминать о предательстве Веры Гучковой-Сувчинской-Трейл. Этой личностью она увлеклась, писала письма, полные дружбы и любви. Потом узнала, что та уговаривала Сергея Яковлевича разойтись с нею («женский заспинный удар») и на Алю дурно влияла, чуть ли не *развела* ее с матерью. Преувеличение, конечно, но от этого не легче. И она развенчивает бывшую приятельницу: «разлюбила — и даже отвратилась — и постепенно превратила ее в нарицательное — пустоты и низости».



И опять — давно знакомое, давно известное (много читала об этом у Марины Ивановны и писала), теперь это выражено другими словами:

«Я бы хотела, чтобы меня любил старик, многих любивший, меня — последнюю. Не хочу быть старше, зорче, грустнее, добрее, холоднее. Не хочу, чтобы на меня смотрели вверх. Этого старика я жду с 14 лет: им бы *был* Стахович, им — *почти* был В<олкон>ский, п. ч. он меня *почти* полюбил». (из записных книжек 1926—27 гг.). Уже давно те времена миновали, а Марина Ивановна все верна своим великолепным «старикам». О том же она пишет и Родзевичу:

«Я *всегда* хотела слушаться, другой только *никогда* не хотел властвовать (мало хотел, слабо хотел), чужая слабость поддавалась моей силе, когда моя

сила хотела поддаться — чужой»; «Я всегда хотела служить, всегда исступленно мечтала слушаться, ввериться, быть вне своей воли (своеволия), быть младше <...> Быть в надежных старших руках. Слабо держали — оттого уходила».

Если бы все было именно и только так...

Великая *двойкость*, вечная двойкость: хотела быть младше — а тянулась к юношам сыновнего возраста. Бахрах, Гронский, Штейгер... Материнские чувства сливались с переживаниями стареющей женщины... В один прекрасный (страшный!) день ее молодой друг взглянет на нее с брезгливым ужасом, как взглянул на Федру Ипполит... Она это знала: «Федра» уже была написана с роковыми словами Ипполита мачехе: «Гадина!» От комплекса Федры она не освободилась никогда: даже после возвращения в Россию.

«Федра» написана, и возникает новый замысел: повесть «Красная шляпа». Не преувеличу, если скажу, что этот отрывок написан с истинно шекспировской силой:

Женщина, чей возраст («фактически — шестьдесят») лишь усугубляется красной шляпкой на ее желтых крашенных волосах. Вероятнее всего, женщину эту Марина Ивановна видела на вандейском пляже, — а остальное, как всегда, домыслила.

Некий мужчина, на двадцать лет моложе (опять-таки возраст сына, пусть и немолодого) хочет, чтобы некто (поэт? сама Марина Ивановна?) написал об этой «старой кокетке», вдохнув в ее

образ ту *любовь*, которую он сам ей дать не может. Она не смешна, эта «игрица», у которой — «шея из последних жил», «глаза — у греческих статуй, у египетских мумий, сквозь прорези масок». Она отворачивается, уходит от всех, кто окружает ее, ибо эти *все* — молоды. «Мы для нее были — рай, каждая морщина на собственном лбу — меч архангела... Это была... трагедия. Человека... со смертью. Бывшего цветка, еще почти-цветка — еще чуточку-цветка! — с черепом, с заступом. Не: — Почему так все кончается?! — а: — Не хочу, чтобы это кончилось! — Пусть все кончится, только не это! Ты, свою молодость бы купившая — ценой *всех* жизней!»

Эти наброски — романтический, восторженный гимн — *чужому*, страшному, враждебному, ужас и притяжение, любовь и содрогание — опять цветаевская грозовая двойкость, — и я не могу удержаться от цитаты:

«Ты была родной дочерью Людовика XV — *après moi le déluge!** — да и XIV — *L'Etat c'est moi***». Такие на Титанике, <...>, отталкивая, в море сбрасывая чужих маленьких детей (своих у них нет и быть не может!) первые бросаются в спасательные лодки — спасти красоту!

Милая и злая чужая, родная чужая, такая недосыгаемая под красными полями шляпы. (Заемная кровь, весна.)

* После меня хоть потоп! (*фр.*)

** Государство — это я (*фр.*).

Вся я в ту секунду сводилась к укору: — почему Бог не создал меня мужчиной, чтобы в этот данный час (твой последний!) любить тебя? — так, чтобы этой любовью вызвать на твоём лице окончательную победу молодости — улыбку».



Мужчины ее не любили. Она это знала. Писала Пастернаку: «Я не нравлюсь *полу*». Но сама с собой была еще откровеннее. Ее запись «Почему люди (мужчины) меня не любили» — беспощадна. Перечислив причины, Марина Ивановна объясняет все предельно откровенно: «Просто не нравилась. «Как женщина». Т. е. мало нравилась, п. ч. этой женщины было — мало...»

Знала. И мстила (чисто по-женски).

Она воссоздает свои эпистолярные романы молодых лет. Первый: 1922—1923 гг. Он известен: «Флорентийские ночи», герой — «Геликон». Поток ее страстных писем к нему, его единственный ответ и ее мечь: небрежное неузнавание его на балу и навязчивое утверждение, будто он носил усы (никогда на самом деле не носил). Перемоловшись в душе поэта, эти события сделались *литературой*: «Флорентийские ночи» — эпистолярный роман, переведенный Цветаевой на французский, он давно известен в обратном переводе. И вот теперь я вижу подлинные, *русские* письма Марины Ивановны, которые она переписала в «Сводные тетради». (Разница

с французским переводом невелика, изменения весьма незначительны.)

Второй эпистолярный роман возник год спустя. С адресатом — молодым критиком А. Бахрахом — Цветаева не встречалась. Снова — водопад ее любовных писем, — и два-три года спустя — первая встреча у знакомых. Марина Ивановна произносит поистине дикий монолог о... кровавой колбасе, которую ели за столом (дом находился рядом с бойнями, где эту колбасу изготовляли)... Эту историю, кстати, Цветаева переписала в «Сводные тетради» дважды. «...цель моя была, — замечает она, — только мистификация: оказаться после такого, после *того* лирического потока — дурой, занятой только кровавой колбасой». Уничуждение паче гордости, вернее — великая цветаевская гордыня.

Себе самой в «Тетрадах» она признается: все, кого она любила, без нее — *обошлись*: Волконский, Бахрах, даже — Борис Пастернак, ибо женился не на ней, «полюбив — другую».

Простая женская обида: не нравилась *полу*.

Новая Цветаева? Нет, прежняя, ни в чем себе не изменившая...



Болевые записи, трагические откровения, перемежаемые планами, черновиками, лепетом Мура и т. д., — все шло в «общий котел» «Сводных тетрадей».

Великая графомания великой личности...

Графо-мания: Цветаева наверняка перетолковала бы это понятие, возвратив первоначальный смысл его составляющим: *любовь к слову*, одержимость словом. Так вернула она изначальный вес слову *высокомерие*: *мерить высокой мерой* — и сама этим высокомерием обладала в полной мере.

Кстати, листая «Сводные тетради», я набрела на слово *добродушие*, которое я давно — очевидно, вслед Цветаевой (но никогда прежде у нее не встретив) переосмыслила самостоятельно, «поделив на два». И вот читаю:

«Как из таких огромных слов: *добро* и *душа* смогли сделать это среднее, вялое *добродушие*? (Случай, когда вещи, сложенные, дают безмерно-меньшее: уничтожаются...)»

Что может быть радостнее такого единомыслия?



«Графоманию» она унаследовала от отца. Иван Владимирович обладал литературным даром, писал очень много: статьи, лекции, доклады, и — замечательные личные письма, которые сохранились в огромном количестве. Прежде чем отправить письмо корреспонденту, он снимал с него копию, — чаще всего сам. Так и Марина Ивановна не ленилась переписывать, иногда по несколько раз, свои черновики, наброски, планы уже напечатанных, изданных вещей. Признаюсь, многое для меня осталось загад-

кой, для чего все это она хотела сберечь? Да, время показало, что — для нас: исследователей, издателей, почитателей... Но если подумать, исходя не из наших, так или иначе «корыстных» интересов, а — просто: встав на точку зрения поэта: для чего? Борис Пастернак писал: «Не надо заводить архивов, // Над рукописями трястись»... А она «тряслась» над самыми, казалось бы, мелочами. Вот запись:

«Какой должен быть напор, чтобы так сжаться! (О чем? Найти. Хвост очень точного наблюдения.)»

Найти — что? Чтобы дописать, развить — когда? Ведь она знала, что уезжает на гибель...

Ответ напрашивается один: каким-то «уголком» подсознания, никогда не оформляя в *мысль*, Марина Ивановна Цветаева, отвергавшая «жизнь, как она есть», не раз за годы «ипца глазами крюк», вопреки всему рассчитывала... жить. И жить — долго.

Такова была легендарная цветаевская энергия. Но ведь Марина Ивановна сама писала: «Поэт — это утысячеренный человек»...

Декабрь 1997.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНО-СОЮЗНОЕ ПУБЛИЧНОЕ
МАРИНЫ И АНДРЕЯ ЦВЕТАЕВЫХ

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ИВАНА ВЛАДИМИРОВИЧА ЦВЕТАЕВА

ВЫСТАВКА СПАСИБО ВАМ!

МАРИНА ЦВЕТАЕВА
АННА АХМАТОВА
ИРИНА ОДОВИЦЕВА
НИКОЛАЙ ВЫЩЕСЛАВЕЦ
АРМАНА ЭФРОН
ВЛАДИМИР ЛИТВИНОВ
ВЛАДИМИР СОСИНСКИЙ
ВЛАДИМИР РОДЗЕВИЧ
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦИН

ИЗ СОБРАНИЯ АННЫ СААКЯНЦ

Афиша выставки в Александрове

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
МАРИНЫ И АНАСТАСИИ ЦВЕТАЕВЫХ

К 150-летию со дня рождения
И. В. Цветаева

Каталог-путеводитель

ВЫСТАВКА

„СПАСИБО ВАМ...“

из собрания Анны Александровны СААКЯҢ

Ариадна ЭФРОН, Анастасия ЦВЕТАЕВА,
Владимир СОСНИНСКИЙ, Владимир ЛИТВИНОВ,
Анна АХМАТОВА, Ирина ОДОЕВЦЕВА,
Константин РОДЗЕВИЧ,
Николай ВЫШЕСЛАВЦЕВ

15 мая — 5 июля 1997 г.

ЗАЛ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ МУЗЕЯ
ул. Институтская, д. 6, корп. 2
9.00 17.00

Каталог выставки в Александрове

Указатель имен

- Абрамов Ф. А. 332
Адамович Г. В. 237, 344, 346, 369, 383, 392, 394, 551
Айхенвальд Ю. И. 241
Алексеев Вас. (Сосновский) 454
Алексеев Вас. Вас. 454-456
Алексеев Вл. Вас. 445-458, 575
Алексеев Г. Вас. 455, 456, 457
Алексеев Н. Вас. 455, 456, 457
Алексеев С. Вас. 455, 456, 457
Алексеева (мать Т. Г. Снесаревской) 452
Алексеева А. И. (урожд. Кодер) 451, 455, 457
Алексеевы (семья) 450-457
Алигер М. И. 19, 43, 45, 224, 226, 227, 228
Альтман Н. И. 551
Альтшуллер В. А. 579
Альтшуллер Г. И. 579
Андреев В. Л. 197, 199
Андреев Л. Н. 199
Андреева А. И. 579
Андровская О. Н. 407
Андроников И. Л. 171, 172, 205, 206, 302-316
Андроникова М. И. 315
Андроникова-Гальперн С. Н. 226, 227, 228
Анненский И. Ф. 395
Антокольская Н. П. 325
Антокольский П. Г. 53, 141, 171, 213, 219, 226, 316-328
Апетян А. К. 158
Арагон Л. 180, 504

- Арапова А. П. 277
Арбузова Г. А. 195
Арбузова Т. А. 195
Арносто Л. 201
Ариша (соседка А. С. Эфрон) 197, 199
Асеев Н. Н. 470
Афоня 144
Ахмадулина Б. А. 294, 492
Ахмат, хан 545
Ахматова А. А. 23, 26, 30, 31, 40, 148, 161, 162, 201, 227, 232, 235,
274—301, 317, 322, 351, 353, 363, 365, 367, 389, 390, 392—393, 394,
396, 398, 423, 541—567, 570
- Бабаев Э. Г. 352
Багрицкий Э. Г. 425
Бальмонт К. Д. 328, 453, 464
Бандровска-Турска Е. 407
Барбюс А. 504
Баталов А. В. 288
Бах И. С. 193, 194
Бахрах А. В. 51, 357, 572, 583, 586
Башкирцева М. К. 209
Белкина М. И. 69
Белова Т. 93
Белый Андрей 327, 328, 336, 346, 352, 383, 400, 461
Бенкендорф А. Х. 454
Беранже П. Ж. 290, 320
Берберова Н. Н. 343, 344, 369
Бергер И. 215, 216, 475, 486, 494
Берзер А. С. 536—537
Бернацкая М. Л. 42
Бессарабов Б. А. 48—49
Бетховен Л. ван 312, 407, 451
Бирман С. Г. 314
Бирюков С. С. 448
Блок А. А. 23, 26, 31, 39, 40, 143, 191, 200—202, 205, 232, 234, 239,
285, 295, 317, 336, 337, 339, 352, 363, 397, 400, 425, 429, 438, 440,
549, 570
Блок Л. Д. (Менделеева) 352, 400
Бобров С. П. 470

- Боброва Э. М. 380
Богат Е. 498
Бодлер Ш. 41, 141, 395
Большинцов М. В. 285
Большинцова Л. Д. 278, 279, 285—287, 289, 292
Бондаренко (семья) 94, 125, 172, 221
Бондаренко Г. П. (Гарик) 94, 207, 213
Бондаренко П. И. 206, 213, 214
Бондаренко Т. Л. 205, 206, 207, 213
Борисов-Мусатов В. Э. 58, 106, 118, 178
Брик Л. Ю. 70—71
Брунштейн А. Я. 448
Брусилев А. А. 503
Брюсов В. Я. 327, 386
Булгаков В. Ф. 17
Булгаков М. А. 27
Булгакова М. С. 219, 220, 521, 577
Бунин И. А. 9, 28, 107, 133, 216, 220—221, 222, 260, 265, 344, 345,
346, 355—360, 383, 427, 429, 461
Бунин Н. Н. 353—366, 532, 534—537
Бунина В. Н. (Муромцева) 62, 227, 228, 356—366
Бутберг М. И. 335
- Вайян-Кутюрье П. 504
Вальбе Р. Б. 58
Вальтер Б. 313
Ванечкова Г. 216
Варналис К. 180
Вахтангов Е. Б. 318, 385, 452, 453
Верейский О. Г. 220, 222
Верлен П. 128, 141, 207, 214, 215
Вертинский А. Н. 364
Вильмонт Е. Н. 534, 537
Вильмонт Н. Н. 535
Вильмонты 534, 537
Виноградов В. В. 314
Вишняк А. Г. («Геликон») 585
Владыкин Г. А. 180, 182, 197
Вознесенский А. А. 148, 162, 169—170
Волконский С. Г. 202, 203

- Волконский С. М. 26, 48, 49–50, 202–204, 262, 586
Волошин М. А. 383, 389, 420
Воронина Т. Н. 347, 348, 350, 367, 380
Вышеславцев Н. Н. 459–470
Вышеславцева М. П. 466–467
Вышеславцева Н. Н. 460
Вышеславцева О. Н. 460–470
Вышинский А. Я. 330
- Габен Ж. 339
Гавриленков 92
Гагарин Ю. А. 155
Гарин Н. (Михайловский Н. Г.) 429
Гарсия Лорка Ф. 41
Геккеры 277
Гёте И. В. 201, 203, 300, 389, 576
Гинзбург Л. Я. 291
Гинзбург Лео 179
Гишнус З. Н. 344
Гирялович 430
Гитович А. И. 294, 295
Гитович С. С. 294
Гладков А. К. 212
Глен Н. Н. 275, 276, 278, 288, 292
Гоголь Н. В. 152, 278, 327, 402
Гойя Ф. Х. де 148
Голенищев-Кутузов В. В. 365, 543
Голлидэй С. Е. 38, 42, 212, 318–319, 383–384, 386, 445–458, 477
Голлидэй (семья) 446, 448
Головина А. С. 369
Головко В. М. 46
Голышев В. П. 179, 182
Голышева Е. М. 156, 179, 182
Гонкур Ж. и Э. (братья) 202
Гончар Н. А. 61, 79, 158
Гончарова Н. Н. см. Пушкина Н. Н.
Гончарова Н. С. 27, 172, 173, 174
Горбов Я. Н. 342
Гордон Н. П. 217, 218
Горенко А. А. 542, 543

- Горенко Ия А. (фон Штейн) 542
Горенко Ир. А. 542
Городецкнй С. М. 429
Горький М. 55, 56, 57, 304—306, 308, 397
Гоффштейн Д. Н. 180
Гречанинова В. С. 216, 218
Грибачев Н. М. 147
Грибоедов А. С. 403, 404
Григ Э. 407
Григорович Д. П. 467
Гронский Н. П. 51, 76, 583
Грудцова О. М. 348
Гудерман Х. В. 258
Гуллакян С. А. 158
Гумилев Л. Н. 288, 290, 545, 549, 564
Гумилев Н. С. 292, 346, 350, 352, 365, 371—372, 390, 395, 396,
397, 398, 399—461, 410, 470, 543, 544, 545, 549
Гучкова В. А. (Сувчинская-Трейл) 582
- Данин Д. С. 36, 43, 44, 224, 225, 226
Данте А. 201, 346
Делла-Вос-Кардовская О. Л. 551
Дементьев А. Д. 528
Демнчев П. Н. 329
Добронравов В. Г. 407, 408
Достоевский Ф. М. 238, 278
Дрожжинова В. А. 406
Дуглас К. 237
Дымшиц А. Л. 226
- Ежов И. С. 343
Елинсон Н. Л. 207
Емельянова И. И. 13
Ермолова М. Н. 538
Есенин С. А. 39, 72—73, 317, 425, 470
- Жанна д'Арк 209, 258, 259, 317
Журавлев Д. Н. 113, 114
- Завадский Ю. А. 318, 336—337, 453, 454

- Зайцев Б. К. 363
Залилова Ч. М. 304
Звягинцева В. К. 180, 182
Зуева А. П. 448, 449
Зуров Л. Ф. 356—358
- Иван IV (Грозный) 123
Иванов Вс. И. 185, 186, 305
Иванов Г. В. 298, 350, 351, 353, 353, 361, 364, 368, 372—376, 379,
388—391, 394, 396, 399
Иваск Ю. П. 62
Ивинская О. В. 13, 300, 498, 501
Игнатовы 304
Игумнова А. М. 579
Иловайский Д. И. 128, 229
Ильинский И. В. 314
Инамэ 462—464
Исаакян А. С. 69—70, 481—482
- Каверин В. А. 220
Казаков Ю. П. 205, 206
Казанова Д. 325, 480, 577
Калашников 177
Камерата 209
Кардовская О. Л. см. Делла-Вос-Кардовская О. Л.
Карл VII 317
Катаев В. П. 224, 226, 428
Качалов В. И. 306—307, 308, 407
Келлерман Б. 217
Керер Р. 179, 182
Керн, капитан 258
Коган Н. 297
Кодер И. 455
Колбасина - Чернова О. Е. 235, 237, 238, 241, 243, 244, 245, 248
Коншины (семья) 304
Корап 258
Корин П. Д. 339
Коркина Е. Б. 78
Косолапов В. А. 35
Кочубей, гр. 462

Крашенинников С. П. 268
Кругликова Е. С. 393
Крылов И. А. 241—242
Кторов А. П. 407
Кудрявцев, матрос 258
Кузмин М. А. 369, 567, 570
Кузнецов В. П. 355
Кузнецова Г. Н. 260, 355—359, 364
Куприн А. И. 28, 364

Лавлинский Л. Л. 43, 45, 226
Лакшин В. Я. 528, 529, 530, 532
Лановой В. С. 335
Ланской П. П. 277
Лебедев В. И. 220, 250, 251
Лебедев-Кумач В. И. 470
Лебедева И. В. 219, 220
Лебедева М. Н. 220
Левик В. В. 340
Левитан И. И. 183
Ленин В. И. 331, 397, 434
Леонардо да Винчи 470
Лермонтов М. Ю. 41, 303, 309, 315, 327, 403
Лесючевский Н. В. 46, 219
Лжедмитрий I (Отрепьев Г. Б., Самозванец) 30, 38
Линдберг Ч. 252
Литвинов В. В. 343, 403—442
Литвинова З. Н. 409—413, 415, 417, 423, 428, 429, 432, 435
Лопе де Вега 173, 174, 179, 183, 185
Лосская В. К. 521
Лоуренс Д. 573
Лукницкий П. Н. 290, 300
Луначарский А. В. 210, 395
Лутыко 123
Людовик IX Святой 40
Людовик XIV 584
Людовик XV 584
Лютер М. 194

Макаров А. Н. 16, 17, 18, 44, 177

- Маликов 217
Малинкович И. З. 186, 189
Мальро А. 255, 505
Мандельштам А. Э. 395
Мандельштам Н. Я. 156, 182, 194, 205, 352—353, 388—402
Мандельштам О. Э. 179, 195, 219, 344, 346, 351, 352, 368, 383,
388—402, 541, 546, 570
Мансурова Ц. Л. 329—340
Маркевич И. Б. 312
Маркиш С. П. 185, 186
Мартынов Л. Н. 425
Маршак С. Я. 180, 185, 483
Матвеев А. Т. 118, 178
Маяковский В. В. 26, 41, 50, 69, 71, 186, 209, 317, 413, 425, 470
Мейерхольд В. Э. 429
Мейн М. А. 542
Мережковский Д. С. 344
Милнотти В. Д. 461
Милюков П. Н. 383
Минаев Д. Д. 256
Миндлин Э. Л. 219, 220
Михайлов А. А. 43, 44, 45, 46, 226
Миншек Марина 30, 38, 39
Модильяни А. 288, 394, 547, 551
Молотов В. М. 330
Мольер 171
Морковин В. В. 191, 193, 197—199, 216, 220
Москаленко Е. Н. 100
Москвин И. М. 407
Мотовилова А. Е. 545
Мочульский К. В. 298, 546
Мустафин Р. 218
- Набоков В. В. 363
Нагибин Ю. М. 266
Напельбаум М. С. 348
Незвал В. 180
Нейгауз Г. Г. 113—114
Немирович-Данченко В. И. 453, 454
Нидаи 504
Николай II 156

Нолле-Коган Н. А. 205

Оборни Л. Н. 314

Огнев В. Ф. 43, 46, 224, 225, 226

Одоевцева И. В. 252, 341—402

Орлов В. Н. 11, 12, 14, 15—16, 18, 22, 24, 29, 31, 35, 36, 41, 43—44, 45, 46, 58, 59, 74, 141, 142, 148, 171, 174, 176, 177, 178, 181, 182, 185, 186, 189, 190—191, 192, 193, 195, 196, 197, 199, 224, 226, 274, 279, 295, 296, 310

Орьев А. И. 217

Осоргин М. А. 240

Осоргина Т. А. (Бакунина) 256

Островский А. Н. 433

Оттен Н. Д. 156, 179, 182, 185, 191, 192, 193, 194, 197

Оттены 71, 179, 205

Оцун Н. А. 397

Павлова К. К. 557

Парнок С. Я. 570

Пастернак Б. Л. 12, 13, 22, 57, 105, 141, 177, 178, 183, 185, 227, 231, 262, 278, 279, 300, 347, 420, 496, 497, 498, 501, 541, 569—570, 572, 585, 586, 588

Пастернак Л. О. 227

Патти А. 229

Паула 207

Паустовский К. Г. 16, 44, 110, 118, 195, 199, 206, 207

Петрарка Ф. 141

Петров В. 355

Пикассо П. 265, 504

Пирожкова-Бабель А. Н. 256

Писарев Д. И. 404

Платонов А. П. 219

Полетика И. Г. 277

Попов Н. 83, 84, 85

Попова В. 83

Поскрёбышев А. Н. 331

Прокофьев А. А. 151

Прокушев Ю. Л. 46

Пузиков А. И. 197, 199

Пугачев Е. И. 54, 55, 56, 528

Пунина А. Е. (урожд. Аренис) 288

- Пунина И. Н. 288
Пушкин А. А. 213
Пушкин А. С. 19, 22, 30, 31, 32, 34, 39, 41, 45, 46, 47, 54, 55, 56, 77,
113, 118, 126, 145—146, 161, 162, 163, 177, 213, 214, 218, 226,
260—261, 275, 276, 277, 310, 322, 324—326, 327, 404—405, 425,
426, 428, 499, 528, 542, 561—562
Пушкина Н. Н. (Гончарова) 276, 278, 562
- Радашкевич А. 342, 380
Рафальская Т. Н. 378
Рафальский С. М. 378
Рахманинов С. В. 363
Рахманинова Н. С. 363
Редлих В. П. 445, 446—454
Редлих Е. П. 445
Резникова Н. В. 262
Рейснер Л. М. 395
Ремизов А. М. 235, 250, 251, 266—267
Ретивова Н. Е. 579
Рильке Р. М. 47, 240, 262, 488—490, 491, 492, 496, 497, 566, 571
Роден О. 235
Родзевич Б. 503
Родзевич К. Б. 215, 216, 217, 218, 219, 220, 231, 232, 243, 262, 264,
471—522, 572, 573, 575, 577, 582
Рождественский В. А. 372, 397
Розанов В. В. 227
Ронсар П. де 262, 340
Рошин Н. Я. 358
Рублев А. 50, 51
Руссо Ж.-Ж. 292
- Саакянц А. Х. 81, 158, 227, 228, 229, 435, 526
Саакянц К. А. 81, 139, 227, 229
Саакянц М. А. 139, 227, 228
Самойлова Т. В. 335
Сартаков С. В. 36
Святополк-Мирский Д. П. 243
Седых А. (Цвибак) 358
Сергиевская М. Я. 11
Симонов К. М. 225, 360
Симонов Р. Н. 306

- Скаррон (Поль) 77, 149, 150, 162, 183, 185, 186, 188, 192
Скира А. 253, 265
Славейков П. 563
Слащёв Я. А. 497
Слоним М. Л. 62
Слуцкий Б. А. 43, 45, 131, 226
Смеляков Я. В. 494, 499
Смирнов Валя 291
Снесаревская Т. Г. 450—457
Солженицын А. И. 157, 205, 206, 289, 525—538
Солнцева Н. 470
Сологуб Ф. К. 383
Сомова В. 433
Сосинские 191, 235, 253
Сосинский А. В. 265
Сосинский В. Б. (Бронислав Сосинский) 191, 193, 217, 227,
230—273, 350, 573
Сосинский Д. А. 267
Соснинский С. В. 267
Софронов А. В. 150
Срезневская В. С. 301
Сталин И. В. 96, 102, 144, 392
Станиславский К. С. 453, 454
Старова Е. Н. 213, 216, 218, 349
Стахович А. А. 582
Стенич В. И. (Сметанич) 285
Степанида 115
Степун М. А. 358—359, 360
Степун Ф. А. 358
Столярова Н. И. 194, 195
Стравинский И. Ф. 312
Струве Г. П. 227, 240, 383
Струве Н. А. 227
Сувчинский П. П. 243
Сурков А. А. 280
- Тагер Е. Б. 71, 195, 199
Тагор Р. 174, 175, 176, 180
Тарасенков А. К. 17
Тарасова А. К. 448
Твардовский А. Т. 176, 214, 526, 527—528

- Терапиано Ю. К. 350
Тескова А. А. 17, 42, 198, 199
Тимирязев К. А. 371
Тирсо де Молина 80, 100, 119, 120
Толстой А. К. 408
Толстой А. Н. 118, 219, 220, 305, 306, 308, 391—392
Толстой Л. Н. 9, 160, 170, 357
Триоле Э. 70
Троцкий Л. Д. 395
Трубецкой А. В. 277
Трухачева М. А. 154
Тужа Р. см. Федулова Р. Н.
Тургенев И. С. 143, 429
Туржанская А. З. 153, 176, 579
Туринцев А. А. 160
Турчанинова Е. Д. 314
Турчинский Л. М. 69
Тэффи Н. А. 344, 365
Тютчев Ф. И. 437
- Фадеев А. А. 305, 308
Федотов 118—119
Федулова Р. Н. (Тужа) 74, 191, 193, 236, 496
Фет А. А. 429
Фридлянд В. Г. (Вера) 108, 276, 280, 291, 295, 538
Фурцева Е. А. 119, 197
- Хаджи-Мурат 160
Хейт А. 556
Ходасевич В. Ф. 252, 391
Хлебников В. В. 395
Хрушев Н. С. 12, 147, 149, 331
Хуциев М. М. 147
- Цветаев А. И. 115, 214, 542
Цветаев И. В. 47, 106, 118, 126, 207, 226, 310, 542, 587
Цветаева А. И. 54, 55—58, 60—61, 154, 206, 219, 220, 229, 461,
464, 501, 528, 529, 542
Цветаева В. И. 115, 122, 125—128, 175, 214, 221, 542
Цветаева Е. В. 42
Цветаева Е. М. 115, 125, 126, 213, 214, 222

- Цветаева М. И. 7—80, 104, 105, 113—114, 118, 120, 128—134, 140, 141, 142, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 169, 172—179, 182—189, 191—205, 207, 208—215, 216—220, 222—227, 231—248, 253, 254, 260, 262—265, 274, 275, 277, 278—280, 289—292, 296, 298, 299, 310, 316—319, 321, 322, 325, 329, 335—336, 338, 340, 343, 345, 351, 363, 365, 366, 368, 369, 382—387, 420, 423—426, 445, 446, 450, 452—455, 458, 460—466, 470, 471—494, 496, 497—503, 506—511, 519—522, 526, 528, 541—590
- Чайковский П. И. 312, 313, 369, 407
- Чернов В. М. 235
- Чернова А. В. 231, 232, 234, 236—248, 254, 256, 257
- Чернова Н. В. 241
- Чернова О. В. 62, 227
- Черный Саша 43
- Чернышева Е. Н. 466—469
- Чехов А. П. 357, 448
- Чирикова В. Г. 579
- Чуковская Е. Ц. 531
- Чуковская Л. К. 300
- Чуковский К. И. 185, 391, 397
- Чулков С. 312
- Чурилин Т. 570
- Шагал М. 75
- Шаляпин Ф. И. 363
- Шамурин Е. И. 343
- Шахалова Н. В. 485
- Шаховская З. А. 260, 382
- Шаховской Д. А. 243
- Шевлягин С. И. 115, 122
- Шекспир В. 318
- Шереметев Н. П. 330, 332
- Шереметева 333, 334, 337
- Шестов Л. И. 237
- Шиманская А. С. 378
- Ширкевич З. М. 88, 187, 189
- Широков М. А. 466
- Широкова М. А. 467
- Шкодина А. А. (Федерольф) 12, 13, 80, 81, 88, 95, 97, 98, 116, 117, 123, 127, 128, 135, 144, 146, 150, 159, 175, 178, 188, 192, 193, 205, 207, 213, 214, 221, 223

- Шмидт П. П. 570
Шолохов М. А. 303
Шопен Ф. 114
Шостакович Д. Д. 313
Шпажинский 467
Штейгер А. С. 27—28, 51—52, 62, 368—369, 583
Штейн С. В. фон 543
Шток И. В. 334
Шуб Д. Н. 217
Шумов П. И. 235, 241
- Щеголев П. Е. 277
- Эккерман И. 203, 300
Эллис (Кобылинский Л. Л.) 227
Элюар П. 320, 504
Эренбург И. Г. 16, 17, 18, 44, 59, 113, 114, 147, 194, 316, 393
Эфрон А. С. 7—229, 231—233, 235, 237, 239, 253, 255, 256, 262,
264, 274, 280, 298, 319, 321, 325, 329, 338, 385, 410, 416, 445, 459,
471—472, 474, 475, 477, 479, 481, 482, 483, 485, 499, 501, 533, 544,
553, 564, 568, 569, 578, 579—582
Эфрон Г. С. (Мур) 55, 153, 176, 184, 237, 238, 239, 245, 254, 338,
521, 559, 564, 577, 578—581, 586
Эфрон Е. Я. 88, 114, 154, 187, 189, 475
Эфрон И. С. 385, 557
Эфрон С. Я. 55, 72, 160, 213, 216, 237, 238, 239, 240, 245, 254, 262,
385, 445, 475, 508, 512, 544—545, 556—557, 559, 581, 582
Эфрон П. Я. 245
Эфрон Я. К. 267
- Юдин 448
Юсупов Ф. Ф. 213
- Яблоновский А. А. 240
Яншин М. М. 407
- Limont С. 513

Содержание

Живые встречи

Ариадна	7
Беглый портрет	7
Как мы готовили издания Марины Цветаевой	9
1. Эфрон и А. Саакянц. Письмо к редактору «Библиотеки поэта» (1963 г.)	38
2. Протокол заседания Комиссии по литератур- ному наследию Марины Цветаевой от 2 апреля 1973 г.	43
Священная ревность	47
Паломничество на Енисей	80
Тарусский закат	103
Юмор Ариадны	144
Ариадна Эфрон. Письма разных лет	173
«С открытым сердцем к человеку» (В. Б. Сосинский)	230
Бронислав Сосинский. Последний экзамен	268
Анна Ахматова — несколько встреч	274
«Андроников — моя фамилия»	302
Человек щедрой души (О Павле Антокольском)	316
Один час с Цецилией Мансуровой	329
Месяц в Переделкино с Ириной Одоевцевой	341

Ирина Одоевцева. Отзыв о книге: «Марина Цветаева. Неизданное»	382
Ирина Одоевцева. Открытое письмо Н. Я. Мандельштам	388
«Вольдемар» — учитель словесности	403
Владимир Литвинов. Из книги стихов «Без Дамы Прекрасной»	436

Следы и письма

Сонечка и Володя	445
«Н. Н. В.»	459
«Духа не угашайте!» (Письма Константина Родзевича)	471

Почти детектив

Одна непростительная история	525
------------------------------------	-----

Две судьбы

Два поэта — две женщины — две трагедии (Анна Ахматова и Марина Цветаева)	541
Новая прежняя Цветаева	568
Указатель имен	591

С12 Саакянц А. А.
Спасибо Вам! Воспоминания. Письма. Эссе. — М.: Эллис Лак, 1998. — 608 с.

ISBN 5-88889-039-1

В книгу вошли рассказы о встречах с А. Эфрон, А. Ахматовой, И. Одоевцевой, В. Сосинским, П. Антокольским, И. Андрониковым и др., а также письма и документы, в большинстве своем относящиеся к периоду работы с дочерью М. Цветаевой над изданиями поэта — и вообще к цветаевской теме.

УДК 920.91
ББК 84Р7-4

Саакянц Анна Александровна

Спасибо Вам!

**Воспоминания
Письма
Эссе**

Редактор Т. А. Горькова
Художественный редактор В. Н. Сергутин
Технический редактор Л. В. Жигульская
Корректор В. М. Фрадкина
Указатель составлен Д. Р. Памфиловой

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Сдано в набор 10.02.98. Подписано в печать 12.05.98

Формат 70 × 100¹/₃₂. Бум. офсетная. Гарнитура «Таймс».
Усл.-печ. л. 24,7. Уч.-изд. л. 27,6. Тираж 11 000 экз. Заказ № 147.

ЛР № 071446 от 02.06.97.

Издательство «Эллис Лак»

123242, Москва, ул. Красная Пресня, д. 6/2, стр. 1, к. 16.

Тел.: 254 2611, 254 7472. Факс 254 2611

ISBN 5-88889-039-1



9 785888 890394

АООТ «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.



